



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

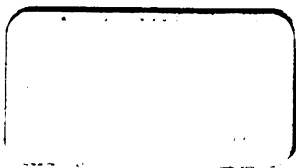
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slaw 4335.10.385

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER





Издание товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Д. Айзманъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Земляки.	Саванъ.
На чужбинѣ.	Враги.
Объ одномъ	Рабъ.
злѣдѣніи.	„Немножечко въ
Мечты.	сторону.“
Доброе дѣло.	Искупленіе.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1906.

Въ товариществѣ „ЗНАНИЕ“ поступили въ продажу:

СБОРНИКЪ ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНИЕ“

I. КНИГА ПЕРВАЯ:

— Л. Андреевъ. Жизнь Василія Ошвейскаго. — Ив. Вуничъ. Стихотворенія. — Ив. Вуничъ. Черноземъ. — В. Вересаевъ. Передъ закатомъ. — Н. Гаринъ. Деревенская драма. — М. Горькій. Человѣкъ. — С. Гусевъ-Оренбургскій. Въ приходѣ. — А. Серафимовичъ. Въ пути. — Н. Телешовъ. Между двухъ береговъ. — *Цѣна 1 р.*

II. КНИГА ВТОРАЯ:

— А. Купринъ. Мирное житіе. — Скиталецъ. Стихотворенія. — А. Чеховъ. Вишневый садъ. — Е. Чириковъ. На порубахъ. — С. Юшкевичъ. Евреи. — *Цѣна 1 р.*

III. КНИГА ТРЕТЬЯ:

— Скиталецъ. Памяти Чехова. — А. Купринъ. Памяти Чехова. — М. Горькій. Дачники. — Ив. Вуничъ. Памяти Чехова. — Л. Андреевъ. Красный смѣхъ. — *Цѣна 1 р.*

IV. КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ:

— С. Найденовъ. Авдотьино житіе. — С. Гусевъ-Оренбургскій. Страна отцовъ. — А. Лукьяновъ. Кузнецъ. — М. Горькій. Тюрьма. — *Цѣна 1 р.*

V. КНИГА ПЯТАЯ:

— Е. Чириковъ. Иванъ Миренчъ. — Н. Телешовъ. Черною ночью. — А. Серафимовичъ. Заяцъ. — Скиталецъ. Капдалы. — Д. Айзмана. Ледоходъ. — Л. Андреевъ. Воръ. — М. Горькій. Разсказъ Филиппа Васильевича. — *Цѣна 1 р.*

VI. КНИГА ШЕСТАЯ:

— А. Купринъ. Поединокъ. — Ив. Вуничъ. Стихотворенія. — М. Горькій. Букоезовъ, Карпъ Ивановичъ. — Скиталецъ. Стихотворенія. — *Цѣна 1 р.*

VII. КНИГА СЕДЬМАЯ:

М. Горькій. Дѣти солнца. — Ал. Купенъ. Бирючий островъ. — Ив. Вуничъ. Востокъ. — Скиталецъ. Полевой судъ. — Густавъ Даниловскій. На островъ. — Ив. Рукавишниковъ. Стихотворенія.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Д. Айзманъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

AIZMAN

„RAZSKAZY. I“

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Монтвида. Конная ул., д. № 3—5.

1906.

Slav 4335.10.385(1)

~~Slav 4335.10.385(1)~~

✓
Slav 4335.10.385(1)

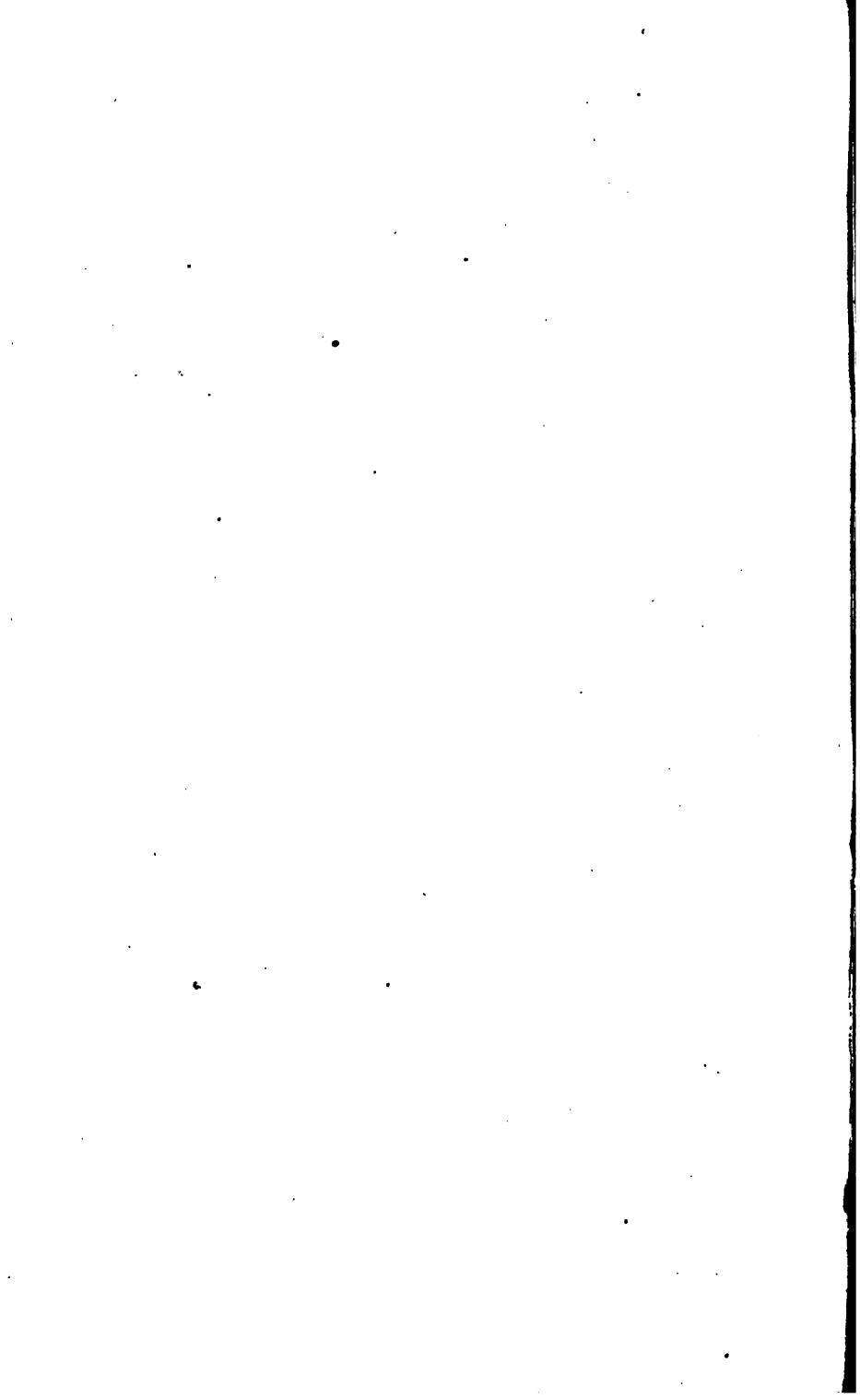


Keen

1001
50

ОГЛАВЛЕНІЕ:

	СТР
Земляки.	1
На чужбинѣ.	32
Объ одномъ злодѣяніи.	76
Мечты	94
Доброе дѣло.	112
Саванъ.	155
Враги	170
Рабъ.	197
„Немножечко въ сторону“.	230
Искушеніе.	127



ЗЕМЛЯКИ.

I.

Въ теченіе первой недѣли Варвара Степановна Клобукова чувствовала себя на новомъ мѣстѣ отлично.

Прежде всего забавляло ее сознаніе, что вотъ, случилось чудо, и она за границей, во Франціи; затѣмъ радовала мысль объ огромномъ заработкѣ: семьсотъ франковъ въ мѣсяцъ на всемъ готовомъ,—этого она у себя въ Мертвоводскѣ не выработала бы и въ годъ; и, наконецъ, большое удовольствіе доставляла эта необычайная, никогда ею еще не виданная роскошь и комфортъ.

Варварѣ Степановнѣ отведены были двѣ прекрасныя комнаты и cabinet de toilette съ ванной, душами и огромнымъ трехстворчатымъ зеркаломъ, въ которомъ оглядывать себя можно было со всѣхъ сторонъ.

Меблировка вся вообще была „царская“, но больше всего поражала Клобукову кровать—огромное сооруженіе съ рѣзными палисандровыми колоннами, съ атласными покрывалами и кружевными занавѣсками.

Прислуживала Варварѣ Степановнѣ горничная, „въ тысячу разъ“ болѣе изящная, чѣмъ „ломака Оберемченко“,—первая мертвоводская львица, а безчисленныя и тонкія блюда къ обѣду подавалъ пышный лакей, въ чулкахъ и бѣлыхъ перчаткахъ.

Получила это мѣсто Варвара Степановна слѣдующимъ образомъ.

Графъ де-Сенъ-Блэпъ, богатый и дѣятельный заводчикъ, имѣвший крупныя панн и въ нѣкоторыхъ русскихъ предпріятіяхъ, ѣздилъ въ Россію по нѣсколькимъ разъ въ годъ. Жена же его, тучная, рыхлая женщина, въ молодости славившаяся буйными кутежами, оставалась обыкновенно дома—въ Парижѣ, или въ провинціи, въ замкѣ—и предавалась тамъ пастойчивымъ упражненіямъ въ благочестіи, вязанію фуфаякъ для бѣдныхъ, и дѣченію своей особы отъ болѣзней, которыхъ не имѣла. Но однажды случилось такъ, что ей вздумалось осмотрѣть свои русскія владѣнія, и она двинулась въ путь.

Поѣхала она, разумѣется, не одна, а въ сопровожденіи цѣлаго штата прислуги: были тутъ и горничныя, и лакеи, и кучера, и секретарь по благочестивымъ дѣламъ, были двѣ *dames de compagnie* и шведка-массажистка, *m-lle Норцеліусъ*.

Графиня прожила въ Екатеринославской губерніи недѣли двѣ, въ Херсонской съ мѣсяцъ, побывала въ Петербургѣ, заглянула въ Москву и, восхищенная и очарованная всѣмъ, что видѣла, и въ особенности нашимъ народомъ,—*ils sont si soumis, les russes*,—стала собираться домой.

И тутъ вдругъ массажистка *m-lle Норцеліусъ* объявила, что назадъ во Францію она не ѣдетъ: она познакомилась въ Мертвоводскѣ съ однимъ своимъ соотечественникомъ, владѣльцемъ рыбной лавки, и выходитъ за него замужъ.

Графиня ахнула. Неприличнымъ поступкомъ шведки она разстроена и огорчена была до того, что въ теченіе цѣлой недѣли не связала ни одной благотворительной фуфайки... Кое какъ, однако же, она успокоилась, и тогда началось разыскиваніе новой массажистки. Выборъ палъ на Варвару Степановну.

Клюбукова графиня поправилась и сразу, и сильно. Она, во-первыхъ, тоже была „*soumise*“, а во-вторыхъ, отлично дѣлала свое дѣло. По крайней мѣрѣ, такъ на-

ходила графиня. Она утверждала, что никогда и никто не массировать ее такъ хорошо, какъ эта *petite russe*. И когда пришло время отъѣзда во Францію—она разставаться съ Варварой Степановной не захотѣла ни за что и, устроивъ ей жалованье, увезла ее къ себѣ, въ замокъ.

Варвара Степановна занята была ровно одинъ часъ въ сутки, отъ девяти до десяти утра, когда массировала. Все остальное время отдавалось въ ея распоряженіе, а какъ имъ распорядиться—она не знала.

Изъ дому она привезла нѣсколько номеровъ журналовъ „Новъ“ да томъ сочиненій Вольтерярскаго и, хоть вообще охотницей до чтенія была небольшой, читала теперь долгими часами. Но весь день чтеніе заполнить не могло—да и книжки скоро были прочитаны—и Клобукова скучала.

Она подолгу бродила въ паркѣ, огромномъ и удивительно красивомъ, уходила на прогулки въ сосѣднія деревни, цѣлые часы употребляла на кормленіе лебедей на пруду и кроликовъ въ сараяхъ,—и все время не переставала скучать...

По-французски она понимала съ грѣхомъ пополамъ—языку этому она училась въ шестиклассной прогимназіи, гдѣ благополучно и закончилось все ея образованіе,—а говорила на немъ совсѣмъ плохо. Все же, при необходимости, она могла бы какъ-нибудь столковаться и развлекаться бесѣдой, но графиня взяла съ нея торжественное обѣщаніе ни съ кѣмъ изъ служащихъ въ замкѣ въ разговоры не вступать.

— M-elle Норцеліусъ разговаривала со всѣми,—жаловалась графиня,—она была социалистка. И я очень счастлива, что она, наконецъ, ушла... Вы, я надѣюсь, не социалистка?

Клобукова успокоивала графиню. Отецъ ея, говорила она, былъ отставной штабсъ-капитанъ и тюремный смотритель, братъ служить въ полиціи, вся семья у нихъ

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER



съ досадою останавливала она себя,—въ
и года я реву, какъ гимназистка...
ныя выраженія не помогали, и слезы у
и лились, когда часу въ десятомъ вечера,
и и унынія, она взмацивалась на свою
исандровую кровать...

чью и злобой думала она о томъ, какъ
она жизнь. Изъ-за нѣсколькихъ сотъ фран-
росить родную страну, всѣхъ близкихъ и
тей, надо разстаться со всѣми своими при-
бычаями, и уѣхать Богъ знаетъ куда, Богъ
му, надо продать себя...

о не приходилъ къ Клобуковой... И когда,
а засыпала, ей снился Мертвоводскъ,—за-
возомъ базаръ, солдатъ на каланчѣ, про-
по бульвару свиньи, пьяненькій дьячекъ
ричневья, какъ дубъ твердыя, поги судо-
ны, и много другихъ милыхъ сердцу фи-
и предметовъ...

росіи и русскаго Варвара Степановна во-
и то она вставала утромъ еще болѣе пе-
болѣе сумрачной, чѣмъ была наканунѣ...
и видѣла вокругъ себя, было красивѣе,
ициѣе, богаче, веселѣе, чѣмъ въ Россіи,
же, вызывало въ ней одно только глухое
куку и тоску...

и гувернантки, легче будетъ, веселѣе,—
утѣшать себя. Но она очень хорошо по-
вернантки ей не помогутъ, и что чѣмъ
госка будетъ острѣе и невыносимѣе...

и она писала длиннѣйшія письма,—и
и очень близкимъ,—и напередъ высчи-
ала въ книжкѣ, когда получится отвѣтъ...
и все, убѣжать!“—мелькало иногда у ней.
и часъ выступали соображенія о семейной
и томъ, что съ поступленіемъ брата Васи

вполнѣ благонадежная, и сама она придерживается взглядовъ очень умеренныхъ.

— Je vous en félicite,—отвѣчала графиня.

И добавила при этомъ, что въ ноябрѣ пріѣдутъ ея внуки съ двумя гувернантками,—тогда Клобуковой будетъ съ кѣмъ разговаривать: завтракать и обѣдать онѣ будутъ вмѣстѣ съ нею.

Въ ожиданіи этихъ гувернантокъ Варвара Степановна за столѣ садилась одна... и тоскливо ей отъ этого и отъ постоянного молчанія было нестерпимо. Не шли въ горло ни *suprême de volaille à l'Elysée*, ни душистыя и тонкія вина, и такъ сладко мечталось о капустѣ и сушеной тарапкѣ...

У себя дома, въ Мертвоводекѣ, Варвара Степановна умѣла очень хорошо заполнить день и не скучала.

Она ходила на массажную практику, занималась по хозяйству, штопала, вышивала гладью и въ крестъ, вязала кружева, ковры и другія ненужныя вещи; лѣтомъ каждый вечеръ отправлялась на бульваръ, и тамъ за ней ухаживали офицеры и почтовые чиновники; зимой ходила на катокъ, на вечеринки къ знакомымъ, танцевала на клубныхъ балахъ... Она никогда не покидала родного города, не пробовала разлучаться со своими. Теперь одиночество она чувствовала особенно сильно и томилась и грустила безъ конца.

Чужія фізіономіи, не похожія на лица русскихъ людей, быстрая посовая рѣчь, въ которой такъ трудно было уловить смыслъ, веселая красота пейзажа, странность крестьянскихъ костюмовъ—все это стѣняло Клобукову, смущало и временами злило.

— Чортъ ихъ разберетъ, зачѣмъ имъ деревянные башмаки?—сердито восклицала она.

И день ото дня она становилась мрачнѣе и угрюмѣе. Она даже похудѣла и поблѣднѣла, и уже случилось ей нѣсколько разъ всплакнуть.

— Дура,—съ досадою останавливала она себя,—въ двадцать два года я реву, какъ гимназистка...

Но и сильныя выраженія не помогали, и слезы у ней лились и лились, когда часу въ десятомъ вечера, полная тоски и унынія, она взмасщивалась на свою огромную палисандровую кровать...

И съ горечью и злобой думала она о томъ, какъ скверно устроена жизнь. Изъ-за нѣсколькихъ сотъ франковъ надо бросить родную страну, всѣхъ близкихъ и дорогихъ людей, надо разстаться со всѣми своими привычками и обычаями, и уѣхать Богъ знаетъ куда, Богъ знаетъ къ кому, надо продать себя...

Сонъ долго не приходилъ къ Клобуковой... И когда, наконецъ, она засыпала, ей снился Мертвоводскъ,—загаженный навозомъ базаръ, солдатъ на каланчѣ, прогуливающіяся по бульвару свиньи, пьяненькій дьячекъ Лаврентій, коричневые, какъ дубъ твердые, ноги судомойки Горпыны, и много другихъ милыхъ сердцу фигуръ, картинъ и предметов...

Если же Россіи и русскаго Варвара Степановна во снѣ не видала, то она вставала утромъ еще болѣе печальной, еще болѣе сумрачной, чѣмъ была наканунѣ...

Все, что она видѣла вокругъ себя, было красивѣе, изящнѣе, наряднѣе, богаче, веселѣе, чѣмъ въ Россіи, и все, однако же, вызывало въ ней одно только глухое раздраженіе, скуку и тоску...

— Пріѣдутъ гувернантки, легче будетъ, веселѣе,—пробовала она утѣшать себя. Но она очень хорошо понимала, что гувернантки ей не помогутъ, и что чѣмъ дальше, тѣмъ тоска будетъ острѣе и невыносимѣе...

Каждый день она писала длиннѣйшія письма,—и же людямъ не очень близкимъ,—и напередъ высчитывала и отмѣчала въ книжкѣ, когда получитъ отвѣтъ...

„Бросить бы все, убѣжать!“—мелькало иногда у ней.

Но тутъ сейчасъ выступали соображенія о семейной ответственности, о томъ, что съ поступленіемъ брата Васи

въ университетъ стѣсненность эта еще усилится, о томъ, что домишко ихъ, заложенный и перезаложенный, и въ обществѣ взаимнаго кредита, и у частныхъ лицъ, скоро пойдетъ съ молотка...

И собирая все свои силы и все свое мужество, Варвара Степановна отгоняла прочь чарующую мысль о бѣгствѣ и съ все возрастающей тоской продолжала нести свой крестъ...

II.

Какъ-то разъ, послѣ завтрака, прогуливалась она на дугу, вдоль берега узкой рѣчунки. Только что прошелъ дождь, и косматые обрывки тучъ, черно-синіе и нѣжно-серебристые, безпрестанно мѣняя и цвѣтъ, и очертанія, быстро неслись по небу. Солнце то пряталось, то являлось вновь, и свѣтовые эффекты были сильны и рѣзки. Вотъ горять въ яркомъ блескѣ стоящіе по берегу рѣчки тополи, и сосновый лѣсъ за ними затягивается хмурой, глухой тѣнью; а черезъ мгновение горячимъ свѣтомъ обдастъ уже этотъ лѣсъ, а тополи дѣлаются сумрачными и темными, почти совершенно черными...

Свѣтлыхъ и радостныхъ тоновъ пейзажа Варвара Степановна какъ-то не замѣчала совсѣмъ, и тоскующей душѣ ея понятенъ былъ одинъ только сумракъ холодныхъ тѣней...

— Господи, какъ тяжело,—со вздохомъ проговорила она,—ссылка... хуже всякой ссылки...

— Comment? — неожиданно отозвался кто-то изъ-за высокихъ кустовъ ежевики, обрамлявшихъ рѣчку.

Варвара Степановна подняла голову.

Ветхонькій старичокъ въ коричневыхъ плисовыхъ шароварахъ и въ сѣней блузѣ сидѣлъ на берегу и удилъ. Клобукова что-то неопредѣленно промывчала и хотѣла

пройти дальше, но старикъ привѣтливо снялъ шляпу и заговорилъ:

— Здравствуйте, *mademoiselle!*.. Прогуливаетесь?.. Что-жь, погода сегодня не слишкомъ дурна, погулять пріятно... Не хотите ли вотъ поудить? Подсаживайтесь, *mademoiselle*, къ старичку...

Онъ говорилъ быстро и по-старчески шамкая, и Варвара Степановна не сразу улавливала смыслъ его словъ.

— Подсаживайтесь, *mademoiselle!*

Старикъ ладонью разгладилъ подлѣ себя траву.

— Кабы это былъ Никанорычъ!..—подумала Варвара Степановна.

И не усаживаясь, и не уходя, она со странно-непріязненнымъ чувствомъ глядѣла на чуждое, бритое, какъ у актеровъ, лицо старика.

— А я вамъ сейчасъ удочку налажу,—весело продолжалъ старикъ,—оно довольно занятно... Вѣдь вамъ, я такъ полагаю, порядкомъ такъ скучно у насъ?..

— Вуй,—съ печальной улыбкой отвѣтила Варвара Степановна.

— Еще бы! Чужая сторона...

Старикъ бросилъ быстрый взглядъ на воду и потомъ опять поднять глаза къ Клобуковой.

— И, видите ли, считаю такъ: страна у насъ не плохая, но только... кому она чужая, тому здѣсь должно быть скучно.

Варвара Степановна стояла молча, и выраженіе грусти на ея лицѣ обозначилось еще сильнѣе.

— Да. Я вотъ восемьдесятъ третій годъ на свѣтѣ живу, а дальше чѣмъ за пятьдесятъ километровъ отъ своей деревни никогда не уѣзжалъ... До города, до Шомона, шесть километровъ, да и то я больше десяти разъ въ немъ не бывалъ... Право. Дома лучше...

Старикъ пожевалъ губами и замолчалъ. Варвара Степановна все не отходила отъ него...

— А скажите, mademoiselle, въ вашу страну какъ ѣхать? Черезъ Испанію?

Варвара Степановна объяснила, какъ ѣдутъ въ Россію.

— Ахъ, вотъ какъ! Ну, а я думалъ черезъ Испанію... Что жъ, Австрія тоже ничего... Хорошее мѣсто. Что вотъ не хорошо—это чужбина... У меня сынъ Эрнестъ на чужбинѣ былъ,—въ плѣну, у пруссаковъ. И что же вы думаете? Хочетъ онъ виноградной водки въ кофе, и нельзя пруссаку сказать „виноградная водка“,—не пойметъ. У него для этого совсѣмъ другое слово... И рыба, напримѣръ, у него уже тоже не рыба, а иначе. Все иначе...

Горестная усмѣшка искривила губы Варвары Степановны. Отъ участливыхъ, ласковыхъ словъ старика ей и пріятно было, и больно...

— Mademoiselle,—началь опять старикъ,—а съ земляками вашими въ городѣ вы еще не познакомились?

Варвара Степановна насторожилась.

— Comment?

— Вашихъ, говорю, земляковъ, въ Шомонѣ, не видали еще?

„Да что такое онъ говорить?—съ тревогой подумала Клобукова.—Развѣ въ Шомонѣ есть русскіе?“

— Эге, да вы видно не знаете?—протянулъ старикъ.—Какъ же это вамъ не сказали? Вотъ народъ!.. Не знаютъ, что человѣку нужно... Какъ же, въ Шомонѣ живутъ ваши земляки, русскіе...

— Pas possible!—вскрикнула Варвара Степановна.—Да вы увѣрены въ этомъ?

Старикъ сдѣлалъ обиженное лицо и пожалъ плечами.

— Parbleu!... Я въ воскресенье былъ въ ихъ лавкѣ, внукамъ шляпы покупать. Вы поѣзжайте къ нимъ... На площадь префектуры пройдете, а тамъ нальво улица Сади-Карно. Вы по ней подымитесь, домовъ пятнадцать минете, тутъ сейчасъ же противъ лица шляпный магазинъ...

Варвара Степановна въ большомъ волненіи смотрѣла на старика.

„Русскіе... въ Шомонѣ... Ахъ, Боже мой!.. Но вѣдь это невѣроятно. Откуда они возьмутся въ Шомонѣ, въ небольшомъ городишкѣ, въ центральной Франціи?.. Нѣтъ, это вздоръ... Старикъ путаетъ“...

— Да... И чудесныя я шляпы купилъ. Дорого, но за то хорошія, настоящій фетръ... Этихъ земляковъ вашихъ изъ Россіи изгнали,—продолжалъ старикъ, кряхтя и протягивая впередъ замлѣвшія ноги,—вотъ онъ сюда и пріѣхали. Изъ вашей страны израелитовъ гонять, не хотятъ ихъ, ну, а мы ничего... У насъ они живутъ...

— Ахъ, такъ это жида!—мысленно протянула Варвара Степановна—Жидова!...

И, охваченная внезапно нахлынувшимъ чувствомъ негодованія, она быстро отошла отъ старика.

— У насъ они живутъ,—повторилъ тотъ, внимательно поглядывая на воду.—Ничего, шляпами торгуютъ... Зачѣмъ мы станемъ ихъ выгонять?.. Фетръ настоящий... Содрали они съ меня здорово, но фетръ дали настоящий... съ лоскомъ... Я имъ рыбу буду продавать—тоже сдеру...

Только сдѣлавъ шаговъ пять, Варвара Степановна опомнилась и сообразила, что поступила невѣжливо: она повернулась лицомъ къ рыболову и, стараясь улыбаться и придать своему голосу оттѣнокъ ласковости, крикнула „au revoir!“

Варвара Степановна не то чтобы ненавидѣла евреевъ. Никакихъ сколько-нибудь значительныхъ столкновеній съ ними у нея не бывало, никогда близко къ нимъ она не присматривалась, опредѣленныхъ злыхъ дѣлъ за ними не знала, и ясно сознанной вражды питать къ нимъ не могла. Но она относилась къ нимъ съ пренебрежительной насмѣшливостью, почти съ гадливостью...

Она считала ихъ существами противными, недоѣдливыми, и вмѣстѣ со своимъ папой,—а, пожалуй, и вмѣстѣ

со всѣмъ Мертвоводскомъ—зната и при случаѣ умѣла объяснить, что евреи всѣ только торгуютъ и занимаются ростовщичествомъ, что они ѣдятъ чеснокъ и какіе-то кугели, что они издають зловоніе и имѣють горбатые носы, и что, наконецъ, русскому человѣку отъ нихъ нѣтъ житья.

При видѣ еврея-оборванца она зажимала носъ и думала „пархатый“, а когда на бульварѣ или въ клубѣ встрѣчала евреевъ расфранченныхъ, она смѣялась надъ ихъ безвкусицей и говорила, что эти шелка и бархаты куплены на воровскія деньги...

И оттого, когда подъ этикетомъ „земляковъ“ ей преподнесли теперь именно этихъ „пархатыхъ“, она почувствовала глубокое, досадное, почти оскорбительное разочарованіе.

Сладкая надежда,—надежда увидѣть русскаго человѣка,—не успѣла еще блеснуть, какъ уже и погасла...

И въ теченіе всего этого дня Клобукову давило смѣшанное чувство унынія, горечи и разѣдающей грусти. Точно она увидѣла въ газетахъ, что на ея номеръ палъ въ лотереѣ выигрышъ, а потомъ оказалось, что это опечатка, и выигрыша никакого не бывало...

— Нѣтъ, въ Шомонѣ русскихъ нѣтъ... А между тѣмъ, вѣдь могло же случиться, чтобы они тамъ были... Даль, глушь, провинція,—это, положимъ, такъ, но вѣдь вотъ, занесло же ее, Клобукову, сюда; могло бы занести и другихъ... И какъ бы это было хорошо, какая бы это была удача!.. Было бы, съ кѣмъ встрѣчаться, съ кѣмъ отводить душу. Можно было бы ѣздить къ этимъ русскимъ въ городъ, и они пріѣзжали бы въ замокъ. Со-всѣмъ иначе пошла бы тогда жизнь! Тогда у графини можно было бы оставаться долго, хоть годъ, хоть два... Какъ ни какъ, а жизнь въ замкѣ отличная. Можно тутъ и здоровьемъ поправиться, и заработать хорошо... Пожалуй, графиня жалованье бы увеличила. Она щедрая. Она вотъ даже m-elle Норцеліусъ свадебный подарокъ

послала... Можно бы выписать матеріалы для рукодѣлія, заняться французскимъ языкомъ, русскій журналецъ какой-нибудь выписать тоже...

— Да ужъ, конечно, можно было бы устроиться, — заключала свои соображенія Клобукова, — необходимы только люди, русскіе люди, хоть одна семья... А иначе тутъ прямо пропадешь съ тоски...

До сихъ поръ ей и въ голову не приходило, что въ Шомонѣ могутъ быть русскіе: теперь отсутствіе русскихъ казалось ей чѣмъ-то страннымъ, почти несправедливымъ, и она готова была на это сердиться. Евреи, вотъ тѣ повсюду имѣются, ихъ вездѣ найдешь. А русскіе — неподвижныя какіе-то, боятся съ мѣста сдвинуться, сидятъ у себя за печкой, и ни на шагъ...

Ночью, передъ тѣмъ какъ заснуть Варвара Степановна долго сидѣла на кровати и плакала.

Она думала о томъ, что родные поступили плохо, отпустивъ ее на чужбину. Надо было биться, мучиться, дѣлать займы, „все что угодно“, но ни за что не слѣдовало ее посылать въ такую даль, въ этотъ ненавистный замокъ. Сжались родные, поступили, какъ эгоисты... Шестъ дней письмо въ Россію идетъ, три границы переходить... Всю Швейцарію, всю Австрію... Ну, а вдругъ помрешь здѣсь! Никто вѣдь не застрахованъ, умереть каждый день можно, каждый часъ... И похоронить некому будетъ... „Имъ“ хорошо, они себѣ тамъ все вмѣстѣ, а тутъ сиди одна... одна... и ни одного близкаго человѣка нѣтъ...

— Пойду я въ городъ къ этимъ жидамъ, — рѣшила вдругъ Клобукова.

И чувство при этомъ было у нея такое, какъ будто она это дѣлала кому-то на зло или собиралась мстить.

— Что-жъ такое! И пойду... Ей-Богу пойду...

Окна ея спальни выходили въ паркъ и были открыты. Луна свѣтила ярко, и по кривымъ аллеямъ и по газонамъ протягивались неподвижныя, тѣмныя тѣни.

Прудъ спалъ, спали деревья и птицы, и повсюду царилла глубокая, невозмутимая тишина...— „Какъ на кладбищѣ“, подумала Клобукова, „а я одна... одна“...

Она слѣзла съ постели, погасила свѣчу и подслѣла къ окошку...

— Городъ тамъ за лѣсомъ... Пѣшкомъ, и то въ полтора часа туда доберешься.

Варвара Степановна сидѣла неподвижно, высоко поднявъ брови, и глядѣла на лѣсъ.

Бѣло-зеленое шоссе, бѣжавшее къ городу, тянулось у опушки и отъ сосѣдства съ ея темной стѣной и темнымъ же лугомъ казалось какой-то волшебной, свѣтящейся полосой. Варвара Степановна не сводила съ этой полосы глазъ...

— Здравствуйте — тихонько вымолвила она вдругъ, слабо улыбаясь. И, перемѣнивъ интонацію и голосъ, сама же отвѣтила себѣ: здравствуйте...

Завтра она можетъ услышать, какъ скажутъ ей это слово другіе... И „какими судьбами“ скажутъ, еще многое другое скажутъ... И она тоже будетъ говорить, много и долго, будетъ говорить по-русски!

— Отчего же мнѣ къ нимъ не пойти?—спрашивала она себя.—Отчего?.. Конечно пойду...

И на утро, какъ только она проснулась, первой ея мыслью было, что сегодня она ѣдетъ въ городъ, къ евреямъ.

„Ну, и жиды, ну, такъ что-жъ! Все же они какъ будто свои... А вдругъ они порядочные люди. Попадаютъ порядочные люди и между евреями. Вотъ докторъ Моргулисъ: его въ Мертвоводскѣ принимаютъ въ лучшихъ домахъ, онъ у генерала Скрипичина на елкѣ бываетъ... Очень порядочный человѣкъ, не хуже иного русскаго“...

Отъ девяти до десяти часовъ былъ сеансъ массажа. И сейчасъ же послѣ него Варвара Степановна стала собираться въ городъ. Но такъ какъ почталіонъ второй

обходъ свой дѣлалъ въ два часа, а въ книжкѣ у Клобуковой было отмѣчено, что сегодня, восемнадцатаго октября, должны получиться два письма — отъ Семена Иваныча и отъ тетки Анфисы, — то она рѣшила подождать.

Завтракала она съ аппетитомъ, и лицо у нея было значительно менѣе пасмурное, чѣмъ въ предыдущіе дни. Она не переставала думать о шомонскихъ евреяхъ и представляла ихъ себѣ именно такими, какимъ былъ мертвоводскій докторъ Моргулисъ — опрятно одѣтыми, не очень картавящими, и совсѣмъ не горбоносыми...

Почталіонъ пришелъ въ свой обычный часъ, но писемъ Варварѣ Степановнѣ не было.

Эта маленькая, почти ежедневно повторявшаяся неудача всегда ввергала ее въ особенно грустное настроеніе... На этотъ разъ Клобукова перенесла ее довольно спокойно.

— Ничего, завтра будутъ три письма, — и отъ Васи тоже.

Она торопливо надѣла шляпу и мантильку и отправилась въ городъ.

III.

Дорога пересѣкала цѣлый рядъ деревушекъ. Въ нихъ шла молотба, и гулкій свистъ молотилокъ слышался безпрестанно. То и дѣло проѣзжали огромные возы съ соломой или съ мѣшками зерна, и толстые, сильные кони, запряженные цугомъ по четыре, а то и по шести, выступали медленно, спокойно, безъ усилий.

Крестьяне раскланивались съ Варварой Степановной и вступали съ ней въ разговоръ. Она объяснялась весело, смѣло, хотя путалась и сбивалась на каждой фразѣ, громко смѣялась, когда, не понявъ собесѣдника, отвѣчала невпопадъ.

Она была въ странномъ настроеніи. Ей было хорошо и пріятно, и она знала, что самое пріятное и интересное еще только впереди... Но въ то же время она испытывала смутное и тупое чувство обиды отъ мысли, что вотъ, она идетъ къ евреямъ...

Этотъ поступокъ казался ей дикимъ, нелѣпымъ и какъ бы унижать ее въ ея собственныхъ глазахъ...

— Ужъ если съ жидами знаться, то хоть бы они пришли первые. А то они спятъ себѣ дома, а я за ними бѣгаю...

Варвару Степановну мысли эти коробили и смущали, но она отгоняла ихъ прочь, и всѣми силами старалась не поддаваться вспыхивавшему въ ней чувству гнѣва.

— Что будешь дѣлать,—успокаивала она себя,—недаромъ хохлы говорятъ: „въ чужомъ городѣ собаку увидишь, неначе ріднаго батька“... Да и не могутъ же эти евреи придти ко мнѣ. Откуда имъ знать, что я здѣсь?.. И кромѣ того, они и не посмѣли бы... Вѣдь это только я такая мямля и такъ скучаю и нуждаюсь въ землякахъ. Другая на моемъ мѣстѣ ихъ и видѣть не захотѣла бы...

Но мѣрѣ приближенія къ городу, чувство обиды у Варвары Степановны все больше и больше ослабѣвало, уступая мѣсто пріятному волненію.

— Вотъ потѣха!—думала она. И безотчетная улыбка появлялась у нея на лицѣ.—Вотъ странно!.. Ужасно странно!...

И когда она входила уже въ городъ и пересѣкала желѣзнодорожный мостъ, новая, непріятная мысль внезапно сверкнула у нея въ головѣ.

— А что, если эти евреи на захотятъ ее знать? Что если они холодно или даже грубо обойдутся съ ней? Вѣдь они изъ Россіи эмигрировали оттого, что имъ тамъ было плохо, оттого, что тамъ ихъ притѣсняютъ. Они,

значить, Россіи и русскихъ не любятъ. Они, пожалуй, могутъ еще обидѣть ее, оскорбить...

— Не посмѣютъ!—вспыхнула Варвара Степановна.

Но тотчасъ же она сообразила, что вспышка эта неумѣстна.

— Отчего же имъ не посмѣтъ? Чего имъ стѣсняться? Имъ тутъ бояться нечего.

И что-то вродѣ испуга охватило вдругъ Варвару Степановну... Опять, и сильнѣе, чѣмъ, когда бы то ни было, она почувствовала себя одинокой, заброшенной, забытой, несчастной...

— И тетка Анфиса не пишетъ, и Вася не пишетъ.

Она остановилась. И въ глазахъ ея, устремленныхъ на высокое зданіе префектуры, откуда должна начаться улица Сади-Карно, появилось выраженіе печальное и жалобное... Минуты двѣ она стояла, не двигаясь.

— Нѣтъ, ничего! Пойду!—встряхнулась она.—Пойду! Будь, что будетъ!..

Торопливой походкой перерѣзала она переулокъ, потомъ площадь префектуры. И когда на желтоватой стѣнѣ высокаго углового дома показалась синяя табличка съ надписью: „rue Sadi Carnot“, сердце у Варвары Степановны дрогнуло.

— Значить, это правда! Значить, такая улица существуетъ!

И она съ особенно пріятнымъ чувствомъ смотрѣла на продолговатую синюю табличку, и эти бѣлыя буквы точно улыбались ей и кланялись.

— Странно все-таки,—думала она, подымаясь вверхъ по улицѣ,—удивительно странно...

Сдѣлавъ шаговъ сто, Варвара Степановна поравнялась съ лицеемъ.

Самое зданіе стояло во дворѣ, позади большого сада: съ улицы же видны были только тяжелыя ворота да узорчатая длинная рѣшетка. Клобукова быстро шла

вдоль нея, и тѣни отъ чугунныхъ орнаментовъ беззвучно плыли по ея лицу и по груди.

Вотъ рѣшетка окончилась. Вотъ большой, сѣрый, съ балконами, домъ. За нимъ другой, бѣлый, и черезъ дорогу, въ невысокомъ кирпичномъ зданіи, между мебельной лавкой и складомъ велосипедовъ — узкая стеклянная дверь, а надъ дверью вывѣска „Chapellerie moderne“.

— Конечно, здѣсь, — вслухъ сказала Варвара Степановна. — Здѣсь!..

Она перебѣжала улицу и, поднявшись на ступеньки, стала заглядывать внутрь магазина.

Небольшого роста, сутуловатый, тщедушный, совершенно сѣдой человѣкъ стоялъ за прилавкомъ и уныло смотрѣлъ черезъ окно на улицу. У него былъ только одинъ глазъ, и изъявъ этотъ не вполнѣ маскировали большія круглыя очки, косо стоявшія на короткомъ, мясистомъ носу. Лѣвой рукой человѣкъ этотъ держался за полку, всю уставленную шляпными коробками, а правой лѣниво барабанилъ по прилавку.

— Ну, развѣ не странно? — думала Варвара Степановна. — Точно это дядя Афанасій Петровичъ, а я ему своимъ появленіемъ собираюсь сдѣлать сюрпризъ.

Она толкнула дверь и едва переступивъ черезъ порогъ, звучнымъ голосомъ не сказала, а вскрикнула:

— Здравствуйте! Ну, здравствуйте!..

Сѣдой человѣкъ за прилавкомъ какъ-то странно рванулся. Очки подпрыгнули у него на носу, и большія круглыя стекла ихъ такъ и засверкали.

— Ой... что это? — испуганно воскликнуть онъ.

И на мгновеніе онъ оцѣпенѣлъ.

Потомъ онъ быстро повернулся лицомъ къ темно-красной портьерѣ за прилавкомъ и во весь голосъ заоралъ:

— Двойра! Двойра! иди сюда скорѣе, Двойра!.. Ой, посмотри, что тутъ дѣлается!

Обращеніе къ Двойрѣ было сдѣлано по-еврейски. И сердце Варвары Степановны улыбнулось отъ этихъ непонятныхъ ей, но хорошо знакомыхъ гортанныхъ звуковъ.

— Вы русская?.. Вы изъ Россіи?.. Вы давно изъ Россіи?..—бросился старикъ къ Клобуковой.—Ахъ, замѣчательно! Такъ вы изъ Россіи!.. Съ откудова же?.. Изъ какой губерніи?.. Изъ Таврической? пѣтъ?.. Изъ Херсонской?.. Ахъ, Боже мой!.. Вотъ необыкновенность! Вотъ рѣдкость!..

Онъ обѣими руками потрясалъ маленькую ручку Варвары Степановны и въ сѣльномъ волненіи продолжалъ выкрикивать:

— Знаете, мы тутъ живемъ уже одиннадцать лѣтъ, и я только въ третій разъ вижу русскаго человѣка. Только въ третій разъ. За одиннадцать лѣтъ!.. Га?.. Что вы на это скажете?.. Двойра! Иди же скорѣе! Ты посмотри, ты только посмотри, кто у насъ!

„Ну пѣтъ, здѣсь меня не обидятъ“, думала Варвара Степановна, съ тихой улыбкой глядя на волновавшагося еврея. „Вотъ какъ онъ мнѣ обрадовался... Чудакъ какой!..“

Красная портьера заколыхалась, и въ лавку вошла Двойра—коротенькая, полная женщина, одѣтая въ темно-коричневое платье. Лицо у нея было типичное, еврейское,—съ крупнымъ выгнутымъ носомъ и съ глазами на выкатъ. Она спокойно, съ холодной важностью, поклонилась Клобуковой и остановилась у прилавка.

— Русская же! Русская!..—въ восхищеніи указывалъ старикъ на Варвару Степановну.

Двойра насупилась.

— Чему ты такъ радуешься?—вполголоса сказала она по-еврейски—Наслѣдство получилъ, что ли?

Старикъ уставился на жену съ недоумѣніемъ. И черезъ секунду онъ снова обернулся къ Варварѣ Степановнѣ и затараторилъ:

— Моя фамилія Шапиро. Мы изъ Россіи... Какъ же, мы изъ Кривой-Балки. Ну да! Мы жили въ Кривой-Балкѣ... А вы, позвольте спросить, какъ? Временно здѣсь? Проѣздомъ? И долго еще пробудете? Ахъ! Вотъ замѣчательный случай... Просто необыкновенность!.. Но пожалуйста же въ комнату! Чего мы тутъ стоимъ? Пожалуйста, прошу васъ!

— И тутъ ей тоже не плохо, — сердито поджимая губы, проворчала по-еврейски Двойра. — Можетъ себѣ идти, откуда пришла.

Шапиро съ растеряннымъ видомъ взглянулъ на жену.

— А, да молчи ты! — пробормоталъ онъ тихонько, но очень выразительно... — Что это ты, Господь съ тобой?..

— Пожалуйста же, пожалуйста въ столовую! — громко звалъ онъ Варвару Степановну, бросаясь къ портьерѣ и размахисто отводя ее въ сторону. — Ахъ, какъ же это такъ случилось, что вы такъ далеко заѣхали?.. Вотъ сюда пожалуйста, вотъ здѣсь садитесь... въ кресло, къ свѣту, къ окошку, прошу васъ!.. Двойра, проси же, ну!..

— Ну, садитесь, — угрюмо, и какъ бы черезъ силу, процѣдила Двойра — Можно и посидѣть...

Всѣ трое, войдя въ столовую, усѣлись.

Варвара Степановна начала рассказывать, откуда она и какимъ образомъ очутилась во Франціи.

— Ахъ, извините, пожалуйста! — вскочилъ вдругъ Шапиро. — Извините, что я васъ перебиваю... Я на одну минуточку... Надо приказать поставить самоваръ.

— Зачѣмъ самоваръ? — низкимъ басомъ осадилъ мужа Двойра. — Не надо... на газѣ закипаетъ скорѣе...

— Э, нѣтъ же Двойрочка! „На газѣ“! Развѣ ты не понимаешь? Русскій же человѣкъ! Надо ему чай изъ самовара!

— У насъ нѣтъ угля, — буркнула Двойра.

— Угля нѣтъ? — Шапиро ухватился обѣими руками за голову и скорчилъ комически жалобную гримасу. —

У-ва, какое несчастье!.. Развѣ можно въ городѣ найти уголь? Развѣ это возможно? Уже въ городѣ сожгли весь уголь. Весь до послѣдняго кусочка... Жоржета! Жоржета!— онъ бросился къ двери:— Жоржета, побѣжите скорѣй въ лавочку къ мосье Петижанъ и принесите скорѣй угля... И скорѣе ставьте самоваръ!.. И чтобы все въ одну минуту было сдѣлано, въ одинъ моментъ...

Приказаніе Жоржетъ Шапиро отдавалъ на какомъ-то необычайномъ, собственнаго издѣлія, франко-русско-еврейскомъ нарѣчіи. И, слушая старика, Варвара Степановна не могла удержаться отъ улыбки.

— А вѣдь ничего себѣ этотъ еврейчикъ,—пронеслось въ ея головѣ,—гостепріимный, добрый, должно быть...

Чувство у Клобуковой, однако же, опережало умъ, и оно и знать не хотѣло этого снисходительнаго тона. Всю ее такъ и тянуло къ шумно-суетившемуся еврею и даже къ его хмурой и надutoй половинѣ...

И, довольная, возбужденная, она продолжала свой рассказъ о житіи въ замкѣ. Она говорила съ полной откровенностью, ничего не утаивая, и чувствовала себя при этомъ такъ, какъ если бы обращалась къ роднымъ, или къ давно и хорошо знакомымъ людямъ.

Двойра слушала гостью какъ бы нехотя и все съ тѣмъ же неласковымъ и сумрачнымъ видомъ, а Шапиро не сводилъ съ Варвары Степановны глазъ и, какъ сама она, почти не переставалъ улыбаться...

По временамъ онъ терялъ самообладаніе и у него вырывались возгласы вродѣ: „Ахъ Боже мой!“.. „Ну, ну!“.. „Вотъ замѣчательно!“.. И эти возгласы относились не столько къ рассказамъ Варвары Степановны, сколько къ тому удивительно пріятному и радостному настроенію, которое такъ неожиданно вошло къ нему въ душу.

Когда Клобукова заговорила о своемъ одиночествѣ

и тоскѣ, она старалась придать своимъ жалобамъ юмористическій оттѣнокъ. Но Шапиро, повидимому, хорошо понималъ, какая горечь и боль скрывается за этимъ юморомъ. Онъ съ грустнымъ лицомъ смотрѣлъ на рассказчицу, участливо вздыхалъ и покачивалъ головой.

— Ну да, ну да,—бормоталъ онъ,—что жъ, такая даль... И непривычныя же вы... И вы же дитѣ... Совсѣмъ дитѣ... Когда человѣка вотъ такъ вотъ забросить въ чужое мѣсто, такъ онъ самый несчастный на свѣтѣ...

IV.

Потомъ Шапиро сталъ рассказывать о своихъ дѣлахъ, о семьѣ.

Сынъ его Соломонъ служить въ Ліонѣ на „самой большой“ нѣтъпшой фабрикѣ и онъ *chef d'atelier*. Дочь Дунечка очень хорошо учится и можетъ быть, Богъ дастъ, сдѣлается докторомъ. Теперь Дунечка гостить у брата въ Ліонѣ, а на-дняхъ она пріѣдетъ—„и вы уже увидите сами, какая она у насъ красавица и образованная“...

Когда рѣчь зашла о дѣтяхъ, лицо Двойры стало менѣе хмурымъ, и она тоже вставила нѣсколько словъ. Мужа ея это подбодрило, онъ повеселѣлъ и сталъ говорить и смѣяться, и громче...

— Отчего же вы покинули Россію?—спросила его Варвара Степановна.

Шапиро замялся.

— Такъ ужъ оно вышло.—И смущенная, виноватая улыбка появилась у него на лицѣ.—Я знаю отчего?... Сдуру... Задумалъ... и уѣхать.

— Вамъ трудно жилось въ Кривой-Балкѣ?

— Трудно?—Шапиро повелъ бровями.—Не трудно... а такъ... Жилось, какъ всѣмъ живетъ... Только знаете... ну, какъ бы вамъ это сказать... вотъ, напримѣръ... рыба ищетъ, гдѣ глубже, а...

— Что ты тамъ сказки рассказываешь! — перебила вдругъ Двойра, шумно пододвигая стулъ и наваливаясь обоими локтями на столъ. — „Рыба ищетъ, гдѣ глубже“!.. Тебя про рыбу спрашиваютъ?.. Мы убѣждали изъ Кривой-Балки оттого, что насъ тамъ разгромили. Вотъ вамъ и отвѣтъ!

— Ну, Двойра! Оставь это! — просительно и почти испуганно сказалъ Шапиро, — оставь! Это не къ мѣсту теперь.

— Это всегда къ мѣсту! Что такое за секреты!.. Нечего оставлять!.. Сладко очень намъ жилось, вы думаете? Терпѣли, мучились, страдали всю жизнь... А потомъ пришли хорошіе люди, ваши, русскіе, сдѣлали погромъ и все, что было въ домѣ, уничтожили въ одинъ моментъ...

— Ну, уничтожили... Ну, ну... ну, такъ что?.. — умоляюще проговорилъ Шапиро. — Ну, будетъ объ этомъ...

— А его самого хватили утюгомъ въ глазъ, — повисивъ голосъ, продолжала Двойра, — и вотъ онъ съ тѣхъ поръ слѣпой. Вытекъ глазъ... Чего намъ было тамъ сидѣть, скажите пожалуйста? Чтобы еще мучили? Мало вы думаете? Я думаю, что достаточно. Мы себѣ и уѣхали... Мы пустились въ Америку, но по дорогѣ вотъ у этого моего умника сталъ болѣть уже другой глазъ, — между обоими глазами есть мостъ, и когда болитъ одинъ, то отзывается и другой, — и вотъ онъ чуть было и совсѣмъ не ослѣпъ. Мы дальше уже ѣхать не могли, и когда добрались до Шомона, то пришлось ему лечь въ больницу. А я съ двумя дѣтьми осталась прямо на мостовой. Прямо хотъ возьми, вытянись и умирай, или бросайся подъ поѣздъ... Ну что? Что дѣлать?.. Только я вамъ скажу, что хотъ тутъ люди, можетъ быть, и не такіе добрые, какъ въ Россіи... Не перебивай!.. — крикнула вдругъ Двойра, бросая на мужа гнѣвный взглядъ, — не перебивай, я тебѣ говорю, молчи!.. Я, слава Богу,

еще не сошла съ ума! Можно и меня тоже пустить слово сказать!..

— Тутъ люди намъ все-таки глазъ не выбивали,— продолжала она, обернувшись къ Варварѣ Степановнѣ,— и грабить насъ не грабили тоже... Насъ подобрали и дали намъ работу—козырьки къ шапкамъ пришивать. Мы съ Соломономъ работали такъ день и ночь, сперва козырьки, потомъ околышки, и когда вотъ этотъ мой президентъ вышелъ изъ больницы, то мы не только были сыты и имѣли свою квартиру, но успѣли еще сберечь семьдесятъ франковъ... Ну?..

Двойра подбоченилась и горделиво закачала головой.

— Что? Въ Россіи мы бы тоже могли это имѣть, да? Какъ вы думаете?.. И вотъ, съ тѣхъ поръ мы и устроились, и намъ, слава Богу, хорошо...

— Э, хорошо,—вполголоса протянулъ Шапиро, печально поглядывая впередъ на развѣшанныя по стѣнѣ плюшевыя рамки съ видами Шомона.

— Да, хорошо! Чтобъ ты такъ зналъ, что хорошо... Въ Россіи онъ былъ портнымъ. Мы тамъ всю жизнь не переставали голодать. А теперь, посмотрите, какая у насъ лавка. Это не шуточка!.. И никто насъ не обижаетъ и не бьетъ, никто намъ не мѣшаетъ жить, намъ не кричать „жидъ пархатый“. Мы тутъ, какъ люди, вотъ!..

Двойра выразительно развела руками и откинулась на спинку стула.

Выложивъ передъ Варварой Степановной все, что ей хотѣлось, она почувствовала себя облегченной... Угрюмая надутость съ лица ея сошла, и на немъ засвѣтилось выраженіе гордаго довольства и независимости.

Варвара Степановна глядѣла на еврейку какъ-то несмѣло, сбоку...

Въ первый разъ приходилось ей разговариваться съ

евреями, въ первый разъ выслушивала она ихъ внимательно и серьезно, безъ желанія передразнивать,—и горячія слова Двойры вызывали въ ней тихую печаль и какое-то неясное сознаніе упрека самой себѣ.

— А скажите, пожалуйста,—негромкимъ голосомъ заговорилъ Шапиро,—вы, должно быть, знаете, каковъ теперече у насъ, въ Херсонской губерніи, урожай?

— Плохо, кажется. Все выжгло...

— Опять выжгло!..

Двойра пренебрежительно вздернула плечами.

— Что же это такое будетъ?—задумчиво продолжалъ старикъ,—ну, въ Кривой-Балкѣ есть кое-какая коммерція—хотя ужъ, конечно, какая теперь можетъ быть и коммерція!.. Но что же это будетъ въ деревняхъ?.. Въ Коренихъ, напрімѣръ... въ Червономъ... въ Старыхъ-Криницахъ...

На минуту наступило молчаніе.

— Будетъ народъ вымирать,—со вздохомъ отвѣтилъ себѣ Шапиро.

— У-ва!—подхватила Двойра, презрительно сжавъ губы.—А намъ горе большое!.. Пусть себѣ...

Шапиро порывисто поднялъ голову.

— Двойра!—простоналъ онъ, складывая на груди ладони.—Ну къ чему это? Къ чему это, я спрашиваю?!

И, обернувшись къ Варварѣ Степановнѣ, онъ сказалъ:

— Знаете,—это все одна комедія... Вотъ тутъ сидите вы, русская, такъ она хочетъ показать, что она на русскихъ сердится, и что она ихъ терпѣть не можетъ. А на самомъ дѣлѣ...

Шапиро съ грустной усмѣшкой покосился на жену.

— На самомъ дѣлѣ, она сама выдумала нашу дочку называть Дуней...

— Это ничего не значить,—сконфуженно сказала Двойра.

— Въ Россіи мы нашу дѣвочку называли по-еврей-

ски,—Бранка. И русскіе мальчуганы дразнили ее „болванка“, „поганка“, или другія тамъ разныя риѣмы придумывали...

— Когда нужно обидѣть еврея, то русскій человѣкъ умѣетъ находить очень хорошія риѣмы, — вставила Двойра.

— И сколько нашу дѣвочку ни дразнили, а мы себѣ не обращали вниманія, и называли ее по нашему— Бранка. Но вотъ, съ тѣхъ поръ, какъ мы за границей, жена и стала ее называть Дуней... Что? Можетъ быть, это неправда?

Двойра молчала. Чуть замѣтная печальная улыбка играла на ея полныхъ губахъ.

Варвара Степановна смотрѣла то на Шапиро, то на его жену... Ей хотѣлось сказать имъ что-нибудь хорошее, ласковое, теплое, но почему-то было неловко, и не сразу приходили слова...

А потомъ вкатилась въ комнату Жоржета, круглая старушка французенка въ бѣломъ передникѣ и въ чепчикѣ, и поставила на столъ самоваръ и стаканы.

— *Nous voici à Moscou maintenant*,—дружелюбно зашамкала она.—*Du thé, le samovar, une belle demoiselle russe... Ah, que j'aime la jeunesse!*..

Двойра стала разливать чай. Она, повидимому, устала дуться, да и разоблаченіи мужа сбили ее съ позиціи. Ея лицо постепенно утрачивало послѣдніе остатки угрюмости и становилось все болѣе и болѣе привѣтливымъ.

Она церемонно, жеманничая, угощала Варвару Степановну, счастливая и гордая, что есть чѣмъ угощать, пастойчиво требовала, чтобы гостыя положила въ стаканы непременно четыре куска сахару и усердно накладывала ей на блюдечко то вишневое, то абрикосовое варенье, то какія-то коричневыя, собственнаго издѣлія, медовыя пирожныя.

Разговоръ дѣлался все оживленнѣй и веселѣй и

безпрестанно перескакивалъ съ одного предмета на другой. И о чемъ бы ни толковали—о людяхъ ли, о постройкахъ, о погодѣ или о фабрикаціи шляпъ,—все связывали съ Россіей и съ русскимъ...

У Двойры языкъ развязался окончательно, и она тараторила громко и нараспѣвъ. Лицо Варвары Степановны, типичное, хорошее русское лицо, бѣлое съ румянцемъ, съ ясными синними глазами, со свѣжимъ, ласково улыбающимся ртомъ, располагало къ откровенности, и черезъ какіе-нибудь полчаса у Двойры отъ гостыи уже не было никакихъ секретовъ. Она рассказывала ей о всѣхъ своихъ дѣлахъ, выложила всю подноготную... А Варвара Степановна говорила тоже, говорила и смѣялась, и, прислушиваясь къ своимъ словамъ и къ своему голосу, не узнавала его, и внутренне ахала и изумлялась... Какъ все это неожиданно! Какъ все это странно! И какъ давно уже не была она въ такой пріятной и веселой компаніи!..

Одинъ только Шапиро говорилъ теперь мало...

Раза три онъ выходилъ въ магазинъ, къ покупателямъ. И когда оттуда возвращался, онъ тихонько усаживался на стулъ и внимательно прислушивался къ стрекотанію женщинъ... Лицо у него было задумчивое и ласково-печальное, и порою тихая, снисходительная улыбка появлялась на его безкровныхъ губахъ...

Двойра повела Клобукову осматривать комнату Дунечки, показала карточку дочери, ея книжки и тетради, и потомъ изъ шкафовъ и сундуковъ стала вытаскивать приданное... У Дунечки было уже четыре перины, пятая готовилась, были цѣлыя дюжины разныхъ видовъ сорочекъ и кофточекъ, куски шелка, атласа...

— Она говоритъ, что это ей не нужно,—объясняла Двойра,—она все объ ученіи хлопочетъ. Развѣ дитѣ понимаетъ?.. Хочетъ быть докторомъ—охъ! Съ большимъ удовольствіемъ! Но перина и доктору не мѣшаетъ.

— Будетъ уже тебѣ, — останавливалъ жену Шапиро. — Спрячь тряпки, поговорите о чемъ-нибудь другомъ.

— Нѣтъ объ этомъ, объ этомъ, — шаловливо кричала Варвара Степановна, выкапывая изъ сундука новую пачку Дунечкинаго бѣлья. — Ужъ вы, пожалуйста, намъ не мѣшайте, это наше дѣло, бабье...

— Конечно! — соглашалась Двойра. — А ты себѣ сиди и слушай, философъ!

И объ женщины долго еще перекладывали разные тряпки и болтали наперебой.

Варварѣ Степановнѣ Двойра нравилась все больше и больше, и она думала теперь, что новая знакомая ея очень похожа — и вѣшностью, и характеромъ — на троюродную тетку Василису Ефремовну, благочиннику изъ Новопокровска. И щеки такія же пухлыя и румяныя, и такъ же талія начинается подъ лопатками, и такъ же Раскатисто и добродушно она хохочетъ... Смѣшная немного, но милая, милая...

V.

Часа полтора спустя Клобукова взялась за шляпу и заявила, что уходитъ. Но Двойра, церемонно присѣдая и гримасничая, стала отнимать у нея шляпу.

— Положимъ, — тягуче говорила она какимъ-то страннымъ, сладенькимъ фальцетомъ, — положимъ, что мы васъ не отпустимъ, и вы останетесь съ нами поужинать. Сегодня же, кстати, и пятница.

Варвару Степановну приглашеніе это и обрадовало, и смутило. У нея не было ни малѣйшаго желанія торопиться въ замокъ, но ей неловко было такъ широко пользоваться гостепріимствомъ новыхъ знакомыхъ.

— Поздно будетъ возвращаться, — нерѣшительно возразила она.

— А зачѣмъ же вамъ возвращаться поздно, когда можно возвращаться рано?—лукаво улыбаясь, спросилъ Шапиро.

Варвара Степановна поняла его по своему и смутилась еще сильнѣе.

— Ну, да,—пояснилъ старикъ:—ваша графиня встаетъ въ девять часовъ, и если вы у насъ переночуете и отсюда уйдете утречкомъ рано, то какъ разъ и поспѣете...

— Охъ, отлично!—всплеснула руками Двойра.—Самое замѣчательное дѣло!.. Самое подходящее!.. Вы будете спать въ Дунечкиной комнатѣ...

Черезъ полчаса всѣ трое размѣстились за парадно, по праздничному накрытымъ столомъ. Горѣли въ новенькихъ никелевыхъ подсвѣчникахъ шесть свѣчей и передъ ними, подъ бѣлоснѣжной, накрахмаленной салфеткой возвышались два большихъ калача.

Вечерняя трапеза по пятницамъ сопровождалась у Шапиро цѣлымъ рядомъ торжественныхъ церемоній. Теперь, ради гости, онъ дѣло значительно упростилъ и послѣ коротенькой, наскоро сказанной молитвы усѣлся на свое предсѣдательское мѣсто.

Подали рыбу—фаршированного карпа. За рыбой послѣдовалъ традиціонный бульонъ изъ лапши, потомъ курица и компотъ.

— А кугель гдѣ?—спросила Варвара Степановна.

Но Двойра объяснила, что кугель ѣдятъ въ субботу, въ полдень, а теперь это лакомство только еще печется въ духовой.

— Кугеля вамъ нѣтъ, но змиресъ вы все-таки будете пѣть,—заявилъ гость Шапиро.

— Что это—змиресъ?

— Это—субботняя пѣсня. Она поется между двумя блюдами, на древне-еврейскомъ языкѣ.

— Ахъ, спойте, пожалуйста, спойте!

— Подтягивать будете?

— Буду, буду... Пожалуйста, начинайте.

Шапиро откашлялся, потеръ себѣ пальцемъ горло, какъ бы для того, чтобы его прочистить, и дребезжащимъ, козлинымъ голосомъ затянулъ причудливую восточную мелодію:

Кто субботу блюдетъ свято,
Кто чтить ее крѣпко,
Тому и будетъ великая,
Чудесная награда...

— Ну, ну, помогайте же, ну!..—толкала Клобукову Двойра, тоже не понимавшая ни одного слова изъ древне-еврейской пѣсни мужа.

Варвара Степановна открыла ротъ и съ выраженіемъ робости и почтенія стала подтягивать... Въ теченіе минуты или двухъ въ комнатѣ стояла удивительная какофонія... Но вотъ старикъ забрался куда-то очень высоко и, сорвавшись, разразился веселымъ хохотомъ.

— Каплемейстера у насъ нѣту, оттого...—сообразилъ онъ.

Встали изъ-за стола поздно, въ десятомъ часу.

Отъ всѣхъ этихъ новыхъ и неожиданныхъ впечатлѣній Варвара Степановна чувствовала себя уставшей и какъ бы опьяненной. Ей и безконечно пріятно было, и смѣшно, и немножко грустно. Родныхъ она вспоминала, и свою тоску по нимъ, и недавнее свое отчаяніе... „Милая, милая“,—думала она, глядя на коротковатую Двойру,—и такъ ей хотѣлось къ ней приласкаться, и обнять ее, и расцѣловать...

VI.

Жоржета погасила свѣчи, пожелала хозяевамъ доброй ночи и ушла спать. Двойра лежала на кровати и сладко потягивалась. Было тихо. Плотныя бѣлыя занавѣски на окнахъ скрадывали лунный свѣтъ, и въ комнатѣ стоялъ прозрачный блѣднозеленый сумракъ...

— Ну? Что ты скажешь на всю эту исторію?—вполголоса спросила Двойра.

Шапиро сидѣлъ на кушеткѣ, у окна. Свѣтъ падалъ ему на спину, и сосредоточенное, печальное лицо старика задернуто было густою тѣнью.

— Всякія встрѣчи бываютъ,—неопредѣленно отвѣтилъ онъ:—была и такая...

— Прямо необыкновенная персона,—съ горячностью, но не повышая голоса, подхватила Двойра.—Такая ласковая, такая любезная... Просто, какъ родное дитѣ, честное слово!

— Она, должно быть, очень образована,—догадался Шапиро.—Знаешь... они насъ мучать... но ихніе молодые люди, когда они хорошо образованы, такъ они такіе хорошіе, такіе хорошіе, что лучше и на свѣтѣ нѣтъ.

— Такая простая, такая нѣжная!

— Помнишь, въ Кривой-Балкѣ, Василь Ивановичъ, сынъ священника... который потомъ въ Сибирь попалъ?...

— Какъ она увидѣла Дунечкины кашъ-корсеты, съ шелковой вышивкой, съ кружевами, такъ она ажъ ахнула,—мечтательно уставившись на потолокъ, припомнила Двойра.—Ничего, пусть она такъ знаетъ.

Шапиро не отвѣчалъ. Онъ сидѣлъ, положивъ ладони на колѣни и склонивъ голову на бокъ. Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи. Въ лицѣ, черезъ дорогу, башенные часы медленно, съ длинными паузами, пробили одиннадцать, и послѣдній ударъ звучалъ особенно долго и печально. Казалось, что, улетаая изъ тѣсной и душной башни вдаль, къ свѣтлой дунѣ, звукъ и въ свободныхъ глубинахъ вздыхаетъ по мрачному мѣсту рожденія.

— Знаешь, Двойреню, что я теперь себѣ мудаю?—поднялъ голову Шапиро.

— Что?

— Я себѣ думаю такую вещь: что, если бы мы съ тобой тогда перемучились и изъ Кривой-Балки не

уѣхали, то наши, напрімѣръ, внуки, или хотъ, скажемъ, правнуки,—могли бы уже они жить тамъ спокойно, по-человѣчески?

Двойра безпокойно метнулась.

— А, старая пѣсня!—съ досадой сказала она.

Шапиро помолчалъ.

— Конечно, старая,—покорно согласился онъ потомъ.—Таки старая...

Онъ продолжалъ сидѣть, не шевелясь, и по прежнему голова его наклонена была къ лѣвому плечу.

— Передъ домикомъ, гдѣ былъ нашъ хедеръ, всегда стояло болото,—не спѣша, и тихо улыбаясь стыдливой, больной улыбкой, началъ онъ,—а когда шелъ дождь, то дѣлалось цѣлое озеро, и мальчишки бродили въ немъ. Закатывали штаны до самого паха и бродили... И я тоже бродилъ... А бабушка вытаскивала меня оттуда и била... Я ревѣлъ, и бабушка тоже плакала, и давала мнѣ лепешку... У меня были золотушные опухоли на ногахъ, и въ водѣ я ихъ простуживалъ... Я не знаю: есть теперь этотъ домикъ... и это болото...

— Ложись уже, пожалуйста!—раздраженно прошептала Двойра.—Спи!

Шапиро не пошевелинулся.

Въ потолокъ что-то гулко стукнуло: наверху, въ Дунечкиной комнатѣ, Варвара Степановна сбрасывала съ ногъ ботинки.

— Пятьдесятъ лѣтъ мы тамъ жили и работали,—печально и негромко говорилъ старикъ.—Наши отцы, дѣды, прадѣды тамъ схоронены... и четверо дѣтей...

Двойра шумно отвернулась къ стѣнѣ.

— Ну чего ты хочешь! Къ чему это?.. Тянетъ, тянетъ... Ложись, я тебѣ говорю!

И сдавленные слезы слышались въ дрожаніи ея голоса.

Шапиро вздохнулъ.

— Если бы пришло такое время... хоть для внуков... для правнуков...—беззвучно пробормотать онъ.

Двойра уже не отвѣчала.

„Дубиной по головѣ имъ дадутъ“, рвалось изъ ея сердца. Но она овладѣла собой и подавила слова. Она лежала неподвижно, закрывши одѣяломъ голову.

Шапиро взглянулъ на жену... ему хотѣлось говорить съ ней еще... но онъ пожалѣлъ ее...

Онъ тихо всталъ и вышелъ во дворъ.

Здѣсь, подлѣ погребѣ, въ широкой тѣневой полосѣ, стояла большая кадка съ короткимъ, плотнымъ буксомъ. Деревцо это французы любятъ и охотно возвращаютъ, такъ какъ оно круглый годъ сохраняетъ листву и доставляетъ зелень для украшенія кладбищенскихъ памятниковъ. Съ вечера деревцо полили, и теперь, при яркомъ свѣтѣ луны, водяныя брызги на темныхъ листьяхъ сверкали зеленымъ огнемъ пвановыхъ червячковъ.

Шапиро присѣлъ на краешекъ кадки и обратился лицомъ къ небу.

Онъ скорбно смотрѣлъ своимъ единственнымъ глазомъ на ясную, кроткую луну, освѣщавшую и этотъ чуждый Шомонъ, и ту далекую, печальную страну, въ которой лишили его другого глаза, въ которой находятся всѣ родныя ему могилы, и на которую онъ чувствовалъ такія прочныя, такія святыя права. Онъ смотрѣлъ,—и въ бѣдномъ сердцѣ его звучала все та же старая, старая пѣсня: хоть для внуковъ... хоть для правнуковъ... хоть когда-нибудь...

НА ЧУЖБИНѢ.

I.

— Какая огромная разница между положеніемъ здѣшняго крестьянина и положеніемъ русскаго мужика,—сказала однажды Сара, стоя у аптечнаго шкафа и процѣживая какую-то настойку.—Появился здѣсь тифъ, и каждый больной зоветъ къ себѣ доктора, платитъ ему за пріѣздъ десять франковъ и потомъ покупаетъ всеъ нужныя лѣкарства. Въ благодѣяніяхъ, въ бесплатной медицинской помощи не нуждается никто. Какія бы дорогія лѣкарства ты ни прописалъ, покупаютъ все. Шампанское прописалъ—покупаютъ шампанское.

Слушая Сару, я смотрѣлъ не на нее, а въ сторону, въ раскрытое окно. Стоялъ ноябрь, сухой, теплый, тихій,—такой, какимъ онъ часто бываетъ въ этомъ краю. Огородъ нашъ былъ уже опустошенъ, садъ стоялъ обнаженный. За садомъ тянулось темное, унылое поле, а дальше громоздились крутые отроги Вогезовъ, гдѣ на гигантскихъ, синеватыхъ соснахъ догорали теперь послѣдніе лучи заходившаго солнца. Въ лѣсу, въ полѣ и у насъ въ домѣ царила такая тишина, что капли настойки, мѣрно падавшія съ лейки въ неполную склянку, звенѣли отчетливо и гулко.

— Да,—задумчиво и нѣсколько неохотно отвѣтилъ я:—покупаютъ и шампанское... И мясной порошокъ по семи франковъ флаконъ покупаютъ...

— Да и какая же это эпидемія,—медленно и тихо

продолжала Сара: — двухъ мѣсяцевъ не длилась, а смертныхъ случаевъ всего три... Въ русской деревнѣ какъ пойдеть косить—треть населенія уносить... Нищета... Врачъ за тридевять земель, дороги ужасныя... У врача часто нѣтъ самыхъ необходимыхъ лѣкарствъ. Я недавно читала: нѣтъ даже хинина, нѣтъ льду... Три мѣсяца врачъ безъ хинина сидить...

Яша, лежавшій на полу, животомъ внизъ, и представлявшій въ кружокъ вагоны своей желѣзной дороги, поднялъ вдругъ къ матери голову и озабоченно спросилъ:

— Хининъ, *ma mère*, c'est bien du sulfate de quinine?

Яша любилъ подсаживаться къ Сарѣ, когда она приготавливала лѣкарства, и помогать ей. Она предоставляла ему завертывать въ бумажки порошки и заклеивать кашетки, и многіе медикаменты были ему хорошо извѣстны.

— Такъ пошли нашъ хининъ,—продолжалъ по-французски мальчикъ:—у насъ его цѣлая банка. А намъ *monsieur Grandière* продастъ еще, сколько угодно.

Яша привсталъ. Лицо его приняло выраженіе серьезное, важное, такое, какимъ оно часто бываетъ у дѣтей, когда они вдругъ набредутъ на особенно счастливую мысль.

— Хоть тысячу *kilos*!—убѣжденно заключилъ онъ.

Сара, не торопясь, вытирала полотенцемъ лейку и съ грустною улыбкой смотрѣла на мальчика. Я, по-прежнему, хмурился и глядѣлъ въ окно, на сизые стебли артишоковъ и на поле, закутанное холодною, мрачною тѣнью. Разговоръ, поднятый Сарой, былъ мнѣ не по душѣ. Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи.

Сара взяла коробку съ какимъ-то сѣроватымъ порошкомъ и стала осторожно насыпать его на чашку вѣсовъ. Не встрѣтивъ видимаго сочувствія своему плану насчетъ хинина, Яша опустился на полъ, обхватилъ

худыми ручками колѣни, положилъ на нихъ голову и крѣпко о чемъ-то задумался.

— И знаешь,—медленно, не глядя на меня, тихо пощелкивая пальцемъ по коробкѣ съ порошкомъ, проговорила Сара:—все-таки... если вдуматься... очень это странно.

Она остановилась.

— Что такое странно?

Сара посмотрѣла на меня долгимъ, внимательнымъ взглядомъ.

— То странно, что мы—здѣсь.

Она сдѣлала неловкое движеніе, порошокъ изъ коробки посыпался широкою струей, чуткое коромысло вѣсовъ подскочило и жалобно звякнуло тонкимъ звономъ... Ни я, ни Сара больше не говорили, Яша тоже сидѣлъ молча, задумчивый и хмурый. Сумракъ въ комнатѣ дѣлался все гуще и гуще.

II.

Недѣли двѣ прошло, и мы къ этому разговору не возвращались. Думалъ же я о немъ часто.—„Странно, что мы здѣсь!..“ Во время разгара эпидеміи эта мысль нѣсколько разъ приходила и мнѣ. Но долго она у меня не задерживалась и уходила, не нарушая моего покоя. Теперь дѣло обстояло нѣсколько иначе.

„Странно что мы здѣсь!..“

Я въѣзжаю въ деревню. Она отлично вымощена: дома въ ней каменные, просторные, большею частью двухъэтажные съ огромными овинами и хлѣвами. Крыты они,—тѣ, которые постарѣе,—темнымъ плитнякомъ, которые поновѣе—красною марсельскою черепицей; у домовъ—троттуары; окна вездѣ большія, ставни и двери—хорошей столярной работы—выкрашены масляною краской. Улицы освѣщаются керосиномъ, а иногда ацети-

леномъ. И, глядя на все это, я невольно начинаю рисовать себѣ другую картину: вросшія въ землю кривыя, темныя мазанки, гнилыя стропила въ развороченныхъ соломенныхъ крышахъ, смердящая грязь, оконца, величиною въ кулакъ и заткнутыя тряпкой...

— „Странно, что мы здѣсь!..“

Я вхожу въ домъ. Первая комната — кухня. Полъ выстланъ широкими гладкими плитами; съ потолка свѣшиваются окорока, огромные пласты свиного сала. У стѣны—кровать, съ занавѣсками, съ отличными мягкими матрацами, съ подушками и пуховыми одѣялами. Наволочки чистыя, простыни чистыя. Рядомъ съ кроватью буфетъ. Раскроютъ его, и на меня глядятъ, съ верхнихъ полокъ, дюжины тарелокъ, бокаловъ, чашекъ, графиновъ; съ нижнихъ—сложенныя въ столбы салфетки, полотенца, скатерти. Противъ буфета—непремѣнно часы, въ длинномъ отъ потолка до полу ящикѣ, и часы эти непремѣнно хорошо идутъ. Войду въ слѣдующую комнату—дубовый столъ, часто навоощенный, часто съ коврикомъ; соломенные стулья, чистыя кровати, орѣховый комодъ, на немъ зеркало, лампа, ящички, вазочки... Стѣны оклеены обоями и на нихъ фотографическія карточки въ рамкахъ, иногда гравюры... И опять другая картина встаетъ въ моей памяти: земляной, горбатый, постоянно мокрый полъ, осклизлыя, черныя стѣны, тучи насѣкомыхъ, какіе-то остатки тулупа, какая-то гнилая солома и на ней полуголыя дѣти со вздутыми животами и со струпьями на лицѣ... Тяжелое, томительное смущеніе неожиданно подымается въ моей душѣ, и, къ удивленію моему, мнѣ начинаетъ казаться, что мнѣ хочется назадъ въ Россію...

„А Сара этими чувствами томится уже давно“, — дѣлалъ я догадку.

Я оглядывался на прошлое, припоминалъ нѣкоторые моменты изъ нашей жизни за послѣдніе мѣсяцы, и мнѣ начинало казаться, что, чуть ли не съ первыхъ

дней нашего прїѣзда сюда, Сара уже обнаруживала какую-то странную грусть.

Она работала много—ей я поручилъ завѣдываніе аптекой, уходъ за роженицами и разныя фельдшерскія обязанности—работала съ большимъ усердіемъ, во время эпидеміи даже самоотверженно, но—какъ понималъ я это теперь—безъ особенной любви...

Говорила она мнѣ—и не разъ,—что чувствуетъ себя удовлетворенною, и что дѣятельность ея ей нравится, но голосъ ея, при этомъ, звучалъ какъ-то нетвердо, глаза смотрѣли уныло, и впечатлѣніе у меня получалось такое, что она не вполне искренна и отъ меня что-то таитъ... Теперь мнѣ казалось, что причину этого унынія я знаю.

Во время эпидеміи Сара ежедневно, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, ѣздила на велосипедѣ въ Лэрвилъ, дѣлала въ оба конца двадцать пять километровъ, и въ дорогѣ, кромѣ того, километра полтора подымалась въ гору пѣшкомъ и вела свой велосипедъ.

Тифозныхъ она сажала въ ванны, закрывала въ простыни, переносила ихъ съ мѣста на мѣсто, вообще, хлопотала около нихъ цѣлые дни, иногда оставалась съ ними и ночью, и все это сильно утомляло ее. Къ концу эпидеміи она едва держалась на ногахъ и не походила на себя... Я принялся ее подкрѣплять, прописалъ ей фосфаты, мышьякъ, полусырое мясо, растиранія холодной водой. Всѣ мои указанія она исполняла аккуратно, но сколько-нибудь замѣтныхъ результатовъ отъ этого не замѣчалось. Она оставалась по-прежнему худою и блѣдною, и настроеніе у ней было угнетенное. Безсонница не прекращалась. Она ложилась рано и засыпала сразу, но черезъ какой-нибудь часъ просыпалась и потомъ съ боку на бокъ ворочалась до утра. Иногда она вставала, зажигала лампу, подсаживалась къ столу читать, читала часъ, другой, ложилась опять, но раньше разсвѣта все-таки не засыпала...

До сихъ поръ я все это объяснялъ переутомленіемъ. Теперь я видѣлъ, что переутомленіе переутомленіемъ, а есть еще и что-то другое...

III.

„Тоска по родинѣ? Nostalgie?.. Вотъ еще чего не доставало!“—Я пренебрежительно пожималъ плечами.

„Говорятъ, что всякій вздоръ лѣзетъ въ голову отъ бездѣлья. А видно, и чрезмѣрная работа до умныхъ вещей не доводитъ... Заработаешься и начинаешь дурѣть... Ну, однако же, ничего,—вылѣчимся!.. Надо бы только, чтобы не было больше этихъ разговоровъ о Россіи, да сравненій этихъ и параллелей... Ничего, пройдетъ“...

И, обращаясь къ Сарѣ, я говорилъ:

— Зима пролетитъ незамѣтно, а тамъ, какъ только потеплѣетъ, будешь возиться въ огородѣ, будешь сажать картофель, сѣять морковь и подкрѣпишься живо... Тогда и повеселѣешь.

Сара не возражала. Но въ глазахъ ея, большихъ и темныхъ, появлялось иногда выраженіе недоумѣнія.— Ты это серьезно?—говорили эти глаза:—ты, въ самомъ дѣлѣ, думаешь, что мнѣ поможетъ картофель?..

Меня выраженіе это смущало, корбило, и даже, когда я о немъ вспоминалъ въ дорогѣ, въ лѣсу, или гдѣ-нибудь у больного, мнѣ дѣлалось непріятно. Но я говорилъ себѣ, что все это пустяки, вздоръ, что скоро все само собою уладится, устроится и войдетъ въ колею...

Но время шло, а улаживаться ничего не улаживалось. Я со своимъ смущеніемъ раздѣлался совершенно, даже вспоминалъ о немъ не иначе, какъ о „нелѣпомъ сантиментѣ“, но у Сары настроеніе не мѣнялось и выраженіе унылаго раздумья не сходило съ ея лица.

— Ты знаешь,—обратилась она какъ-то ко мнѣ:—и въ Мезонселѣ тоже есть школа.

Я поморщился.

— Отчего жъ бы ей тамъ и не быть?

— Въ Мезонселѣ нѣтъ и восьмидесяти жителей...—
И, немного помолчавъ, Сара прибавила:—нѣтъ того незначительнаго поселка, той ничтожной деревушки, гдѣ не было бы школы.

— Много изъ этихъ школъ выносятъ!

— Отчего же? Выносятъ все-таки... Во всякомъ случаѣ грамотѣ научаются... А видѣлъ ты, какая при здѣшней школѣ библіотека?

Я молчалъ.

— Есть „Pages choisies“ Ренана, есть Луи Бланъ, Мишлэ, есть довольно порядочная „Энциклопедія для земледѣльцевъ“.

— Даже энциклопедія!.. Однако, съ тѣхъ поръ, какъ мы въ деревнѣ, я еще ни разу не видѣлъ человѣка за книгой.

— Ты не видѣлъ! Не случилось, и не видѣлъ!.. А библіотека все-таки есть. Захочетъ кто-нибудь читать,—и найдетъ хорошую книгу.

Оба мы помолчали.

— Порядочные они дикари, эти твои читатели энциклопедіи,—сказалъ я, усмѣхаясь:—вонъ въ Лафощѣ собирались провести телефонъ, такъ муниципальные совѣтники взбунтовались: отъ телефона, говорятъ, передохнетъ въ деревнѣ вся птица...

— Какъ ты думаешь,—перебила меня Сара,—сколько въ нашей деревнѣ подписчиковъ на газету? Тридцать два!.. На четыреста жителей—тридцать два газетныхъ подписчика.

— Радость какая! Клерикальный „Petit Champenois“ читаютъ.

— И радикальный „Avant-garde Républicaine“ тоже... Какъ далеку русскій мужикъ отъ того, чтобы выписывать газету...

— А Богъ съ нимъ, съ русскимъ мужикомъ!

Разговоръ принималъ уже нежелательный оборотъ. Я всталъ, взявъ со стола „*Presse Médicale*“, потянулся, зѣвнулъ и, усаживаясь опять съ ногами на диванъ, добавилъ:

— Онъ, зато, не далекъ отъ того, чтобы еврею ребра перебить.

Сара вспыхнула, быстро повернулась ко мнѣ, раскрыла ротъ и, видимо, хотѣла возражать. Но я разгладилъ свою „*Presse*“ и сталъ вслухъ читать о новомъ способѣ лѣченія раковыхъ опухолей...

IV.

Съ этого дня между мной и Сарой появилось что-то новое: между нами легла какая-то натянутость, какая-то фальшь. Мы говорили о больныхъ, о засѣданіяхъ въ палатѣ депутатовъ, о новой пьесѣ въ „*Comédie Française*“, и разговоры эти, сами по себѣ вовсе не лишены интереса, тянулись, однако, вяло, безъ оживленія и носили явный отпечатокъ дѣланности и скуки. Иногда они обрывались на срединѣ и замѣнялись продолжительнымъ, неловкимъ молчаніемъ. Я видѣлъ, что Сара уходитъ въ себя, замыкается и съ каждымъ днемъ становится все грустнѣе, унылѣе. Глядя на нее, пріинокъ и нашъ Яша, и даже дѣвочка Марта, служившая у насъ чѣмъ-то въ родѣ горничной и имѣвшая безконечный репертуаръ какихъ-то особенно наивныхъ пѣсенокъ, тоже присмирѣла, не пѣла и даже, казалось мнѣ, посуду била не такъ звонко, какъ прежде... Весь домъ пропитывался давящею скукой и смутнымъ безпокойствомъ... Больныхъ, какъ на зло, было теперь немного, и мнѣ часто приходилось сидѣть дома. Я брался за книгу, затѣялъ статью для медицинскаго журнала, но занятія не шли мнѣ въ голову... Бывало, я сижу въ кабинетѣ и работаю, читаю или принимаю больныхъ, затѣмъ хожу изъ угла въ уголъ, напѣваю, насвистываю

или вожусь съ Яшей, а сверху, изъ спальни, гдѣ сидитъ въ это время Сара, не слышно ни пороха, ни звука.

„Хандрить, — думалъ я, — ностъ... Да чего ей? Это, наконецъ, ни съ чѣмъ не сообразно!..“

И я съ безпокойствомъ думалъ о напряженномъ и точно все чего-то выжидающемъ лицѣ Сары, объ ея молчаливости, объ ея уныломъ, тихомъ голосѣ, — и такъ мнѣ отъ всего этого дѣлалось тяжело и досадно, что я вскакивалъ съ мѣста, звалъ Воймена, моего кучера, приказывалъ ему запрягать лошадь и уѣзжалъ изъ дому — хотъ уѣзжать и не было надобности.

Чтобы рѣже оставаться дома и чѣмъ-нибудь развлечь себя, я сталъ приучаться къ охотѣ. Отроду я не держалъ въ рукахъ никакого оружія, а теперь пріобрѣлъ ружье, и въ компаніи школьнаго учителя или нотаріуса отправлялся шататься по мокрымъ полямъ или въ лѣсу. Охота меня не занимала, общество учителя, тупого и злобнаго націоналиста, который не переставалъ ругательски ругать республику и проклинать министерство, не восхищало, — но все-таки, чуть ли не каждый день, я бралъ свое ружье и „спасался“... Съ охоты я возвращался усталый, изможденный, раздраженный — и безъ всякой добычи. Зайцы и горныя козы пробѣгали у меня подъ носомъ, я давалъ промахъ за промахомъ, часто не стрѣлялъ и совсѣмъ, а компаньоны мои за это на меня сердились и обижались. Каждый разъ, когда я вмѣсто зайца, попадалъ въ землю, они съ жаромъ принимались меня муштровать, объяснять, какъ надо цѣлиться и когда выпускать зарядъ; я говорилъ: „да, да, теперь понимаю, теперь ужъ попаду“ — и опять попадалъ въ кусты... Кончилось дѣло тѣмъ, что охота мнѣ надоѣла смертельно, и я свое ружье подарилъ учителю.

— Ah. si seulement je pouvais ficher une paire de balles dans la gueule de ce sacré Millerand! — бормоталъ

онъ, принимая мой подарокъ и прицѣливаясь въ стоявшій въ саду орѣховый кустъ...

— Что жъ это, разочаровался въ охотѣ? — спросила меня въ тотъ же вечеръ Сара.

— Идіотское занятіе,—угрюмо проворчалъ я. Мнѣ хотѣлось еще добавить, что никогда бы я не вздумалъ охотиться, если бы не установилась у насъ дома такая милая жизнь, но удержался...

— Ты этого не читалъ?—спросила, нѣсколько погодя, Сара, протягивая ко мнѣ раскрытую книгу русскаго журнала.

Я бросилъ взглядъ на заглавіе статьи: „Изъ голодныхъ мѣстъ“.

— Кажется... видѣлъ... просматривалъ...

— Просматривалъ?—Выраженіе растерянности легло на лицо Сары.—Ну и что жъ ты объ этомъ скажешь?

— Ничего... интересно.

— Интересно... больше ничего?..

Я понялъ, что сейчасъ начинается непріятный разговоръ, „канитель“, и желая избѣгнуть его, я равнодушнымъ, спокойнымъ и сухимъ голосомъ спросилъ:

— Ты не знаешь, гдѣ креозотовыя капсюли?

— Постой, успѣешь,—она положила пальцы на мою протянувшуюся къ аптечному шкафу руку.—Скажи мнѣ, Іосифъ, по правдѣ скажи: тебѣ никогда не приходило въ голову, что мы здѣсь не на мѣстѣ?

„Вотъ, начинается,—подумалъ я:—разговоры начинаются... Что жъ, будемъ разговаривать“...

И нахмурившись, я спросилъ:

— Какъ это „не на мѣстѣ“?

— Такъ, не на мѣстѣ... Мы здѣсь не на мѣстѣ, никому ненужны. Ты объ этомъ никогда не думалъ?

— Нѣтъ,—сказалъ я отчетливо:—я объ этомъ никогда не думалъ. И не знаю, почему объ этомъ думаешь ты... Поди спроси моихъ больныхъ, они тебѣ скажутъ, нуженъ я имъ или нѣтъ.

— Твои больные мнѣ скажутъ, что имъ нуженъ докторъ. Но они безъ доктора не будутъ. Брось ты ихъ сегодня,—и черезъ мѣсяцъ у нихъ будетъ другой врачъ.

— Конечно будетъ! Я въ этомъ не сомнѣваюсь. Что я—незамѣнимый, что ли?.. Президентъ умретъ, и то въ двадцать четыре часа другого выберутъ...

— Когда кончалась эпидемія тифа, я сказала тебѣ, что мнѣ кажется страннымъ, зачѣмъ мы здѣсь,—тихо и печально продолжала Сара:—потомъ я объ этомъ много думала, и вижу теперь, что это не странно, а прямо нехорошо.

Я стоялъ посреди кабинета, обѣими руками держался за лацканы пиджака и хмуро поглядывалъ на Сару.

— Что же тутъ нехорошаго?

— То нехорошо, что мы сидимъ здѣсь, гдѣ легко обойдутся безъ насъ, и не идемъ туда, гдѣ мы могли бы быть нужны.

— Это куда же, напримѣръ?—сильнѣе хмурясь, спросилъ я. И, не давъ Сарѣ отвѣтить, я произнесъ громко, рѣшительно:—Не создавай ты себѣ, пожалуйста, иллюзій, не живи мечтаніями! Я понимаю, о чемъ ты говоришь... Никому ты тамъ не нужна, и никто тебя туда не просить.

— Развѣ надо, чтобы просили?

— Не только не просятъ—бьютъ, презираютъ, гонять вонъ! Чего лѣзть?.. Да и не волнуйся,—добавилъ я, понижая голосъ и язвительно усмѣхаясь:—Россія и безъ тебя отлично просуществоуетъ.

— Всѣ виды тифа, цынга, дизентерія не переводятся,—уныло и какъ бы про себя говорила Сара:—и не въ голодное время процентъ смертности огромный...

— Такъ что же изъ того? Ты можешь и во Франціи такіе углы найти... Не Аркадія... Поѣзжай къ савоярамъ, въ Овернь,—всего насмотришься.

Сара внимательно смотрѣла мнѣ въ лицо, а я, вло-

живъ въ карманы руки и широко отводя ими полы пиджака, нервно расхаживалъ по комнатѣ.

— Видишь ли, Іосифъ,—продолжала Сара:—я твои чувства понимаю... Я и сама ихъ отчасти испытывала... „Бьютъ, презираютъ, гонятъ“—все это такъ, конечно, и именно оттого я въ свое время одобряла твое рѣшеніе поселиться здѣсь... Но теперь я разобралась, отдала себѣ отчетъ, и вижу, что мы ошиблись... страшно ошиблись... и я говорю теперь, что если бы даже мы были здѣсь нужны, очень нужны, и если бы голодъ и тифъ свирѣпствовали здѣсь, а благополучно жилось въ русской деревнѣ, меня все-таки тянуло бы къ ней.

— Вотъ какъ!

— Да это же естественно.

— Даже естественно?

— Естественно, разъ люди мнѣ родные.

— Родные?—Я насмѣшливо вздернулъ плечами.— Родные!.. Ну, такъ я же вотъ что тебѣ скажу: очень, очень я радъ, что съ этими родными раздѣлался. Очень!

Сара, попрежнему не сводя съ меня глазъ, спокойно проговорила:

— Это неправда.

— Какъ неправда?

— Конечно, неправда.

— Ты что же, въ сердцахъ читаешь, что ли?

Сара привстала.

— Іосифъ!—какъ-то особенно мягко, задушевно сказала она:—зачѣмъ намъ этотъ тонъ? Зачѣмъ эти преппирательства? Будемъ искренни, откровенны... Меня здѣсь томить, давить, я всегда неспокойна... Мнѣ кажется, что-то подобное испытываетъ мамка, бросившая своего ребенка и выкармливающая чужого... Я чувствую себя виноватой. И тебѣ здѣсь тоже не хорошо. **Не** можетъ быть, чтобы ты былъ удовлетворенъ... Отчего **ты** не хочешь это признать?

— Извини меня, Сара,—сухо сказалъ я:—я долженъ

тебѣ признаться, что въ твоёмъ характерѣ меня неприятно поражаетъ одна страшная черта: у тебя какъ-то совсѣмъ отсутствуетъ сознаніе своего человѣческаго достоинства... Тебя тянетъ въ Россію! Но нельзя же по доброй волѣ подставлять лицо, когда въ него плюютъ... „Вернуться“! Но что насъ тамъ ждетъ! Ты забыла? А ты припомни. Только одно то припомни, что тамъ съ твоимъ сыномъ будетъ. Что изъ него тамъ выйдетъ? Здѣсь онъ будетъ учиться, гдѣ захочетъ, чему захочетъ, его способности будутъ развиваться правильно, безпрепятственно, и, можетъ быть, онъ сдѣлается чѣмъ-нибудь выдающимся. Почему я знаю? Мальчикъ очень способный... А выдающимся не будетъ, будетъ просто свободнымъ, полноправнымъ гражданиномъ свободной страны... А тамъ? Гдѣ ты его будешь учить? Куда тамъ Янкелю Йоселеву Израильсону сунуться? Тамъ тебѣ по пшеничной части придется его пустить! Факторомъ сдѣлать, старьевщикомъ!

Я стоялъ противъ Сары, скрестивъ на груди руки, и голосъ мой звучалъ рѣзко, убѣжденно. Я доказывалъ, что беспокоиться о русскихъ людяхъ намъ нѣтъ никакого основанія. Если мы кое-что можемъ сдѣлать, можемъ послужить ближнему, можемъ принести нѣкоторую пользу, то здравый смыслъ и справедливость требуютъ, чтобы служили мы именно Франціи. Здѣсь евреи полноправны. Здѣсь даже съ тѣми евреями, которые прѣзжаютъ изъ Россіи, обращаются, какъ съ людьми. Лично я никакого гнета, никакихъ стѣсненій здѣсь не встрѣчалъ, и за все это мы должны питать къ Франціи глубокую признательность... Лишнимъ я считать себя не могу. Я работаю добросовѣстно, сердечно,—это скажутъ всѣ—и я поэтому вправѣ быть спокойнымъ. О Россіи же, о возвращеніи туда, я не хочу и думать.

— Нельзя мучить себя какимъ-то выдуманымъ, сочиненнымъ горемъ!...—закончилъ я.

Сара слушала меня внимательно, подперевъ рукою

подбородокъ, и только, когда я упомянулъ о сочиненномъ горѣ, она тихо вздохнула и, покачивая головою, вполголоса повторила:

— Сочиненнымъ!..

— Да сочиненнымъ!—съ силой сказалъ я:—фиктивнымъ! Несуществующимъ!.. Нельзя этого! Надо умѣть себя сдерживать... Мало ли какихъ недочетовъ и изъясновъ въ жизни ни бываетъ. У кого жъ это она проходить совершенно гладко, безъ всякихъ зацѣпокъ?.. Ты знаешь, я совсѣмъ не хотѣлъ быть медикомъ, и до сихъ поръ жалѣю, что не поступилъ въ Ecole des Mines, и, однако же, ничего! Примирился. Молчу. Живу... и другимъ жизни не отравляю...

— Я отравляю тебѣ жизнь?

Я молча прошелся по комнатѣ, отъ дивана къ окну, и потомъ уже отвѣтилъ:

— Мнѣ очень неприятно говорить тебѣ что-нибудь обидное... но... что же... ты и сама можешь понять, какъ мнѣ весело смотрѣть на тебя... Вздыхаешь, тоскуешь, молчишь...

— „Молчишь“! — Сара горестно усмѣхнулась. — Я скажу тебѣ, отчего я молчу. Въ началѣ я молчала оттого, что все ждала, чтобы ты самъ заговорилъ. Я не могла допустить мысли, что ты почувствуешь себя на мѣстѣ... Подсказывать тебѣ, прививать тебѣ мою неудовлетворенность я не хотѣла. Мнѣ нужно было, чтобы ты самъ почувствовалъ эту неудовлетворенность. И скажу тебѣ правду: одно время мнѣ казалось, что ты какъ-то безпокоенъ, томишься, и я ужасно этому обрадовалась. Но... я не знаю... я, кажется, ошиблась... Или я не ошиблась, а ты неискрененъ... Не знаю...

— Я всегда искрененъ.

— Не знаю,—уныло повторила Сара.—А съ нѣкоторыхъ поръ я молчу потому, что ты уклоняешься отъ разговора.

— Отъ такого разговора уклоняюсь, конечно. Зачѣмъ

миѣ такой разговоръ? Чтобы грызться, говорить другъ другу рѣзкости? Не вижу въ этомъ никакой надобности... И скажу тебѣ откровенно: буду очень радъ, если мы къ этой темѣ больше возвращаться не станемъ.

— Можемъ и не возвращаться. Только о чемъ же миѣ говорить, если не о томъ, что меня гложетъ?

— „Гложетъ“!

Я взмахнулъ руками и звонко хлопнулъ себя по бедрамъ.

— Вотъ то-то же и бѣда! „Гложетъ“!.. Страшныя слова, трагическое лицо, глубокомысленное, таинственное молчаніе... Какой-то секретный надзоръ за мной установила, слѣдишь, „безпокоень“ я или, не дай Богъ, спокоень... А въ домѣ уныніе, тоска, мракъ—точно хоронять кого.

— Я себя хороню, Іосифъ! Я свою душу хороню.

Я взглянулъ на Сару... и такъ горестно отозвался ея надорванный, чуть слышный голосъ въ моей душѣ... Но я рѣшилъ быть твердымъ, твердымъ до конца, и, нахмурившись, наставительно произнесъ:

— Сдерживай себя! Нельзя изъ-за вздорныхъ сантиментовъ коверкать свою жизнь. Да и не свою только, а еще жизнь ребенка, который даже защищаться не можетъ... Нельзя!.. Э, да что! оставимъ это... Ты не знаешь, гдѣ креозотовыя капсулы?

V.

Въ смутномъ настроеніи провелъ я остатокъ этого дня. Чего я хотѣлъ? Тишины, душевнаго покоя? Но именно этого имѣть я не могъ... Ни въ чемъ я Сара не убѣдилъ, ничего я ей не доказалъ, и всѣ мои глубокомысленныя разсужденія — теперь я это понималъ отлично—были ей противны. Они сильнѣе разъединяли насъ и дальше отбрасывали другъ отъ друга.

Меня самого разсужденія мои не удовлетворяли.

Часть тому назадъ, когда, размахивая руками и морща лобъ, я выразительно, бойко докладывалъ Сарѣ, что *тамъ* изъ ея сына сдѣлають фактора, что тамъ намъ плюютъ въ лицо, мнѣ казалось, что я правъ, правъ кругомъ, что я стою на твердой, незыблемой почвѣ, откуда меня не сбить. Я даже говорилъ себѣ, что разъ у меня есть такіе сильные аргументы, то мнѣ давнымъ-давно слѣдовало завести этотъ разговоръ, слѣдовало все объяснить и освѣтить, и разогнать ханру Сары... Теперь аргументы мои уже не казались мнѣ такими сильными...

Я долго сидѣлъ неподвижно, потупившись, со скрещенными на груди руками и, мысленно продолжая разговоръ съ Сарой, придумывалъ все новые и новые аргументы... Но и эти новые аргументы не нравились мнѣ, и на душѣ у меня становилось все тревожнѣе и сумрачнѣе...

Я ходилъ по комнатѣ, хмурился, что-то мурлыкалъ; останавливался, прислушивался,—и принимался ходить опять. Я взялся вдругъ поправлять термोकотеръ, который былъ испорченъ и плохо дѣйствовалъ,—и въ нѣсколько минутъ исправилъ его такъ, что онъ и совсѣмъ пересталъ дѣйствовать...

Съ часъ протолкался я въ своемъ кабинетѣ, а потомъ, накинувъ на плечи непромокаемую пелерину, кликнулъ свою любимицу, остроухую Миретку, и вышелъ изъ дому.

Была вторая половина января, но погода стояла теплая, тихая. Мелкій дождикъ то переставалъ, то начиналъ сѣять опять. Прозрачные, серебристые пары тихо разстилались надъ землей, и сквозь ихъ легкую ткань бурные прямоугольники виноградниковъ рисовались особенно мягко, „ватно“, а всходы озимей казались бѣлесоватыми, мутными. На холмахъ, въ лѣсу, туманъ былъ гуще, темныя сосны точно курились, и вершины ихъ

исчезали въ низко нависшихъ облакахъ. Кое-гдѣ, вдоль дороги, тихо звякая колокольчикъ ми, паслись коровы. Вороны черябли едва замѣтными пятнышками на бѣдной зелени, и Миретка, вытягиваясь въ прямую линію, съ бѣшеною веселостію гонялась за ними. Испуганные, они отрывались отъ земли, кружили, непріятно каркая въ мутномъ воздухѣ, и потомъ опускались на дорогу опять, но уже дальше, за темными кустами ежевики.

Я шелъ, не торопясь, заложивъ руки во внутренніе карманы пелерины и мрачно поглядывая на намокшіе сапоги.

„Не на мѣстѣ,—думать я—тамъ мы нужнѣе... Тамъ мало врачей. А быть бы я теперь врачомъ, если бы оставался тамъ?“

И я сталъ вспоминать прошлое, сталъ думать о томъ, какъ меня уволили изъ гимназіи...

— До сихъ поръ васъ не беспокоили, — заявилъ мнѣ и пяти моимъ одноклассникамъ - евреямъ нашъ директоръ Егоръ Ивановичъ Коврижный, а по гимназическому Щука. — Не хотѣли вамъ мѣшать получить льготу по воинской повинности. Ну, а теперь шестиклассное свидѣтельство получаете и идите съ Богомъ...

Мы все шестеро и пошли съ Богомъ.

Нашъ нѣжный, кроткій мечтатель Коганъ отыскать себя въ какомъ-то жалкомъ городишкѣ мѣсто учителя Талмудъ-Торы, и тамъ, подавленный каждодневнымъ созерцаніемъ мучительнаго горя и сознаниемъ своего полного безсилія помочь, скоро впалъ въ помѣшательство,—тихое, но совершенно безнадежное... Майзельсъ принялъ лютеранство, былъ оставленъ въ гимназіи, окончилъ и университетъ... Никакихъ обрядовъ еврейской религіи онъ никогда не исполнялъ и почти не зналъ ихъ; но, съ тѣхъ поръ, какъ сдѣлался отступникомъ, сталъ каждый день по утрамъ и вечерамъ молиться по старому, дѣдовскому молитвеннику, а Юмъ-

Кипуръ, Судный день, проводилъ безвыходно въ своемъ кабинетѣ, и плакалъ и билъ кулаками въ грудь... Три остальныхъ товарища моихъ разбрелись по разнымъ дырамъ „черты осѣдлости“ и тамъ барахтаются, все больше и больше опошляясь и опускаясь, въ смрадномъ болотѣ ненавистнаго гешефта...

И я продолжалъ углубляться въ прошлое, продолжалъ думать о перенесенномъ „спеціально-еврейскомъ“ горѣ. Я вспоминалъ, какъ два раза держалъ экстерномъ на аттестатъ зрѣлости, какъ потомъ, получивъ аттестатъ, не попалъ въ процентную норму, какъ въ теченіе почти двухъ лѣтъ бѣгалъ по урокамъ, собирая крохи на отъѣздъ въ Парижъ, какъ мучительно голодалъ въ Парижѣ,—въ Парижѣ, гдѣ ни урока, ни переписки добыть нельзя, и гдѣ жизнь такъ непомерно дорога...

„Сколько униженій, сколько ударовъ!—И теперь Сара поетъ мнѣ что-то такое про „родныхъ“, про Россію... И самъ я тоже кисну и тянусь туда... Глупо это, непроходимо глупо“...

И, энергичнѣе шагая, я говорилъ себѣ, что мы, евреи, и такъ достаточно несчастны,—однимъ тѣмъ, что мы—евреи. А если мы станемъ еще прививать себѣ какую-то тамъ нелѣпую сантиментальность, то намъ лучше всего взять да удавиться сразу.

Домой я вернулся поздно. Въ деревнѣ уже горѣли огни, и черезъ окна было видно, какъ крестьяне ужинаютъ.—Сару я засталъ въ кабинетѣ. Она что-то писала; Яша жался у ея ногъ и, хныча, жаловался на голодъ.

„Я правъ,—думалъ я, когда мы сидѣли за столомъ и ужинали.—Сара фантазируетъ, нервничаетъ и чудитъ. Можетъ ли жизнь идти правильно и разумно, если ея управляетъ нервная, болѣзненная женщина, которая“...

Я остановился, не находя соотвѣтствующаго опредѣленія.

„Которая prend les vessies pour des lanternes... Она соскучилась по своему Павлограду, по Шалинской улицѣ, по рѣчкѣ Волчьей, куда въ дѣтствѣ бѣгала купаться, и воображаетъ теперь, что ей нужна Россія... Она не знаетъ, что достаточно ей въ этомъ Павлоградѣ прожить недѣлю, чтобы онъ ей опротивѣлъ и сдѣлался ненавистнымъ... Да, она чудить! И, однако же, со всѣмъ этимъ вздоромъ, съ этими дикими причудами надо считаться и изъ-за этого беспокоиться“.

И мнѣ становилось грустно при мысли, что считаться надо будетъ и долго, и сильно...

Сейчасъ послѣ ужина мы разошлись.

Сара, по своей привычкѣ рано ложиться, поднялась въ спальню, а я ушелъ въ кабинетъ. У меня былъ трудный больной, я предполагалъ у него нарывъ въ почкахъ; на слѣдующій день долженъ былъ состояться консилиумъ съ докторомъ изъ города, и я хотѣлъ подготовиться, „посоветоваться съ maître'ами“. Я разложилъ на столѣ толстое traité и сталъ читать.

Кабинетъ мой казался мнѣ пустымъ, непривѣтливымъ. По чернымъ стекламъ окна, на которомъ не было ни занавѣсей, ни ставень, хлесталъ дождь и непріятно скреблась мертвая лоза винограда. Лампа горѣла съ тихимъ шипѣніемъ, сырые дрова въ каминѣ едва тлѣли; изъ недалекаго хлѣва доносился ежеминутный кашель простуженной овцы... На сердцѣ у меня было нехорошо, неловко,—и мнѣ все казалось, что въ спальнѣ мнѣ будетъ удобнѣе. Но и идти туда мнѣ какъ-то не хотѣлось... Просидѣвъ надъ книгой больше получаса и не прочитавъ и полустраницы, я забралъ свою лампу и тяжелый томъ и тихонько поплелся наверхъ...

— Сара!—вполголоса позвалъ я, войдя въ спальню.

Отвѣта не было.

Я стоялъ въ замѣшательствѣ, среди комнаты, уставившись глазами на кровать, на сѣрое одѣяло.

„Она не спитъ,—думалось мнѣ:—только дѣлаетъ видъ, что спитъ... Ну что жъ? Tant pis“...

Я устроился у маленькаго столика, у окна и принялся за чтеніе. Мало-по-малу я втянулся и просидѣлъ до часу. Потомъ закрылъ книгу, занесъ руки за голову и задумался... И вдругъ, стонъ, тихій, сдавленный, протяжный,—и какъ будто очень отдаленный, зазвучалъ у меня въ ушахъ. Точно въ лѣсу, въ ущельѣ, кого-то душили. Дрожь прошла у меня по спинѣ... Но черезъ мгновеніе я овладѣлъ собою. Я зналъ уже, въ чемъ дѣло: стонала Сара. Приподнявшись на кровати, она дикими, остановившимися, полными ужаса глазами смотрѣла на меня и протягивала впередъ руки. Абажуръ собиралъ весь свѣтъ лампы на мой столъ и книгу, а кровать, стоявшая на другомъ концѣ длинной комнаты, едва намѣчалась въ непрозрачномъ, тяжеломъ сумракѣ. И, окутанная этимъ сумракомъ, худая и тонкая, съ распущенными волосами, Сара походила на видѣніе.

— Онъ... онъ...—шептала она, глотая воздухъ:—онъ, опять онъ... онъ...

Я уже зналъ, что все это означаетъ.

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, когда Сара была еще въ низшихъ классахъ гимназіи, въ городкѣ, гдѣ она жила, произошелъ погромъ. Лудильная мастерская ея отца и примыкавшая къ ней квартирка въ нѣсколько минутъ были разбиты въ пухъ и прахъ. Вся семья успѣла спастись во-время, но Сара, таскавшая за собою четырехлѣтняго братишку, отстала. Отдѣлившійся отъ толпы громилъ, огромнаго роста босякъ вышибъ изъ ея рукъ мальчугана, а ее самое схватилъ подъ мышки и понесъ на погребницу... Тамъ, впотьмахъ, онъ наступилъ и упалъ, вмѣстѣ съ Сарой. Воспользовавшись этимъ, дѣвочка, съ переломанной ключицей и кровавленнымъ лицомъ, вскочила на ноги, взобралась

на крышу сарайчика и бросилась съ нея внизъ, на сосѣдній дворъ...

Этого босяка Сара часто — особенно послѣ какихъ-нибудь сильныхъ волненій и огорченій—видитъ во снѣ. И, когда онъ ей снится, она стонетъ мучительнымъ, тяжелымъ стономъ, а потомъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, ходитъ разбитая, растерянная, и лицо у нея дѣлается тупое, напряженное, — такое, какимъ оно бываетъ у эпилептиковъ послѣ сильнаго припадка.

На этотъ разъ такое состояніе продолжалось у нея больше обыкновеннаго, и мнѣ это обстоятельство пришлось какъ нельзя болѣе кстати.

— Вотъ, вотъ тебѣ привѣтъ изъ Россіи! — торжествующе говорилъ я.—Этотъ босякъ тоже родной тебѣ? Да? Ему ты тоже нужна?

Сара ничего не возражала. Она тупо смотрѣла въ сторону, и глаза ея были не темнокоричневые, какъ всегда, а какіе-то сѣрые.

— Нужно страдать какою-то спеціальною извращенностью чувствъ, какою-то моральною искалѣченностью, чтобы все-таки стремиться къ этимъ „роднымъ“. Да, именно моральной искалѣченностью, моральнымъ уродствомъ!

Взмахивая руками и стараясь придать своему голосу и лицу выраженіе язвительной ироніи, я продолжалъ:

— Nostalgie! Тоска по родинѣ! Какая у насъ родина? Какая у насъ можетъ быть по ней тоска?

Я зналъ очень хорошо, что теперь Сара возражать не способна, я зналъ, что бью лежачаго, отъ этого меня коробило, но я говорилъ себѣ, что надо ковать желѣзо, пока оно горячо, и продолжалъ язвить.

VI.

Я продолжалъ язвить и въ слѣдующіе дни. Но, по мѣрѣ того, какъ Сара освобождалась отъ вліянія кошмара, нападки мои становились все слабѣе и рѣже. Они прекратились совсѣмъ, какъ только я замѣтилъ, что Сара достаточно владѣетъ собою, чтобы дать мнѣ надлежащій отпоръ.

Къ этому времени мнѣ стало выясняться, что моя язвительность и иронія производятъ на Сару не лучшее впечатлѣніе, чѣмъ и мое глубокомысліе... И я притихъ и сжался и о Россіи не заикался уже ни единымъ словомъ. Сара о ней не говорила тоже,—и опять потянулась у насъ прежняя тягостная и скучная жизнь. Въ отношеніяхъ моихъ съ Сарой, какъ я этого и ожидалъ, появилось еще больше натянутости и фальши. Я какъ-то глупо робѣлъ и, насколько могъ, избѣгалъ ея общества. Такъ какъ Сара ложилась рано, то и поднималась она съ разсвѣтомъ. Я же, напротивъ того, засиживался до полуночи, и вставалъ не раньше восьми. За десять лѣтъ нашего супружества я не сумѣлъ привыкнуть къ „куриному“ распредѣленію времени Сары и не переставалъ изъ-за него воевать съ нею.

— Уже спишь!—недовольнымъ тономъ говорилъ я, когда, въ началѣ восьмого, глаза Сары начинали смыкаться... Она виновато улыбалась, дѣлала усилія, чтобы превозмочь сонъ и оживиться, но черезъ полчаса глаза ея слипались окончательно, и лицо принимало такой комически-несчастный видъ, что я, смѣясь, самъ уже отсылалъ ее спать...

Теперь я мысленно благодарилъ Сару за такое распредѣленіе и спрашивалъ себя, что бы это было, если бы безконечные зимніе вечера надо было проводить вмѣстѣ?! Даже тотъ получасъ, который мы за обѣдомъ

должны были просидѣть другъ съ другомъ, на противоположныхъ концахъ стола, казался мнѣ томительно длиннымъ, и, боясь молчанія, я заблаговременно приготавлилъ темы для разговора: что-нибудь о больныхъ, о выборахъ новаго мэра, о томъ, что жена мясника Мартэнъ бьетъ своего мужа и по ночамъ ходитъ на свиданія къ кюрэ. Если Сара интересовалась моими рассказами и задавала по ихъ поводу какіе-нибудь вопросы, мнѣ дѣлалось весело и хорошо, я оживлялся и впадалъ въ болтливость, какъ если бы хватилъ лишнюю рюмку вина. А когда она слушала разсѣянно и невнимательно, мною овладѣвала и оторопь, и досада, я въ замѣшательствѣ заминалъ разговоръ и, не зная, что дѣлать, начиналъ придирается къ Яшѣ, — къ тому, что онъ кладетъ на столъ локти, что онъ забрызгалъ супомъ салфетку...

Спустя нѣкоторое время, я измѣнилъ свое поведение. Я сталъ прикидываться, будто считаю, что ничего особеннаго у насъ не происходитъ. Случилась заминка, непріятность, мы о ней поговорили, и дѣлу конецъ. Теперь все идетъ, какъ и раньше шло, какъ и должно идти. Я доволенъ и ничего другого мнѣ не надо...

Но эта игра была слишкомъ ужъ неумна, она утомляла меня, и я только сильнѣе запутывался.

Временами во мнѣ закипала глухая вражда, въ душѣ загоралось желаніе объясняться, ссориться, упрекать, но все это проходило довольно скоро; я увядалъ, терялся и пристыженный глубоко грустнымъ лицомъ Сары начиналъ вдругъ чрезмѣрно суетиться, усиленно о чемъ-нибудь хлопотать—безъ всякой надобности, безъ видимыхъ причинъ...

Хуже всего было для меня то, что я нигдѣ не видѣлъ для себя опоры—ни во вѣшнихъ обстоятельствахъ, ни въ себѣ самомъ. Если бы я могъ сказать себѣ и теперь—какъ могъ это дѣлать раньше: „правъ

я, а Сара чудить“, я бы все-таки такъ сильно не подавался и не падалъ духомъ. Но сознанія своей правоты у меня не было. Твердую, вполне надежную почву я чувствовалъ подъ собою только одинъ разъ, въ теченіе только одного часа,—когда заявлялъ Сарѣ, что Яшу придется пустить по „пшеничной части“. Но, однажды подавшись, почва эта расшатывалась все больше и больше, и теперь, съ возрастающимъ смущеніемъ, я допытывалъ себя—точно ли я потому сижу здѣсь, что не признаю „родныхъ“, да и правда ли, что я ихъ не признаю?..

Дать на эти вопросы отвѣтъ прямой, ясный я не хотѣлъ или не умѣлъ, или боялся. Но когда мнѣ припоминалось, что такъ еще недавно я говорилъ о какой-то извращенности чувствъ и пронизировалъ надъ *nostalgie*,—я брезгливо хмурился и мысль свою старался перевести на что-нибудь другое.

VII.

Оттепель въ этомъ году наступила рано, и въ началѣ марта стояла уже настоящая весна. Теплый вѣтеръ весело шумѣлъ въ оживавшихъ поляхъ, врвался черезъ открытыя окна въ домъ, хозяйничалъ тамъ и бушевалъ, хлопалъ дверьми, сбрасывалъ на полъ бумаги. По небу стремительно носились сверкавшія, какъ расплавленное серебро, облачка и то сгущались въ небольшую, но темную, почти черную тучу и разражались быстрымъ и теплымъ дождемъ, то убѣгали совсѣмъ, и тогда солнце свѣтило такъ ласково, дружелюбно... Начинались работы на виноградникахъ и на огородахъ, и я тоже занялся ими: подрѣзалъ лозы, цѣплявшіяся по стѣнамъ моего дома, копалъ землю, сажалъ лукъ и сѣялъ ранній горохъ. Крестьяне торопились засѣвать овесъ. По ихъ мнѣнію, овесъ, посѣ-

янный позже марта, плохъ качествомъ, и лошади его не ѣдятъ: „l'avoine d'Avril est pour le sabril“... Когда я впервые услыхалъ эту поговорку, мнѣ стало какъ-то особенно грустно: я вспомнилъ о русскомъ мужикѣ,— о томъ, что иной разъ не только его козленокъ, но и самъ онъ радъ былъ бы поѣсть мартовскаго овса...

Консультаціи я въ этотъ день давалъ коротенькія, небрежныя, и въ обращеніи моемъ съ больными было что-то сухое, холодное, почти враждебное...

Вообще, въ эту пору я особенной привѣтливости не показывалъ. Я работалъ безъ увлеченія, почти механически, и мнѣ даже странно было подумать, что нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я терялъ аппетитъ и сонъ отъ каждаго даже не очень значительнаго осложненія у больного, и наоборотъ, чувствовалъ себя счастливымъ и приходилъ въ умиленіе, когда какой-нибудь трудный больной начинать поправляться.

Мнѣ вспоминался одинъ вечеръ: я возвращаюсь съ объѣзда домой и всю дорогу думаю о томъ, что маленькой Марточкѣ Лебрэнъ лучше, что неврастеничку Жапмеръ больше не мучать дикія видѣнія, что туберкулезнаго Гарнье подкожныя впрыскиванія арсикодила подкрѣпили до неузнаваемости—и такъ это все меня радуетъ, такимъ яснымъ это переполняетъ меня счастьемъ! Потомъ, при въѣздѣ въ деревню, я издали замѣчаю кузнеца Тіона, прожигающаго въ большой деревянной рамѣ—будущей боронѣ—дыры для зубьевъ,—и новая волна счастья приливаетъ къ размягченному сердцу. Этотъ Тіонъ умиралъ. Кюрэ его уже „администрировалъ“, могильщику Жако, въ виду предстоящаго ему заработка, въ кабаѣ стараго Віара уже открыли кредитъ, но я больного отстоялъ и спасъ. И вотъ, теперь онъ стоитъ передо мной, крѣпкій и сильный, и съ красивою ловкостью размахиваетъ огромными пудовыми щипцами.

— Ça marche-t-il?—кричу я ему на ходу.

— Mais ça marche à merveille, je vous remercie... Видите морковку рву!

И, радостно скаля зубы, Тіонъ показываетъ мнѣ свою морковку—до-красна накаленный желѣзный стержень,—и потомъ съ силою нажимаетъ имъ на рейку бороны.

Я останавливаюсь и долго, съ любовью и благодарностью, смотрю на закоптѣлое лицо кузнеца...

Когда я теперь все это припоминалъ, я испытывалъ не радость, а уныніе, почти досаду, и о Тіонѣ думалъ съ какою-то глухою, возмущавшею меня, но неодолимою непріязнью...

Я видѣлъ теперь, что Сара была права, когда говорила о чувствахъ мамки.—„Цынгъ... всѣ виды тифа... треть населенія уносятъ“.—Эти слова ея часто звучали въ моей душѣ. И, можетъ быть, именно оттого, что теперь мы о Россіи не говорили, они беспокоили меня особенно сильно. Если бы начался разговоръ, я опять сталъ бы возражать, сталъ бы спорить, можетъ быть, и раскипятился бы, и разозлился—и въ самомъ этомъ кипѣніи, шумѣ и крикѣ нашелъ бы для себя облегченіе. Теперь же кричать не приходилось... И опять вставали во мнѣ параллели и сравненія, и я ихъ больше не отгонялъ, и вмѣстѣ съ думами о цынгѣ и непереводащемся тифѣ они тихо и вѣрно дѣлали свое дѣло...

Русскіе журналы я теперь не „просматривалъ“, а читалъ, читалъ внимательно, вдумчиво и, не рѣдко, съ чувствомъ боли и щемящей тоски...

„Пеллагра распространяется у насъ съ поразительною быстротой. Шесть недѣль тому назадъ были отмѣчены ея первыя жертвы, а теперь въ уѣздѣ насчитываютъ уже сотни пеллагрозныхъ. Лѣченіе, состоящее въ замѣнѣ кукурузной муки ржаной, даетъ очень хорошіе результаты. Больнымъ, представляющимъ свидѣтельство о бѣдности, выдается ржаная мука, пудъ на мѣсяцъ. До сихъ поръ на этотъ предметъ израсходовано

437 руб. 52 коп. Рѣшено было выписать брошюру доктора Лубянского, трактующую о пеллагрѣ и написанную очень популярно, въ количествѣ пятисотъ экземпляровъ и раздавать ее грамотной части населенія бесплатно“.

Я прочитываю эту корреспонденцію разъ, прочитываю ее два раза...

Я сижу молчаливый, хмурый, — и когда потомъ приходитъ шорникъ Акенъ попросить на десять су карболки, я почти не отвѣчаю на его поклонъ, смотрю на него исподлобья, — какъ если бы онъ былъ мой врагъ, — и думаю: „у тебя вотъ пеллагры не будетъ“...

Я сержусь на себя за эти мысли, сержусь и за свое дурное настроеніе, а всего больше — за тайное чувство виноватости, которое не перестаетъ меня томить — и, чтобы освободиться отъ него, я опять начинаю разжигать въ себѣ злость, начинаю думать о погромахъ, „выдвореніяхъ“ и процентныхъ нормахъ, — но дѣйствуетъ это какъ-то слабо, и на сердцѣ у меня попрежнему и сумрачно, и беспокойно...

VIII.

„А всѣхъ этихъ милыхъ настроеній, вѣроятно, не было бы и въ поминѣ, — подумалъ я какъ-то разъ, — если бы я находился въ положеніи, напримѣръ, Стаевича, и мнѣ вернуться въ Россію было бы невозможно!“...

„Да, конечно!.. Нѣтъ пути!.. Замурованъ входъ, — или въ Якутскую область ступай!.. Сидѣли бы тогда смирно, и не мучились“...

Я часто возвращался къ этой мысли... и минутами искренно сожалѣлъ, что за мной нѣтъ какихъ-нибудь „исторій“, — хотя бы просто отъ солдатчины. убѣждалъ, что ли — и что никакихъ специальныхъ затрудненій при возвращеніи въ Россію я не встрѣчу.

Въ одну изъ такихъ минутъ у меня мелькнуло соображеніе, что вѣдь можно же создать себѣ „затрудненія“... Это вовсе не такъ трудно...

Замуровывать ходъ въ Россію — это ужъ слишкомъ радикально, — можно придумать что-нибудь другое. Можно, напримѣръ, прикрѣпить себя здѣсь, на мѣстѣ, можно опутать себя разными нитями такъ, чтобы отъѣздъ отсюда сдѣлался затруднительнымъ, почти невозможнымъ.

„Мы тутъ ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ не связаны, — думалось мнѣ. — Какъ птицы на вѣткѣ, — снялись и улетѣли. Мебелишки, обстановки, и то почти нѣтъ, и въ двадцать четыре часа могли бы собраться въ дорогу. Эта легкость отъѣзда, во всякомъ случаѣ, не нужна... Все равно, вотъ какъ если дома заряженный револьверъ лежитъ: въ тяжелую минуту взять и бацнулъ себѣ въ лобъ. А пѣтъ оружія дома — тяжелая минута прошла, и потомъ еще до ста лѣтъ и жить, и Бога славить будешь“...

И сталъ у меня назрѣвать нѣкоторый планъ... Сначала онъ казался мнѣ смѣшнымъ, нелѣпымъ, и я занимался имъ больше такъ, для забавы, чтобы отвлечься отъ мрачныхъ настроеній. Но потомъ, мало-по-малу, я сталъ съ нимъ свыкаться и сталъ вѣрить, что, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ онъ выручить.

„Дѣло вѣдь въ томъ, — принимался я объяснять себѣ: — что логики во всемъ этомъ моемъ безпокойствѣ, *après tout*, все-таки нѣтъ... Я мягокъ, слабъ, я — баба, — и заражаюсь отъ Сары. Я боюсь ссоръ, боюсь шума, а войны безмолвныя меня изводятъ въ конецъ. Не могу ихъ выносить! Я готовъ на всякія уступки, но вѣдь это дѣлу только вредить. И если бы вмѣсто того, чтобы поддаваться Сарѣ, я сумѣлъ подчинить ее себѣ, то миръ у насъ наступилъ бы скорѣе... Да, это вѣрно“...

И я сталъ приступать къ осуществленію своего плана.

Надо было продѣлать хитрую штуку. Надо было забѣжать самому себѣ за спину, связать собственные локти и накрѣпко приковать себя къ полу.

— Пятнадцатаго апрѣля истекаетъ нашъ квартирный срокъ,—обратился я однажды къ Сарѣ.—Я думаю, что если теперь снять квартиру лѣтъ на пять и заключить письменное условіе, то мосье Буротъ согласится сдѣлать значительный ремонтъ.

„Сейчасъ ты поднимешь бурю, — думалъ я при этомъ:—ты начнешь кипятиться, волноваться... Ну, ничего! Потомъ утихнешь“...

Къ удивленію моему, Сара не подняла никакой бури. Она только зорко на меня поглядѣла, покраснѣла слегка,—и отвернулась.

— Дикое у нихъ обыкновеніе строить двухъэтажные чердаки,—продолжалъ я.—Вотъ этотъ чердакъ надо будетъ передѣлать въ комнаты... Намъ нужны еще двѣ комнаты, для тебя и для Яши.

Сара молчала.

— Яша растетъ, ему отдѣльная комната необходима. Потомъ необходимо облицевать цистерну цементомъ.

Сара продолжала молчать.

— Садъ хорошо бы обнести рѣшеткою,—настаивалъ я;—какъ ты думаешь?

— Да.

— Я переговорю съ Буротомъ.

— Переговори.

— Въ воскресенье мнѣ надо быть въ Римокурѣ, и тамъ я поговорю съ мосье Буротомъ.

Я постоялъ нѣкоторое время, ожидая чего-то. Но ничего не случилось.

— Да, я съ нимъ поговорю,—повторилъ я и вышелъ изъ комнаты.

Въ сущности, все улаживается недурно. Бури нѣтъ,—и отлично. Дикому „да“ Сары и „переговори“, ея молчанію надо противопоставить—твердость духа и непре-

клонность. Непреклонность, вообще говоря, вещь необходимая,—въ особенности для тѣхъ, кого судьба не балуетъ и кому все приходится брать съ бою. Сколько разъ уже страдалъ я отъ отсутствія непреклонности. Я могу спроектировать какое-нибудь хорошее дѣло, могу отлично его обдумать во всѣхъ деталяхъ и начать приводить въ исполненіе, но потомъ, вдругъ стануть развѣдывать меня сомнѣнія, пойдутъ разныя колебанія и страхи, и я останавлиюсь на полпути. Черта пагубная! И именно ей я обязанъ, между прочимъ, и тѣмъ, что я не инженеръ, а врачъ. Да!.. Но надо же, однако, когда-нибудь научиться быть мужчиной!.. И въ концѣ-концовъ Сара и сама нуждается въ твердомъ и рѣшительномъ руководителѣ. Киснетъ она, кисну я, и у обоихъ не жизнь, а сплошная тревога. Надо быть рѣшительнымъ, непреклоннымъ. Вся штука въ этомъ. Сумѣй я это сдѣлать, и Сара сама же потомъ будетъ рада.

Разсужденія эти приводили мнѣ на память Шмиль-Волфа, моего ребе, который, истязая учениковъ, тоже проявлялъ непреклонность и тоже говорилъ, что въ послѣдствіи они сами же будутъ довольны,—но отъ приведенія своего плана въ исполненіе я все-таки не отказывался.

И, еще не дождавшись воскресенья, когда я долженъ былъ увидѣться съ мосье Буротомъ, моимъ домовладѣльцемъ, я взялъ и купилъ продававшійся по случаю щегольской и почти совершенно новый кабріолетъ.

„Нужно идти прямо; нужно идти рѣшительно!“—подхлестывалъ я себя.

А Сарѣ я объяснилъ, что незачѣмъ лѣтомъ таскать тяжелый фаэтонъ. Кабріолетъ въ четыре раза легче и Бишету не будетъ утомлять. Править я буду самъ, а Войменъ пусть занимается огородомъ. Если фаэтонъ побережъ, онъ мнѣ двадцать лѣтъ прослужить.

Сара не спорила.

Къ самому факту пріобрѣтенія кабриолета и къ разсужденіямъ по поводу него она отнеслась съ такою же безучастностію, съ какою относилась и къ тому, что я съ метромъ въ рукахъ лазилъ теперь по чердакамъ и сараямъ и, измѣряя ихъ, озабоченно планировалъ, что вотъ здѣсь надо будетъ пробить дверь, тамъ поставить простѣнокъ, а лѣстницу перенести туда...

„Да полно, развѣ это будетъ?—мелькало иногда у меня въ головѣ:—развѣ не вздоръ это, не ребячество?“...

И мнѣ дѣлалось неловко, досадно, и въ то же время немножко смѣшно. Мнѣ начинало казаться, что я разыгрываю какой-то плохонькій водевиль—и привимаю его за нѣчто серьезное, за настоящую жизнь... Мысль эту я, однако же, старался всячески отгонять...

Я хмурился, принималъ холодный, важный видъ и съ суровою дѣловитостію начиналъ обсуждать съ Войменомъ, во сколько должна обойтись постройка новой конюшни, и не будетъ ли выгодно дать Бишетъ faire un roulain.

— Вамъ бы купить этотъ домикъ,—пріохочивалъ меня Войменъ:—все бы по своему вкусу и перестроили.

— Я посмотрю,—отвѣчалъ я:—можетъ быть, и куплю.

Въ воскресенье я поѣхалъ къ Буроту, а въ четвергъ, рано утромъ, Буроть, съ двумя каменщиками, пріѣхалъ ко мнѣ. Всѣ четверо мы долго обсуждали, вычисляли, измѣряли, лазили на крышу, спускались въ цистерну. Я весь выпачкался въ илѣ и паутинѣ, и, когда былъ въ погребѣ, остуился и чуть не свалился въ выбоину.

Мосье Буроть, отставной военный, маленькій, чистенькій, съ розовымъ личикомъ и съ сѣдою раздвоенною бородой старичокъ, любезный и сладкій, какъ могутъ быть сладки французы, когда они этого хотятъ,—въ вопросахъ дѣловыхъ оказался, однако, довольно прижимистымъ. Ремонтъ онъ соглашался сдѣлать, но

потребовалъ условіе на шесть лѣтъ и квартирную плату повысилъ на цѣлыхъ триста франковъ въ годъ. Это было много, и я долго спорилъ, и не соглашался, но въ концѣ концовъ долженъ былъ уступить.

Когда все было улажено, у насъ вдругъ возникъ новый торгъ—изъ-за рѣшетки вокругъ сада. Мосье Буротъ говорилъ, что рѣшетка обойдется слишкомъ дорого, и соглашался только на проволочную сѣтку. Я же рѣшетку требовалъ съ такимъ азартомъ, какъ будто безъ нея вся моя жизнь будетъ испорчена навсегда. И, добиваясь ея, я, въ сущности, хотѣлъ, чтобы Буротъ не сдался. Этотъ шумный торгъ заглушалъ чувство неловкости и стыда, тѣсшившее мою грудь, и тдалялъ минуту, когда Буротъ уйдетъ и мнѣ нужно будетъ остаться съ Сарой съ глазу на глазъ...

— Вы заставите меня отказаться отъ вашей квартиры совсѣмъ,—угрожалъ я:—я найму домъ нотаріуса.

— Какъ угодно.

И, обратившись къ Сарѣ,—она въ эту минуту вошла въ кабинетъ за тетрадками Яши,—Буротъ склонилъ на бокъ свою розовую лысину и сказалъ:—*Madame, vous allez avoir un petit boudoir comme Madame Loubet n'en a pas dans son Elysée.*

Сара поблагодарила.

— *Oui, je m'en charge,*—подтвердилъ старичокъ и вздохнулъ.

Цѣлый часъ еще бился я съ упорнымъ любезникомъ и рѣшетки все-таки не получилъ. Приходилось сдаваться.

Мосье Буротъ выпилъ двѣ рюмки малаги, закусилъ бисквитомъ и ушелъ, вмѣстѣ со своими каменщиками. И пока онъ спускался съ крыльца и пересѣкалъ улицу, я стоялъ посреди комнаты, слѣдилъ глазами за развѣвившимися рукавами его крылатки и растерянно спрашивалъ себя:

„Такъ что же это такое?.. Такъ какъ же?.. Дѣло, значить, сдѣлано? Слажено?“

Что-то твердое и жесткое стало подыматься у меня въ груди. Горько мнѣ сдѣлалось, горько и стыдно,—страшно стыдно... И если бы я не сдерживалъ себя, то, кажется, взялъ бы, подсѣлъ къ столу, подперъ голову руками и заплакалъ...

„Зачѣмъ все это такъ глупо выходить? Глупо, безобразно, пошло... Откуда это все? Для чего?“...

Я продолжалъ стоять неподвижно, и во всемъ тѣлѣ, во всѣхъ членахъ ощущалъ сильную, неодолимую усталость.

„Непреклонность, рѣшительность“...

Я горестно усмѣхнулся и обѣими руками сдѣлалъ такой жестъ, какъ если бы стряхивалъ съ нихъ что-то клейкое...

Потомъ я вышелъ въ конюшню, кликнулъ Воймена и приказалъ ему подать лошадь.

Надо было ѣхать въ Траппо, къ больнымъ, за пятнадцать километровъ. Но уѣзжать мнѣ не хотѣлось. Меня,—странное дѣло,—меня стало тянуть къ Сарѣ... Я Сары стыдился, я ее боялся, и отъ одной только мысли, что вотъ сейчасъ она можетъ войти, и взгляды наши встрѣтятся, мнѣ дѣлалось жутко,—и все-таки меня къ ней тянуло, тянуло неудержимо... Такъ бывало въ дѣтствѣ: мать меня побьетъ и прогонитъ, а я, весь въ слезахъ, сгорая отъ стыда и не смѣя поднять глазъ, приниженный, убитый, неотступно за ней плетусь, боюсь, дрожу, но отойти не могу, и все жмусь къ ней и жду—новой казни? прощенія? ласки?..

Я долго собирался въ дорогу. Я долго и медленно одѣвался,—а, одѣвшись, долго и медленно укладывалъ свою дорожную аптечку...

Изъ спальни доносился до меня голосъ Яши. Мальчикъ своими словами и, по обыкновенію, на половину по-французски, рассказывалъ басню „Квартетъ“. Я

сталъ прислушиваться къ его разсказу и къ голосу Сары, поправлявшей мальчика... И, не сознавая толкомъ, чего я хочу и зачѣмъ это дѣлаю, я сталъ подыматься въ спальню...

— Погода чудесная, — сказалъ я, останавливаясь на порогѣ и глядя себѣ подъ ноги.—Сарушка... Не поѣдешь ли со мной?

Сара посмотрѣла на меня, потомъ въ окно, на небо, потомъ опять на меня, минуту подумала и согласилась.

„Слава Богу!“—съ облегченіемъ подумалъ я.

И какъ минуту тому назадъ я не зналъ, зачѣмъ я сюда иду и что скажу Сарѣ, такъ теперь я не зналъ, чему я радуюсь, и только беззвучно повторялъ: „слава Богу, слава Богу“.

IX.

Въ Трампо меня звали къ одной бабѣ, которую накануне помялъ быкъ. Три ребра у нея оказались переломанными, кожа и мышцы истерзанными, а лѣвое легкое было продрано въ двухъ мѣстахъ. Пришлось накладывать на торсъ широкій поясъ изъ липкаго пластыря. Такъ какъ бокъ и спина у бабы были сильно изранены и отъ cadaго прикосновенія къ ней она кричала и громко кряхтѣла, то задача моя оказалась особенно трудной. Сара мнѣ помогала. Она нарѣзала изъ старой простыни бинты, ставила банки, массиовала коптуженныя мѣста. Работа расшевелила ее, голосъ ея сдѣлался звонче и въ глазахъ появился блескъ.

„Она могла бы быть счастливой, — тоскливо подумалъ я:—но я ей помѣха“.

Часа черезъ два перевязка была сдѣлана. Мы съ Сирой осмотрѣли еще двухъ больныхъ,—одного тубер-

кулезнаго, другого съ зобомъ, напились молока и поѣхали домой.

Былъ пятый часъ. Отъ пахавшихъ людей и отъ лошадей ложились длинныя тѣни. Поля направо тянулись далеко, плоскія, ровныя, ничѣмъ не стѣсненныя. По лѣвую сторону они опирались въ откосы, не очень высокіе, но длинныя, густо заросшіе соснами и дубомъ. Впереди, на горизонтѣ, въ концѣ дороги, прямой и ровной, какъ струна, среди темныхъ садовъ чуть замѣтно бѣлѣли лэрвильскіе дома, и между ними, высоко къ небу, узкой синеватой полоской подымалась колокольня. Я все смотрѣлъ впередъ, на эту колокольню, но видѣлъ не ее, а черно-багровый, истерзанный человѣческій бокъ; и мнѣ думалось при этомъ, что вотъ, какъ измятъ и изуродованъ этотъ бокъ, такъ изуродована и обезображена жизнь Сары...

„Жизнь Сары?—А моя?..“

Когда мы были уже по другую сторону Лэрвиля, Сара обернулась ко мнѣ лицомъ и спросила:

— Что же, Іосифъ, кончилъ ты съ Буротомъ?

Къ удивленію моему, этотъ вопросъ я встрѣтилъ безъ всякаго непріятнаго чувства.

— Кончилъ,—отвѣтилъ я.

И въ моемъ тонѣ не слышно было ни растерянности, ни раздраженія, ни желанія замять разговоръ. Я былъ спокоенъ, довѣрчиво и съ любопытствомъ ожидалъ, что скажетъ Сара, и это мнѣ самому казалось страннымъ.

— Такъ, значитъ, рѣшено, мы остаемся здѣсь?

— Это, Сара, не теперь рѣшалось... Allez, Bichette!—Я ударилъ лошадь вожжей. — Этотъ вопросъ мы обсуждали въ Парижѣ, прежде, чѣмъ сюда пріѣхали.

Сара потупилась.

— Вотъ что, Іосифъ!—начала она минуту спустя:— надо все-таки намъ объясниться. Ты этихъ разговоровъ не хочешь, ты ихъ прямо запретилъ, и я вотъ сколько

уже времени молчу — все ношу въ себѣ... Но вѣчно вѣдь это продолжаться не можетъ...

— Я „запретилъ разговоры“?—перебилъ я. — Какъ это я могу запретить?... Я ничего не запрещаю.

Сара окинула меня испытующимъ взглядомъ.

— Ну, хорошо, пусть... Я теперь повторю то, что уже говорила: я не понимаю, съ какой стати мы здѣсь... Я не могу себѣ это простить и не могу съ этимъ помириться. Не могу!

Сара вдругъ сильно заволновалась и на щекахъ ея, подъ висками, выступило два красныхъ пятна.

— Ты не понимаешь, съ какой стати мы здѣсь,— мягко сказалъ я:— а я не понимаю, съ какой стати мы должны ѣхать въ Россію... Allez, allez, Bichette, allez... Ты хочешь объясниться—отлично! Я тоже этого хочу. И я скажу тебѣ откровенно: я много думалъ о твоёмъ стремленіи въ Россію и понять его все-таки не могу. Между прочимъ, хотя бы вотъ почему: вѣдь ты знаешь, что могло бы случиться, если бы мы туда поѣхали? Знаешь, какую штуку можетъ съ нами сыграть судьба?

Я смотрѣлъ на вспотѣвшую спину лошади, и снисходительная ироническая улыбка играла у меня на лицѣ.

— Ну вотъ, представь ты себѣ такое положеніе: пріѣхали мы съ тобой, положимъ, въ голодные мѣста, въ деревню; пріѣхали и стали работать,—со всей горячностью, со всей любовью... И вотъ, въ одинъ прекрасный день, эти же самые мужички, для которыхъ мы работаемъ, возьмутъ и устроятъ велико-лѣпнѣйшій погромъ, и насъ же съ тобой изобьютъ.

— Ну такъ что жъ?—строго спросила Сара.—И изобьютъ... „Изобьютъ, потащутъ на погребницу“...—У тебя это какіе-то arguments suprêmes. Ты забываешь, что эти избивающіе—люди несчастные, темные, слѣпые. Они страдаютъ, они вымираютъ, они знаютъ, что злой

врагъ есть, по разобрать путемъ, кто онъ, гдѣ онъ, они впотьмахъ не могутъ, и со слѣпу набрасываются на еврея.

Въ голосѣ Сары звучали горячія, скорбныя ноты, и ноты эти шли мнѣ прямо въ сердце.

— „Со слѣпу“,—процѣдилъ я:—моимъ ребрамъ не все ли равно, слѣпой ихъ перебьетъ или зрячій... И потомъ я вотъ еще что скажу тебѣ: не одни слѣпцы на насъ обрушиваются. Намъ'и отъ культурныхъ слоевъ достается тоже. А симпатіи, или хотя бы просто состраданія къ намъ не выказываетъ никто.

— Это неправда! Состраданіе есть. А если оно выражается не такъ ярко, какъ хотѣлось бы, такъ что же? Время теперь такое. Оно не для насъ однихъ мрачно... Эту ошибку, или, если хочешь, эту несправедливость дѣлаютъ многіе изъ насъ: плачутся на горестное положеніе евреевъ, и при этомъ совершенно забываютъ объ общемъ ходѣ вещей, объ общемъ строѣ всей жизни... Стонутъ въ „чертѣ“! А ты изъ черты выгляни. Тамъ что дѣлается! Стонъ, плачь, предсмертный хрипъ... Для живущихъ тамъ тоже вѣдь существуетъ „черта“,— не географическая, а другая, можетъ быть, не лучшая, и для нихъ вѣдь даже тѣлесное наказаніе еще существуетъ... Такое время... Но только... Ахъ, Иосифъ...—вдругъ оборвала себя Сара и быстрымъ движеніемъ отстегнула воротъ пелерины.—Да вѣдь это все разговоры побочные, и мы совсѣмъ не то говоримъ, что нужно... Я подойду къ дѣлу прямо и скажу теперь все. Ты воображаешь—или, можетъ быть, только стараешься воображать—кто тебя разберетъ!—ты воображаешь, что ты и тутъ нуженъ, что ты и тутъ служишь ближнему. Но такъ служить, какъ ты, служить ему и лавочница Птижанъ: ей дадутъ двѣнадцать су, и она отпуститъ фунтъ сахару. Это не служба, это—торговля... Ты твердишь, что радъ, что „раздѣлался съ родными“. Я знаю, что это неправда, но мы это оставимъ, и я вотъ о чемъ

тебя спрошу: отчего же ты бросилъ своихъ кровныхъ? Евреевъ отчего ты оставилъ? Отчего ты къ нимъ не идешь?

Сара смотрѣла на меня въ упоръ, и въ сверкавшихъ глазахъ ея и въ дрожавшемъ голосѣ было выраженіе негодованія и брезгливаго гнѣва. Во всякое другое время это выраженіе испугало бы меня, оскорбило, возмутило. Теперь оно вызывало во мнѣ чувство, близкое къ радости. Это выраженіе было мнѣ союзникомъ. Оно помогало мнѣ, помогало побѣдить себя, помогало разбить и отбросить прочь ту крѣпкую, уже сильно надтреснутую, но все еще державшуюся кору, въ которую, какъ ядро въ скорлупу, заключена была моя душа...

Мнѣ казалось, что разрѣшеніе идетъ, что оно близко, и что скоро я освобожусь—совсѣмъ, окончательно—и отъ жалкаго нытья, и отъ нелѣпыхъ дрянныхъ поступковъ...

— Что жъ ты молчишь?—сильнѣе волнуясь, продолжала Сара.—Я спрашиваю тебя: отчего ты не идешь въ „черту“? Ты чуть ли не роль какого-то мстителя за евреевъ берешь на себя, а сидишь здѣсь и пальцемъ о палецъ для нихъ не ударишь. Въ Россіи еврей-земледѣльцы теперь голодаютъ, у нихъ цынга и голодный тифъ,—отчего же ты къ нимъ не идешь? отчего?.. А, ты все молчишь!—съ какимъ-то горькимъ торжествомъ вскрикнула Сара.—Ты молчишь! Ну, такъ я за тебя отвѣчу. Ты оттого къ нимъ не идешь и оттого сидишь здѣсь, что это тебѣ удобно! Тебѣ! Тебѣ надо поспокойнѣе устроить свою собственную особу. Да, только это! Ничего, кромѣ усиленныхъ заботъ о своихъ ребрахъ у тебя нѣтъ... Тебѣ здѣсь спокойно, тебѣ въ фізіономію не плюютъ, тебя на „погребницу“ не тащутъ, тебя спеціальныя правила и узаконенія не даютъ, твой сынъ будетъ свободнымъ гражданиномъ

свободной страпы... Тебѣ хорошо, ты удовлетворенъ...
А тамъ дома...

Голосъ Сары оборвался.

— Боже мой! Боже мой!—вырвалось у нея черезъ минуту.—Сижу здѣсь, въ сторонѣ, за тысячи верстъ отъ всего, что тамъ дѣлается, и сынъ мой ни борьбы той, ни тѣхъ страданій никогда не узнаетъ!

Сара поникла головой и отвернулась.

Мы проѣзжали мимо мельницы. Старое зданіе съ высокой крышей почти все закрыто было ивами и то-полями. Во дворѣ, на берегу узенькой, аршина въ два, рѣченки стоялъ огромный возъ, и люди, обсыпанные бѣлымъ, нагружали его тяжелыми кулями. Три тол-стыя лошади, запряженныя цугомъ, стояли дельтой и, звякая бубенчиками, щипали свѣтлую травку. Моя Bichette свернула было и направилась къ нимъ, но я натянулъ вожжи, прикрикнулъ, и лошадка покорно пошла, куда надо.

„И меня тоже нужно вести,—подумалъ я:—иначе Богъ знаетъ куда забрести могу“...

И вдругъ явилось у меня желаніе взять руки Сары и припасть къ нимъ губами. Но сдѣлать это я какъ-то не рѣшился. Я неловко завозился на короткомъ сидѣ-ніи кабриолета, потомъ нагнулся и сталъ заботливо оправлять покрывавшій мои ноги коврикъ.

Километра три мы проѣхали молча. Изъ-за лѣси-стаго выступа горы стала медленно выползать наша деревня.

— Такъ чего же, собственно, ты бы хотѣла?—тихо спросилъ я.

— Чего бы я хотѣла? Да ты это знаешь...—Голосъ Сары былъ строгій, звонкій, но въ то же время въ немъ слышалась и явная усталость. Убѣдить меня она, повидимому, уже не надѣялась и продолжать разго-воръ считала бесполезнымъ.

— У насъ въ Россіи есть дѣло, есть постъ на всю жизнь—и мы должны его занять.

— То-есть мы должны пойти служить мужику? — задумчиво проговорилъ я.

— Мужику, еврею—это все равно. У мужика и у еврея интересы общіе. Что бы тамъ ни говорили, а наша судьба тѣсно переплетена съ судьбой русскаго народа: когда несчастіе онъ — больнѣе дѣлается и намъ; если солнечный лучъ упадетъ на него — пригрѣетъ и насъ... Когда не будетъ въ Россіи голодовокъ, не будетъ переселенцевъ, когда вдвое уменьшится процентъ смертности, а процентъ неграмотныхъ будетъ не восемьдесятъ, а восемь, два, одинъ,—хорошо будетъ и намъ.

— Не знаю,—тихо проговорилъ я неопредѣленнымъ тономъ.

— Придетъ время, когда весь свѣтъ солнца и вся его теплота прольются на Россію, — и тогда конецъ будетъ и нашимъ страданіямъ. Еврейскій вопросъ разрѣшится самъ собою и упразднится навсегда.

Сара помолчала.

— Впрочемъ, что жъ!—прибавила она и вздохнула.— Тебя, мнѣ кажется, вовсе не это интересуетъ...

Солнце нижнимъ краемъ своимъ уже коснулось земли. Потянулъ вѣтерокъ и затрепетали, заговорили тонкія вѣтви ивъ надъ рѣченкой. Сара обтянула полы пелеринки и застегнула воротникъ. Глаза ея, прекрасныя, большіе, устремлены были на горизонтъ, затянутый таинственными лиловыми тонами, и, казалось мнѣ, что-то высматривали тамъ и искали...

X.

Черезъ четверть часа мы подъѣзжали къ дому.

Миретка, издали завидѣвъ свою пріятельницу Vichette, съ радостнымъ лаемъ бросилась къ ней на-

встрѣчу. Войменъ и Яша стояли у воротъ и поджидали насъ. Подлѣ дома я соскочилъ съ кабриолета и, отдавъ вожжи Воймену, взошелъ на крыльцо.

— Monsieur Bourotte est venu, monsieur Bourotte est venu!—весело запѣлъ Яша, прыгая на правой ногѣ, а лѣвую поддерживая руками.

— Надо, Яша, всегда говорить по-русски,—внушительно сказалъ я:--чего хотѣлъ monsieur Bourotte?

Яша удивленно посмотрѣлъ мнѣ въ лицо и сейчасъ же затараторилъ опять:

— Monsieur Bourotte a dit... Мосье Буротъ сказалъ... qu'il a réfléchi... онъ... перемыслилъ... и онъ согласенъ, il veut bien поставить въ саду рѣшетку, а не... вотъ это вотъ, какъ это называется...

Яша въ замѣшательствѣ кривилъ рожицу и нетерпѣливо чмокалъ языкомъ.

— Что на телеграфѣ! — выпалилъ онъ, наконецъ. — Pas un fil de fer.

— Очень хорошо!

Я ласково отстранилъ мальчика и, не торопясь, сталъ подыматься въ спальню.

Тамъ я снялъ съ себя пальто, отстегнулъ манжеты, поставилъ ихъ на комодъ и опустился на край кушетки.

„Ну, а теперь что?“—спросилъ я себя.

Отвѣта не было.

Нѣсколько минутъ прошло, и ни одна мысль не зарождалась въ моей головѣ. Въ душѣ было тихо, — тихо, спокойно, хорошо, а физическое ощущение было такое, какъ если бы я долгое время таскалъ на себѣ тяжелую ношу и теперь вдругъ отбросилъ ее прочь...

До сихъ поръ предо мной стояла тьма,—и въ этой тьмѣ я не видѣлъ никакого выхода. Для чего работать? Гдѣ цѣль? Что можно сдѣлать?.. Въ памяти вставалъ несчастный образъ „ни за что“ погибшаго Когана, и я говорилъ себѣ, что что-нибудь въ этомъ

родѣ ждеть и меня. Сбитый съ пути, испуганный, растерявшійся, безъ Бога въ душѣ, я опустился, отошелъ къ сторонкѣ и хлопочу уже только о томъ, чтобы меня не били... Да, Сара права: я весь ушелъ въ „обереганіе своихъ реберъ“. „Свободный, полноправный гражданинъ свободной страны“, — выше этого перешибленные крылья уже не поднимаютъ... Отъ несчастій своего народа я малодушно отворачиваю глаза, не хочу о нихъ и думать и, насилуя сердце, стараюсь отречься отъ „родныхъ“. Ахъ, къ чему это все, къ чему!

Я всталъ. прошелся по комнатѣ и остановился у окна.

— Къ чему, къ чему?..

Тихая, длительная дрожь прошла у меня по тѣлу...

Я смотрѣлъ въ садъ, — какъ смотрѣлъ въ него четыре мѣсяца назадъ, когда Сара впервые заговорила о странности нашего положенія. Садъ былъ голъ и сумраченъ, виднѣвшіяся за нимъ поля тоже были сумрачны и черны, какъ зимой. Но что зимѣ — конецъ, что дни холода и окоченѣнія прошли, что настаетъ пора обновленія и свѣта, — чувствовалось во всемъ, — и въ этой бурой землѣ, и въ темныхъ деревьяхъ, и въ небѣ, бѣлесоватомъ, кроткомъ, весеннемъ. И я зналъ, что дни холода и мрака прошли и для меня, и что происходившій во мнѣ страшный процессъ духовнаго омертвенія пресѣченъ...

Тихо, безшумно, какъ бы боясь помѣшать тому необыкновенному, новому, что широкой волной вливалось въ мою душу, я отошелъ отъ окна и спустился въ кабинетъ...

На диванѣ сидѣлъ Яша и, крѣпко сжавъ Миретку колѣнями, вплеталъ ей въ шейникъ пучки одуванчиковъ. Сара стояла у стѣны, и глаза ея были устремлены на мальчика. Что за лицо было у нея!..

Два года тому назадъ Яша былъ боленъ и былъ

въ опасности. Въ особенности страшна была одна ночь, когда мы съ минуты на минуту ждали конца. Хлопоталъ около больного я, а Сара сидѣла у кровати, неподвижная, окаменѣлая и не сводила съ ребенка глазъ. Она прощалась съ нимъ... И вотъ, теперь, на лицѣ ея опять было то же самое, непередаваемое словами, выраженіе, которое искажало его и въ ту памятную мнѣ, страшную ночь.

— Что съ тобой, Сара?

Сара вздрогнула, подняла голову—и направилась ко мнѣ.

— Иосифъ,—глухимъ, обрывающимся голосомъ проговорила она.—Не могу... Не въ силахъ... Якова ты мнѣ не дашь, я знаю, и я одна... Я уѣзжаю одна...

Я смотрѣлъ на Сару съ испугомъ и какъ-то не сразу уловилъ смыслъ ея словъ...

— Родная моя,—говорилъ я черезъ минуту, захлебываясь и протягивая впередъ руки.

Я, кажется, улыбался и слезы текли у меня по лицу, и я ихъ не удерживалъ.

— Хорошая моя! Да не одна, а всѣ... И къ той борьбѣ, и къ тѣмъ страданіямъ, всѣ трое туда поѣдемъ, всѣ...

Въ Парижѣ и въ Нанси, въ Ecole de Médecine, вывѣшены объявленія о томъ, что деревня, гдѣ я живу, приглашаетъ врача. Я обѣщалъ мѣру пробыть здѣсь еще мѣсяцъ, пока найдется врачъ. „Мебелишка“ наша назначена въ продажу, а для кабриолета, который я купилъ двѣ недѣли тому назадъ, уже нашелся покупатель,—нотариусъ.

Мосье Буротъ пріѣзжалъ для подписанія условія и привезъ два толстыхъ альбома съ образчиками обоевъ. Онъ долго не вѣрилъ, когда я, извиняясь, объявилъ ему, что уѣзжаю въ Россію. Онъ вообразилъ, что я пускаюсь на „troc“, съ цѣлью выторговать у него по-

выя уступки... Убѣдившись, наконецъ, что я говорю правду, онъ выразилъ сожалѣніе, что теряетъ такихъ хорошихъ жильцовъ, и сталъ прицѣниваться къ моему письменному столу. Онъ попрежнему любезенъ и галантенъ, но внутренно кипитъ и, навѣрно, говорить о насъ: „les sales russes“...

Сара смотритъ теперь какъ будто еще серьезнѣе и строже, чѣмъ раньше. Но мнѣ ясно, что она счастлива... Что касается меня, то я продолжаю чувствовать въ своей душѣ весну и расцвѣтъ... Я долженъ, однако же, сознаться, что въ сердцѣ моемъ,—когда Яша въ радостномъ возбужденіи, тыча себя въ грудь пальцемъ, шумливо докладывалъ мосье Буроту: „nous allons rentrer dans notre pays à nous! à nous!“—что въ сердцѣ моемъ въ эту минуту шевелилась невольная жалость, и я не могъ не думать:—бѣдный мой, бѣдный!..

ОБЪ ОДНОМЪ ЗЛОДѢЯНІИ.

Было еще совсѣмъ темно, когда извозчикъ Лэйзеръ, присѣвъ на грудъ лохмотьевъ, служившей ему постелью, зажегъ жестяную лампочку и сталъ одѣваться. Онъ одѣвался медленно, нехотя, кряхтя и кашляя, и то принимался чесать себѣ локтемъ бока, то терся спиной объ стѣну.

— Я знаю?.. Я знаю, что это будетъ? — мысленно говорилъ онъ себѣ. — Только Господь Всевышній можетъ знать. А человѣкъ что? Человѣкъ знать не можетъ.

Онъ всталъ и началъ молиться. И молясь, онъ думалъ не о смыслѣ произносимыхъ словъ, а все о томъ же: неизвѣстно, какъ окончится день, и нельзя знать, будутъ ли дѣти сегодня сыты.

Окончивъ молитву, Лэйзеръ надѣлъ армякъ, подпоясался ремнемъ и, переступая черезъ спавшихъ на полу дѣтей, направился къ двери. Но здѣсь глаза его скользнули по полкѣ, по лежавшей на ней краюхѣ хлѣба,—и онъ смалодушествовалъ.

— Сося,—тихо и какъ бы вопросительно проговорилъ онъ, оборачиваясь къ женѣ, высохшей, сутуловатой женщинѣ, только-что слѣзшей съ печки и безмолвно усѣвшейся на перевернутой кадкѣ.

— Ну!

Это „ну“ отрезвило Лэйзера.... Въ самомъ дѣлѣ,— что это онъ затѣялъ! Дѣти же вѣдь...

Онъ крикнулъ и шагнулъ къ двери.

— Такъ что же это ты себѣ думаешь?—вызывающе крикнула Сося. — Попадешь ты когда-нибудь на работу?

Лэйзеръ остановился.

— Развѣ я могу знать?.. Можетъ быть Господь и благословить...

— Ты ничего не можешь знать! Ничего! Другіе знаютъ же, другіе работаютъ же.

— А я что, не хочу работать? — Лэйзеръ грустно посмотрѣлъ на жену.—Что дѣлать! Бугъ сталъ, пшеницы не грузятъ, работы нѣтъ... Придетъ кто-нибудь за однимъ извозчикомъ, и сейчасъ выскакиваютъ двадцать...

— Выскакивай и ты.

— Я стараюсь... Я все дѣлаю...

— Ты ничего не дѣлаешь! Ты лайдакъ, ты спишь на повозкѣ, ты никогда не будешь имѣть работы.

Лэйзеръ вздохнулъ и вышелъ.

Въ сараѣ стоялъ Храпунчикъ, бѣловатая слѣпая кляча съ длинной мохнатой мордой, съ узловатыми ногами, съ провалившимся, словно переломаннымъ, хребтомъ и съ широкими, плоскими, какъ тарелки, копытами. Спотыкаясь и путаясь въ упряжи, Лэйзеръ впахнулъ лошадь въ оглобли, запрягъ и, взявъ вожжи въ руки, выѣхалъ со двора.

Когда онъ былъ уже посреди улицы, во дворѣ раздались крики „татѣ, татѣ“, и высокая женская фигура, закутанная въ большой платокъ, подбѣжавъ къ телѣгѣ, стала что-то совать ему въ руки.

— На, возьми! бери!

Лэйзеръ не бралъ и отвелъ руки назадъ.

— А дѣти?—нерѣшительно проговорилъ онъ.

Пара большихъ, глубоко ввалившихся глазъ гнѣвно сверкнула въ едва дрогнувшей тѣмѣ.

— Ну такъ что жъ, что дѣти! Тебѣ ѣсть не надо?

— Я попаду на работу, такъ и куплю.

— Не руби ты мнѣ мозгъ! „купить“!.. А если на работу не попадешь?.. Цѣлый день не ѣсть на холодѣ... Свалишься, чтѣ тогда будетъ!

Лэйзеръ закашлялъ, потомъ взялъ у дочери ломоть хлѣба и двѣ луковицы и погналъ свою клячу впередъ.

Ѣхать пришлось левадой, по топкой грязи; колеса уходили въ нее до половины спиць, а иногда, попадая въ яму, погружались и до оси. Лэйзеръ шелъ съ телѣгой рядомъ, въ критическія минуты подталкивалъ ее плечомъ и тянулъ за колеса; лошадку онъ постоянно подбадривалъ, дергалъ вожжами и уговаривалъ не лѣниться:

— Нѣ, нѣ, веселѣче! Будемъ зѣвать, не будемъ жевать, Храпунчикъ, ты знаешь хорошо!..

Когда добрались до замощенной Херсонской улицы, Храпунчикъ пошелъ живѣе. Лэйзеръ влѣзъ на повозку, сѣлъ на край и ноги свѣсилъ внизъ. Тьма стала понемногу таять, и уже были видны соломенные крыши низенькихъ домовъ, черныя канавы и безконечные, мѣстами повалившіеся заборы. Вѣтеръ билъ Лэйзера въ затылокъ, а крупа, кружившаяся въ воздухѣ, садилась къ нему на бороду, на лохматыя брови, таяла и разливалась по лицу. Лэйзеръ досталъ изъ повозки мѣшокъ, сдѣлалъ изъ него капюшонъ и надѣлъ. Но вѣтеръ сейчасъ же сорвалъ капюшонъ, и какъ Лэйзеръ ни бился, а укрѣпить его ему не удалось. Онъ положилъ мѣшокъ обратно въ телѣгу и, не пытаясь уже защищаться, покорно отдался злобной власти вѣтра и колючей крупы.

— Ента у меня добрая,—думалъ онъ, ежась и по-

стукивая сапогами о телѣгу,—принесла хлѣба... Положимъ, мнѣ хлѣба не надо. Развѣ я могу его ѣсть, когда не хватаетъ дѣтямъ? Теперь это для меня не хлѣбъ, а раскаленное желѣзо... Но только что? Если разсудить по настоящему, то развѣ человѣку возможно жить, когда онъ не ѣсть?... На Іомъ-Кипуръ, на примѣръ, тоже не ѣшь, постишься,—такъ вѣдь это только одинъ день... Наканунѣ наѣшься хорошенечко, и потомъ сидишь себѣ въ теплой синагогѣ и молишься... А многіе, такъ они такіе себѣ деликатные, что не выдерживаютъ и этого: они нюхаютъ нашатырный спиртъ и выходятъ изъ синагоги на холодокъ, прогуляться, на примѣръ... А тутъ же, вотъ, вчера я легъ голоднымъ, и позавчера тоже не доѣлъ, и уже, можетъ быть, больше двухъ недѣль, какъ сытъ не былъ... И все семейство голодно... Развѣ это шутка, когда жена и столько дѣтей голодны? Пусть меня Богъ не накажетъ за эти слова, только я совсѣмъ не понимаю, зачѣмъ все это такъ дѣлается...

Черезъ полчаса Лэйзеръ пріѣхалъ на биржу.

Посреди обширной, до невѣроятности загаженной площади, подъ высокимъ навѣсомъ, напоминавшимъ своей выгнутой крышей китайскія постройки, находился старый, наполовину засыпанный и давно уже заколоченный колодезь, и около этого колодца, по радіусамъ, располагались ломовики. Теперь ихъ было здѣсь десятка два, и новыя прибывали ежеминутно.

Лэйзеру удалось пристроить Храпунчика на хорошее мѣсто, за вѣтромъ. Храпунчикъ, какъ только остановился, опустилъ свою лохматую голову къ землѣ и сталъ искать сѣна. Но сѣна Лэйзеръ ему не далъ. Онъ накрылъ лошадку рядомъ, дружески погладилъ по лбу и по вдавленному хребту и отошелъ подъ навѣсъ. Долго, однако, онъ тамъ не пробылъ: вѣтеръ сквозилъ и свисталъ межъ столбами навѣса и пронизывалъ насквозь. Лэйзеръ предпочелъ сквозняку крупу. Онъ вер-

нулся къ Храпунчику и, взобравшись на телѣгу, предался размышленіямъ.

— Вотъ, такъ вотъ идетъ человѣческая жизнь!.. Нужна человѣку работа—нѣтъ работы. Нужно человеку ѣсть—нечего ѣсть. Человекъ не можетъ, какъ телеграфный столбъ, цѣлый день на дождѣ и вѣтрѣ стоять, а онъ стоитъ. Ну? Какъ это понять?.. Я не могу это понять... Или вотъ: дать мнѣ Богъ одиннадцать дѣтей, и пятеро изъ нихъ умерло, и умерли какъ разъ всѣ мальчики. Мальчика можно отдать въ ученье, къ портному, къ лудильщику, куда-нибудь приказчикомъ. Мальчикъ можетъ помощь дать. А что дѣлать съ дѣвочками? Какъ будешь ихъ выдавать замужъ?.. А Ента, когда Богъ меня уже благословилъ, и я достигъ выдать ее замужъ, что съ Ентою?.. Такая тебѣ выходитъ исторія: сходить ея мужъ съ ума, его забираютъ въ сумасшедшій домъ, а она съ двумя дѣтьми и беременная возвращается ко мнѣ... Такія вовсе дѣла... И были бы хоть ея дѣти здоровы,—такъ нѣтъ и этого... Что? Себѣ самому я могу говорить правду, себя самого мнѣ нечего стыдиться: когда Шмилекъ кашляетъ, такъ у меня внутри все разрывается на куски, и когда онъ жалуется и проситъ ѣсть, а ѣсть нечего, то я таки плачу... Таки плачу, ну!.. Таки не могу удержаться, отворачиваюсь въ кутокъ и плачу...

— Ты, задумчивый ангелъ! — гаркнулъ за спиной Лэйзера только что подъѣхавшій извозчикъ, огромный рыжій верзила, по имени Шлѣмка Гицель. — Посторониться не можешь, іолдъ!

Лэйзеръ пугливо оглянулся и проворно подобралъ ноги. Гицель, скверно ругаясь, и по-еврейски, и по-русски, и колотя Храпунчика кулакомъ по шеѣ, сталъ устраивать свою телѣгу.

— И отчего жъ таки мнѣ не плакать,—продолжалъ думать Лэйзеръ, — отчего? Когда одного легкаго у Шмилека уже нѣтъ, а на ногѣ у него такая страшная

рана, и она всегда горить... Надо Шмилеку рыбій жиръ, надо ему молоко, и для раны какую-нибудь хорошую мазь,—а ничего этого нѣтъ...

Лэйзеръ поднялъ голову и сталъ озираться.

Молока неподалеку было сколько угодно: молочный рядъ устьемъ упирался въ площадь и весь виденъ былъ, какъ на ладони. По другую сторону площади сквозь сѣрую мглу смутно желтѣли растопыренные крылья золоченаго орла. Это аптека. Тамъ, конечно, есть и хорошая мазь для ноги, и рыбій жиръ, и разные лѣкарства для легкихъ...

— Да, а только что же, когда Богъ не хочетъ, чтобы это было для насъ... И чтобы я такъ не зналъ зла, какъ я не знаю, за что онъ на насъ сердится... И что же, напримѣръ, будетъ, если я таки въ самомъ дѣлѣ свалюсь?.. Вотъ я хочу ѣсть, ужасно хочу ѣсть...

Лэйзеръ нащупалъ за пазухой хлѣбъ и луковицы, пососалъ языкъ и плюнулъ.

— И я озябъ, и вотъ у меня потекла за воротникъ по голой спинѣ вода... Ну что, развѣ я мѣдный? Таки заболѣю... Мнѣ по настоящему надо бы теперь съѣсть свой хлѣбъ и зайти себѣ въ „Англию“, взять чаю, или тамъ таранки жареной, и поддержать себя,—а нѣтъ возможности... Такъ ѣсть хочу, что душа изъ тѣла уходитъ,—а нѣтъ никакой возможности...

Ноги у Лэйзера озябли до того, что онъ ихъ не чувствовалъ. Чтобы отогрѣться, онъ усиленно скребъ пальцами подошву,—но это не помогало. Онъ спрыгнулъ съ повозки и принялся притаптывать.

— Уй-уй, какъ холодно! Какъ страшно холодно... Можно бы зайти въ „Англию“ -- вродѣ какъ будто поискать кого,—и пока что погрѣться; только вѣдь можно же прозѣвать напимателя... Вотъ какъ на зло всегда выходить: сторожишь, какъ собака на цѣпи, цѣлую недѣлю, и не является никто, а на пять минутъ отой-

дешь — и со всѣхъ сторонъ народъ повалить... Надо терпѣть...

Въ началѣ десятаго на биржѣ появилась еврейка, въ казакинѣ, въ мужскихъ сапогахъ, и объявила, что ей нужны четыре извозчика, перевозить мебель.

Мгновенно на нанимательницу накинuloсь чело-вѣкъ двадцать, и гвалтъ на площади поднялся такой, какъ если бы кого-нибудь не фигурально только, а са-мымъ подлиннымъ образомъ рвали на куски.

Лэйзеръ тоже полѣзъ было въ толпу, но двое здо-ровенныхъ дѣтинъ отбросили его прочь, и онъ, не смѣя уже возобновлять свою попытку, стоялъ позади всѣхъ и, подымая кверху руки, задыхаясь, кричалъ:

— Вотъ я! вотъ я! Я поѣду, я!.. я!..

Но еврейкой въ это время овладѣлъ Шлемка Ги-цель. Онъ схватилъ ее за поясъ и поволокъ къ своей телѣгѣ.

— Вамъ четырехъ извозчиковъ не надо,—гремѣлъ онъ,—будетъ съ васъ двухъ. Ъду я и вотъ — мой то-варищъ... Мы сдѣлаемъ по два конца.

— Да пустите меня.. Не хочу въ два конца, это будетъ долго... Теперь дни короткіе!.. Я хочу все сразу забрать.

— Чего долго! Ничего не долго!.. Галопомъ поѣду... Садись на повозку, ну-ка!

— Да пустите! Пойдите!

— Зачѣмъ стоять? Стоять некогда! Дни короткіе. Садись, балабуста, садись. Я-жъ и знакомый тебѣ, знаю, гдѣ ты живешь—на Рыбной улицѣ.

— Вовсе не на Рыбной,—на Узенькой.

— А мнѣ бѣда большая, если на Узенькой! Ну, гопъ! Садись! Живо, вихремъ!

Общій крикъ сдѣлался еще пронзительнѣе. Извоз-чики всей стаей напали на Гицеля и стали его ругать за то, что онъ не „по правилу“ забираетъ кліента...

— А чтобы вы сгорѣли, мамзеры проклятые! Ишь глотки!

Послѣдовалъ рядъ крѣпкихъ словъ.

— Ну, чортъ съ вами. Айда мѣряться!

Гицель подбросилъ кнутъ, другой извозчикъ подхватилъ его посрединѣ, и потомъ всѣ, желавшіе ѣхать, стали охватывать кнутовище указательнымъ и среднимъ пальцемъ, какъ ножницами. Кто окажется наверху, тотъ и поѣдетъ.

Лэйзеръ тоже сунулся къ кнутовищу, но Гицель локтемъ толкнулъ его въ грудь.

— Брысь! куда лѣзешь!

Съ Лэйзеромъ это продѣлывали всегда, когда „мѣрялись“, и это было одной изъ причинъ, по которымъ онъ такъ рѣдко попадалъ на работу. Слабый физически и кроткій духомъ, онъ не умѣлъ за себя постоять и отступалъ сразу. На этотъ, однако, разъ на помощь къ нему пришла сама нанимательница.

— Нѣтъ, пусть и онъ,—приказала она.

— „Раввинша“? Ко всѣмъ чертямъ! У него лошадь дохлая.

— Ничего, пусть.

— У него лошадь еще для постройки Соломонова храма камень возила.

— Если онъ не будетъ мѣряться, никого не возьму.

Стиль Гицеля, его разбойничья рожа и своеобразность тѣлодвиженій пугали еврейку. Она была увѣрена, что онъ раскрадетъ и перебьетъ половину мебели. И остальные извозчики довѣрія тоже ей не внушали. Одинъ только Лэйзеръ казался похожимъ на человѣка, и ей очень хотѣлось, чтобы онъ поѣхалъ.

— Знать не хочу! Пусть мѣрится! — настаивала она.

Ободренный Лэйзеръ опять полѣзъ въ толпу и протянулъ къ кнутовищу озябшіе пальцы.

„Господи, сдѣлай. чтобы я былъ наверху!—съ сердечнымъ замираніемъ молилъ онъ.—Помоги мнѣ!.. не для меня, для Шмилека...“

Господь Шмилеку покровительствовалъ, и молитва Лэйзера была услышана.

Какъ только двинулись въ путь — первымъ шелъ Гичель съ нанимательницей, потомъ два другихъ извозчика и позади всѣхъ Храпунчикъ, — такъ сейчасъ же Лэйзеръ вытащилъ изъ-за пазухи хлѣбъ и луковицы и въ два-три приѣма проглотилъ... Точно въ яму все провалилось.

— У-ва! какъ ѣсть хочется!—проговорилъ онъ, подбирая съ армяка крошки.—Страшное дѣло, какъ хочется ѣсть... Ну, ничего! До вечера потерпимъ, а вечеромъ все будетъ. Покушаемъ себѣ хорошо... Очень хорошо покушаемъ... Нѣ, нѣ, Храпунчикъ, веселѣче!

Приѣхали на Узенькую улицу.

Мебель еврейки оказалась такая нелѣпая и громоздкая, что укладывать ее на возы было особенно трудно. Сперва вытащили какой-то шкафъ, отъ котораго, пока его несли, отскакивали и шлепались на землю полки и дверцы; потомъ поволокли два огромныхъ ободранныхъ, пудовъ по пятнадцати каждый, дивана. Затѣмъ послѣдовала корявая конторка, кресла безъ ножекъ или безъ сидѣній... Все это извозчики таскали съ крикомъ, съ гамомъ, съ руганью; а еврейка бѣгала за ними, ужасалась, охала, упрасивала...

Лэйзеръ тоже суетился и выносилъ вещи полегче. Извозчики не совсѣмъ были неправы, когда не хотѣли брать его въ свою компанію. Чахлый и слабосильный, съ ветхой кляченкой и дрянной телѣгой, онъ былъ для нихъ невыгоднымъ компаньономъ.

— Это развѣ извозчикъ? Это раввинша, — говорили они о немъ.

И дѣйствительно, для работъ „серьезныхъ“, для грузки хлѣба, напимѣръ, Лэйзеръ не нанимался и самъ. Его спеціальностью было отвозить съ базара покупки — нѣсколько пудовъ антрацита, сотню арбузовъ, пустыя бочки, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Нагрузи его телѣгу какъ слѣдуетъ — она разсыплется, лошадь упадетъ, и хлопотъ съ нимъ не оберешься...—И, исходя изъ этого соображенія, извозчики и теперь тяжелой, „хорошей“ мебели на телѣжку Лэйзера не ставили, а украсили ее кухонной рухлядью да тѣмъ подвижнымъ, которое хозяйка хранила въ сараѣ...

Въ половинѣ второго нагрузка была окончена, и процессія тронулась. Опять во главѣ пошелъ Гипель, а послѣднимъ Лэйзеръ...

Теперь валилъ уже снѣгъ, вѣтеръ нѣсколько притихъ, но измѣнилъ направленіе и сдѣлался холоднѣе. Храпунчикъ плелся медленно, вытягивая впередъ мохнатую голову и дѣлая ею такія движенія, какъ будто говорилъ: „да, да, я согласенъ“. Онъ звонко хлюпалъ плоскими копытами по жидкой грязи и послѣ каждыхъ двухъ-трехъ шаговъ выказывалъ явное желаніе остановиться. Но Лэйзеръ этого желанія не раздѣлялъ и, сопя и кашляя, какъ самъ Храпунчикъ, не переставалъ ему напоминать, что если „захочешь зѣвать, то не будешь жевать“.

— Да, вотъ такъ, вотъ оно и есть, вотъ,—бормоталъ онъ. — Лошадь, напимѣръ, такъ ей еще хуже, чѣмъ человѣку. Человѣкъ,—вотъ, положимъ, какъ я,—когда проголодается, такъ онъ сейчасъ начинаетъ думать, что у него дома жена и дѣти не ѣли,—и въ моментъ его голодъ исчезъ. Уже ты дай мнѣ обѣдъ, какъ у самого барона Гирша, и я его ѣсть не стану. Уже я сытъ! совершенно сытъ, вполне! А лошадь, такъ она этой химии не понимаетъ. Ей надо, чтобы сѣно было, и конченъ балъ... Нѣ, Храпунчикъ, веселѣче!.. Уй, уй, какъ, однако, хочется ѣсть! Ажъ кареты въ животѣ

развѣзжаютъ, ей-Богу!.. Также вотъ можно и въ обморокъ упасть тоже. Развѣ долго? Вовсе не долго...

— Ты, свинцовая птица! — гаркнулъ впереди Гидель, — чего отстаешь? Вмѣстѣ съ Мессіей пріѣхать думаешь, что ли?

— Веселѣе, Храпунчикъ, веселѣе!

Лэйзеръ взволнованно задергалъ вожжами.

— Нѣ, поѣзжай... А сегодня Сося ругаться не будетъ: когда Богъ благословитъ и принесешь ей, напримѣръ, пятьдесятъ копѣекъ и кварту молока, — а то еще и двѣ кварты, — такъ она дѣлается добрая... Она очень добрая, честное слово! Только съ горя и съ голоду она кричитъ. Всѣ кричатъ, когда голодны... Уй, какъ я ѣсть хочу... Никогда въ жизни еще не былъ такъ голоденъ. Прямо огнемъ кишки палить... Это онѣ знаютъ, что есть заработокъ, такъ и строятъ себѣ штуки...

Около мостика, переброшеннаго черезъ городскую канаву, подъ жидкимъ слоемъ сѣровой глины, было подобіе мостовой, и повозка Лэйзера отъ этого стала подпрыгивать, а находившіеся на ней предметы — раскачиваться и гроыхать. Одна кадка наѣхала на другую, ухватъ и кочерга, торчавшіе изъ нихъ, куда-то провалились, а широкій топчанъ шлепнулся на какой-то ящикъ и сталъ медленно скатываться...

— У! еще надѣлаю шкоды!

Встревоженный Лэйзеръ подбѣжалъ къ возу и началъ умащивать вещи.

Когда онъ, пыжась и отдуваясь, налегъ грудью на топчанъ, а руками поддерживалъ готовый свалиться перерѣзъ, пальцы его вдругъ погрузились во что-то липкое и холодное.

— Ну, это что за коммерція?

Лэйзеръ посмотрѣлъ въ перерѣзъ.

Тамъ, среди полудесятка пустыхъ горшковъ и всякой кухонной посуды, стоялъ котелокъ, до краевъ наполненный жаркимъ.

— Тю! Такое вообще!.. Совсѣмъ кушанье?!..

Озадаченный Лэйзеръ съ удивленіемъ смотрѣлъ то на свои растопыренные, смоченные соусомъ пальцы, то въ перерѣзъ, въ котель.

— Вообще кушанье...

Онъ опустилъ руку къ армяку, намѣреваясь ее обтереть, но вдругъ передумалъ и вложилъ пятерню въ ротъ...

— У-ва! хорошо!.. И пахнетъ... У-ахъ, какъ хорошо!.. до невозможности.

Лэйзеръ сосалъ пальцы, чмокалъ и жмурился.

— Замѣчательно... Ну, надо теперь котель накрыть... Гдѣ тутъ крышка? А, вотъ!.. Съѣхала себѣ въ сторону... Надо накрыть... А то вѣдь все расхлупается, пропадетъ все...

Лэйзеръ накрылъ жаркое и отошелъ въ сторону.

— Ухъ, какъ пахнетъ!.. Что это такое туда кладутъ, что такъ хорошо пахнетъ?.. Корицу?.. Должно быть, корицу.

Повозка попала вдругъ въ глубокую рытвину и опять послышалось дребезжаніе горшковъ.

— Ну, вотъ тебѣ мостовая!.. Ничего себѣ мостовая... Съ такой мостовой можно же всѣ горшки перебить и можетъ же расплескаться вся подливка.

Чтобы она не расплескалась, Лэйзеръ со всѣхъ сторонъ сталъ сдавливать котель горшками. Операция эта удалась вполнѣ, но рука Лэйзера при этомъ снова погрузилась въ соусъ.

— Нѣтъ, это не корица,—сказалъ онъ, облизывая пальцы.—Навѣрное не корица... Духъ совсѣмъ не тотъ... А хорошій духъ! Уй-уй, какой хорошій!.. И если оно такъ пахнетъ, когда холодное, то что же будетъ, если разогрѣть?.. Совсѣмъ райскій вкусъ будетъ... Ёй-Богу!..

И вотъ что—я таки теперь припоминаю; я такое жаркое когда-то уже ѣлъ... Навѣрное ѣлъ... только у кого?

Лэйзеръ вложилъ въ ротъ картофелину.

— Да, капля въ каплю, точно такое ѣлъ. Я таки знаю это навѣрное. Только гдѣ и когда — не могу вспомнить... А ну, я кусочекъ мяса попробую... Маленькій кусочекъ, косточку... Аѣ, ай, какъ вкусно... Всѣ вкусы тутъ... расходится по жиламъ, какъ хорошій бальзамъ... Удивляетъ меня, что я не могу вспомнить, у кого это ѣлъ!.. Прямо досадно... Могу поклясться, чѣмъ угодно могу поклясться, что ѣлъ, а гдѣ — не знаю... Совершенно такое же... И это пахнетъ, и тогда тоже пахло... А-а! Это не корица! Это лавровый листъ! Это вовсе лавровый листъ! Лавровый листъ и гвоздика!.. Конечно, лавровый листъ!.. А я думалъ, что корица... Вотъ дуракъ! Таки настоящій дуракъ, ей-Богу... Гвоздика—такъ она же совсѣмъ другой духъ имѣетъ. Гвоздика—она вродѣ какъ перецъ. Ты думаешь, что перецъ, а раскусишь —и вовсе гвоздика... Ахъ, замѣчательно! Это же только на свадьбѣ можно такое ѣсть, честное слово!..

Разсуждая такимъ образомъ, Лэйзеръ продолжалъ умасливать горшки,—лѣвой рукой. Правую же онъ то погружалъ въ котелокъ, то подносилъ ко рту.

— Ага-га-га!.. Вспомнилъ! Таки вспомнилъ... Это же я у мусю Цыпоркеса такое кушанье ѣлъ!.. Ну да, конечно... Я тогда привозилъ ему вино съ парохода—онъ же все изъ Одессы себѣ выписываетъ и меня позвали на кухню и угостили... Ну да, у мусю Цыпоркеса... Большой человекъ мусю Цыпоркесъ, магнатъ. Свинья, но магнатъ... Только что же это, ей-Богу, я совсѣмъ не понимаю: у мусю Цыпоркеса было тогда обрѣзаніе, такъ у него могло быть такое жаркое. А это же простая еврейка... Что такое ея мужъ? Приказчикъ на лѣсной!—и она въ будни, въ простой четвергъ, дѣлаетъ такое жаркое... Вотъ, такъ вотъ наши

евреи и любятъ: заработаютъ рубль, а проживутъ три. Шарлатаны. А русскіе отъ этого воображаютъ, что всѣ евреи ужасно богаты, и таки за это насъ бьютъ. Изъ-за такихъ вотъ расточителей насъ таки и ненавидятъ... Видалъ ты такое? Лавровый листь! Она безъ лавроваго листа не можетъ! Паскудница такая... Ну, а только я тоже хорошъ: совсѣмъ и позабылъ, гдѣ ѣлъ такое жаркое. Га?.. Что ты на это скажешь? Вотъ исторія!..

Мостовая давно кончилась, телѣга пошла ровнѣе, горшки уже не дребезжали и стояли спокойно, но Лэйзеръ все еще ихъ умачивалъ...

Онъ въ послѣдній разъ просунулъ руку къ котлу, сгребъ прилипшія ко дну картошки, обсосалъ начисто пальцы и, накрывъ старательно котелъ крышкой, отошелъ къ сторонѣ.

Впереди, на разстояніи полуквартала. одна за другой, тянулись первыя три телѣги, и подлѣ нихъ, съ лампой въ одной рукѣ и зеркаломъ въ другой, высоко подоткнувъ юбки, шагала хозяйка.

— Ой! А если она спохватится... Ой, Боже мой!.. Лэйзеръ замеръ.

— Эй, нѣтъ!.. „Спохватится“... Чего ей спохватываться? Вотъ такъ вдругъ, сразу и спохватится?.. Ничего не будетъ! Приѣду на мѣсто и сейчасъ снесу всѣ горшки, заставлю кадками—и готово... А какъ съѣду со двора, тогда пусть она себѣ и спохватывается. Поди, ищи меня тогда, кусай въ поясницу... Эй! нечего и безпокоиться... Что она, судиться со мной будетъ? У нея есть свидѣтели?.. Я ея не боюсь!.. Такой она важный вахмистръ, чтобы я боялся?.. нисколько не боюсь... Пся!..

Извозчики успѣли уже наполовину разгрузить первую телѣгу, когда Храпунчикъ доползъ, наконецъ, до мѣста назначенія.

— А, сухая кишка!—привѣтствовалъ Лэйзера Гицель.—Еще не издохъ.

Лэйзеръ молчалъ. Внутри все у него трепетало и дрожало мелкой дрожью. Глаза не смотрѣли ни на кого, и языкъ точно распухъ...

Онъ поспѣшно развязалъ веревки, которыми укрѣпленъ былъ на его телѣгѣ скарбъ, и суетливо сталъ его носить. Черезъ нѣсколько минутъ дѣло было улажено: всѣ горшки и котлы стояли въ узкомъ проходѣ между печью и стѣной, и спереди замаскированы были кадкой.

— Ну, теперь готово! Теперь неопасно! Теперь вотъ снесутъ только диваны — и кончено, конченъ балъ! Храпунчикъ, ничего! Накушаешься сегодня замѣчательно...

Уже вся мебель была составлена. Извозчики вытирали вспотѣвшіе лбы, поправляли упряжь на лошадахъ и располагались уѣзжать. Ждали только расплаты.

— Мадамъ! пожалуйста рассчитываться, — приглашала Гицель запропадившуюся куда-то хозяйку. Онъ имѣлъ намѣреніе получить на чай и сдѣлался галантенъ.

— Мадамъ, гдѣ вы? Пожалуйста, мы ждемъ. Потрудитесь!..

И вдругъ произошло нѣчто совсѣмъ непонятное...

Мадамъ, какъ бомба, выскочила на крыльцо и, потрясая надъ головой пустымъ котломъ, заорала:

— Арестанты!.. Жулики!.. Махшемойники!.. Чтobъ вы поздыхали, проклятые!.. Вы думаете, я вамъ буду молчать! Вы думаете, это вамъ пройдетъ даромъ! Шарлатаны, каторжники!..

— Ого! — весело отозвался Гицель, — умѣешь! Въ моей гимназіи училась, что ли?

— Я тебѣ покажу гимназію, чтobъ ты почернѣлъ!.. Я тебѣ покажу!..

И, показывая собиравшимся на крикъ жильцамъ пустой котелъ, еврейка продолжала:

— Такіе жулики, такіе прохвосты! Я нарочно вчера еще сдѣлала жаркое, думала, сегодня съ перевозкой

не поспѣю, думала, какъ перевезутъ мебель, у сосѣдей нагрѣю и будетъ дѣтямъ готовый обѣдъ, а эти негодяи слопали... Все слопали!.. Ну! Ну!.. Что я теперь должна дѣлать?..

— Сварить другое,—услужливо посовѣтовалъ Гицель.

— Другое?! А я вотъ вычту съ тебя, такъ ты и будешь знать „другое“, каторжники!.. Мнѣ жаркое въ полтора рубля обошлось, ты мнѣ за него заплатишь...

— Я заплачу? Я?

Гицель подошелъ къ еврейкѣ поближе.

— А это вотъ,—такъ, по совѣсти, если тебя спросить,—ты видала?

Онъ поднесъ къ ея лицу шаршавый, величиной въ небольшой арбузъ, кулакъ.

— Кто твое жаркое ѣлъ—на здоровье ему!—пусть онъ и платить. А со мной ты эту политику брось... Восемь гривенъ подавай!—вдругъ загремѣлъ онъ звѣринымъ голосомъ.—И четвертакъ на чай... за диваны!..

Крикъ на дворѣ стоялъ еще долго.

Еврейка безстрашно твердила свое и собиралась вычестъ полтора рубля; извозчики же, вдохновленные этимъ обѣщаніемъ, поминали родителей и располагались выбивать зубы и стекла...

Лэйзеръ стоялъ нѣсколько въ сторонѣ, позади Храпунчика. Въ злодѣяніи своемъ онъ не признавался. Запираться, однако же, тоже не запирался. Онъ стоялъ молча, понурый, блѣдный, и только по временамъ порывисто поднималъ голову, испуская какой-то странный звукъ,—и потуплялся опять...

— Нѣтъ, одинъ человѣкъ сожрать не можетъ, это немыслимо!—размахивала руками еврейка. — Четыре фунта мяса, приварокъ... Надо имѣть не животъ, а рундукъ, чтобъ это выдержать... Всѣ вмѣстѣ жрали, махшемойники проклятые...

Окончилось дѣло тѣмъ, что тремъ извозчикамъ

хозяйка заплатила полностью, и даже на водку прибавила, а Лэйзеру не дала ничего.

— Старый человекъ, — кричала она ему, когда онъ съѣзжалъ со двора, — сѣдой человекъ, а дѣлаетъ такое свинство! Надо васъ въ часть отправить, только мнѣ паскудиться не охота...

Уже темнѣло. Снѣгъ пересталъ и вѣтеръ стихъ тоже, но начинался сильный морозъ. Мокрый армякъ Лэйзера скоро окаменѣлъ, и тарелкообразныя копыта Храпунчика уже не шлепали по лужамъ, а гулко стучали о мерзлую землю...

Когда черезъ часъ Лэйзеръ подѣзжалъ къ своему жилью, издали, изъ непроглядной тьмы, слышался радостный возгласъ.

— Да будетъ восхвалено Его святое имя!..

И Сося поспѣшно приблизилась къ телѣгѣ.

— Ну? Сколько?

По тому, что Лэйзеръ пріѣхалъ поздно, она знала уже, что онъ на работу попалъ. И въ теченіе добрыхъ двухъ часовъ она съ Ентой и другими дѣтьми обсуждала, успѣютъ ли еще сбѣгать въ мясную за требухой, чтобы сварить супъ. Полагали, что успѣютъ...

— Давай же сюда молоко, — сказала Сося, наваливаясь грудью на телѣгу. — Не переверни только, темно.

— Нѣту молока.

— Не купилъ? Ну ничего! Фейгочка къ Мудрецахъ сбѣгаетъ, Мудрецеха доить поздно.

— Я не работалъ сегодня.

Нѣсколько секундъ длилось молчаніе.

— Га?

— Никто не приходитъ нанимать... Что ты хочешь?.. До сихъ поръ ждалъ на биржѣ... Ни сумасшедшей собаки не видно...

Лэйзеръ отпрягъ Храпунчика и поставилъ на мѣсто. Лошадь немедленно принялась шарить по сторонамъ,

ища обѣщанныхъ съ утра лакомствъ. Но тряпкообразныя губы ея встрѣчали однѣ лишь холодныя доски...

Черезъ полчаса Лэйзеръ лежалъ на кучѣ тряпокъ и ладонями сжималъ себѣ голыя ступни. Ему казалось, что ступнямъ отъ этого теплѣе. Сося и дѣти лежали на своихъ мѣстахъ и, чтобы не чувствовать голода, силились заснуть. Всѣ молчали. Только маленькій Шмилекъ, лежавшій съ матерью на нетопленной печкѣ, тоненькимъ, сиплымъ голосомъ монотонно тянулъ:

— Немножко молока, ма-а-ма!

— Молоко будетъ завтра, Шмилекъ, завтра.

— Молока... Я хочу молока-а-а...

— Завтра, сыночекъ, завтра... Завтра будетъ и молоко, и супъ... Хорошій супъ, съ мясомъ, съ курицей.

— У меня сердце горить... Молока-а-а...

Ента не отвѣчала.

— Я ѣсть хочу, молока-а...

— Ну ша, ша... ну что дѣлать? ты голоденъ! Всѣ же голодны, всѣ не ѣли... И вотъ дѣдушка старый и больной, и весь день на холодѣ и на дождѣ былъ, и тоже вѣдь ничего не ѣлъ...

Лэйзеръ перевернулся на своемъ ложѣ. Онъ не то всхлипнулъ, не то икнулъ,—и въ носъ ему ударилъ сладостный запахъ гвоздики и лавроваго листа.

М Е Ч Т Ы.

Въ коммерческомъ собраніи играли въ карты. Многочисленныя лампы щедро освѣщали продолговатый, не совсѣмъ опрятный, съ золоченымъ аляповатымъ потолкомъ и еще болѣе аляповатой „малахитовой“ аркой залъ, по которому разбросано было десятка полтора игральныхъ столовъ. Со свѣтомъ лампъ успѣшно боролся табачный дымъ, мутнымъ и душнымъ облакомъ сонно носившійся надъ лысинами игравшихъ. Съ каждымъ часомъ дымъ густѣлъ и дѣлался плотнѣе, и послѣ полуночи залъ напоминалъ баню, въ которую щедрый банщикъ пустилъ черезчуръ много пару. Стоялъ говоръ, глухой и придавленный, и временами слышались рѣзкіе возгласы, то шуточные и веселые, то злобные, ругательные. Было излишне тепло, пахло потомъ и спиртными напитками, и откуда-то снизу, изъ кухни, вмѣстѣ съ яростнымъ шипѣніемъ, доносился еще запахъ чего-то жарящагося.

У всѣхъ сидѣвшихъ въ залѣ и ходившихъ въ немъ были очень хорошіе пиджаки, лоснящееся, какъ фарфоръ, бѣлье, золотые часы и перстни. Это были представители зажиточной, торговой, „пшеничной“ части населенія; они были упитаны, сыты, и можно было подозрѣвать, что міровая скорбь терзаетъ ихъ не ежедневно. Собираясь въ клубъ, господа эти толковали о политикѣ, глубокомысленно пережевывая то, что съ

утра не вполне поняли въ передовицѣ мѣстной газеты, сплетничали, рассказывали нецензурные анекдоты. Но и болтая всякій вздоръ, скабрзный или просто тупой, и заливаясь громкимъ смѣхомъ, они дѣйствовали не безкорыстно: они продолжали свою дѣлеческую работу, тайно слѣдя другъ за другомъ, напряженно вынюхивая нужныя новости, заводя выгодныя знакомства, чутко подхватывая нечаянно оброшенное полезное свѣдѣніе...

У самой арки, отдѣлявшей залъ отъ гостиной, играли въ „шестдесятъ шесть“. Оцѣнщикъ городского ломбарда Краснушкинъ игралъ спокойно, сдержанно, обдуманно. Онъ почти всегда выигрывалъ. На службѣ онъ получалъ восемьсотъ рублей, проживалъ же въ годъ три тысячи, и недостающія деньги добывалъ игрой. Совершенной противоположностью его по манерѣ играть являлся молодой спекулянтъ Тираспольскій; этотъ волновался, нервничалъ, дѣлалъ рѣзкіе жесты, иногда скрежеталъ зубами. Сегодня онъ игралъ особенно нервно. Онъ затѣялъ недавно крупную аферу, и ему предстояло либо захватить огромный кушъ, либо потерять большую часть своего состоянія, дутаго, впрочемъ, и призрачнаго. Говорили даже, что въ случаѣ неудачи ему предстоитъ, вмѣстѣ съ предсѣдателемъ правленія общества взаимнаго кредита, сѣсть на скамью подсудимыхъ... Теперь въ игрѣ онъ искалъ отдыха и хотъ временнаго забвенія,—искалъ и не находилъ...

— Чудачокъ, зачѣмъ волненіе суставовъ допускать? — успокоивалъ Тираспольскаго партнеръ его, Пантелеймонъ Ивановичъ Желдаковъ. — Надо всегда быть спокойнымъ, даже когда человѣку морду бьешь...

Желдаковъ былъ богатый землевладѣлецъ и паромщикъ, славившійся далеко за предѣлами губерніи. Онъ былъ крикунъ, самодуръ, развратникъ и скандалистъ, меценатъ и ругатель, добрякъ и живодеръ.

Цѣлая шайка пѣвковъ присосалась къ его богатству и сосала,—усердно и торопливо; а онъ только добродушно посмѣивался, глядя на ея старанія: „У меня тоже награбленное,—пусть и другіе воруютъ“. Но случилось ему наскочить на какого-нибудь бѣднягу, укравшаго полѣно, и онъ вдругъ вспыхивалъ, зажигался злобной местию, начиналъ таскать провинившагося по судамъ, по слѣдователямъ, по земскимъ начальникамъ, тратилъ на „дѣло“ большія деньги и при этомъ волновался, кричалъ и кипѣлъ, какъ если бы ему угрожало полное разореніе. И только тогда успокаивался, когда добивался для провинившагося высшей мѣры наказанія.

— Законы у насъ слабкіе!—негодовалъ онъ.—Вѣшать бы народъ надо, тогда бы всѣ эти ворюги живо за честный трудъ взялись...

Онъ много жертвовалъ на благотворительныя дѣла, строилъ церкви и пріюты, имѣлъ стипендіатовъ въ Академіи Художествъ и въ консерваторіи, но любилъ „бить морду“, и часто бывалъ за это привлекаемъ къ отвѣту. Обыкновенно онъ отъ обиженныхъ откупался деньгами, часто очень значительными; но однажды пришлось-таки ему отсидѣть шесть недѣль... Онъ объ голову больничнаго эконома разбилъ бутылку съ виномъ, и ни на какія сдѣлки и мировыя эконому потомъ не пошелъ...

— И отсижу!—гремѣлъ озадаченный милліонеръ.—И послѣ отсидки еще шесть бутылокъ на немъ разобью...

Угрозы своей онъ, однако, въ исполненіе не привелъ, а выйдя изъ арестнаго дома, не заѣзжая къ себѣ, отправился къ эконому и сталъ упрашивать его принять должность съ четырехтысячнымъ окладомъ... Экономъ не соглашался. Желдаковъ настаивалъ, убаждалъ, чуть не умолялъ... Когда же экономъ, наконецъ, сдался, Желдаковъ сдѣлался вдругъ грустенъ,

хмурь и холодно вѣжливъ... Экономъ до самой смерти своей служилъ у Желдакова, но онъ оставался единственнымъ служащимъ, не получавшимъ ни повыше-ній, ни наградъ...

Желдакову едва минуло тридцать лѣтъ. Онъ былъ гигантъ по сложенію, лицо имѣлъ ярко-красное, все въ жилкахъ, глаза каріе, „быстрые“. Надъ лбомъ у него, прямо кверху, торчалъ черный, жесткій хохоль, усы тоже закручены были кверху, а съ подбородка свисала небольшая эспаньолка. Онъ одѣвался по модному, и даже очень изящно, но носилъ сапоги бутылками, а на головѣ, зимой и лѣтомъ, кожаный картузь.

— Ъшь мою кровь, пей мое мясо!—кричалъ Желдаковъ силнымъ, но зычнымъ баритономъ, отодвигая къ партнеру выигрышъ.—Наслаждайтесь!

Въ карты онъ игралъ рѣдко, а когда игралъ, любилъ проигрывать, ломаться, „валять дурака“. У столика, гдѣ онъ сидѣлъ, обыкновенно собиралась кучка зрителей, съ завистью въ сердцѣ и съ угодливой улыбкой на лицѣ слѣдившая за выходками миллионера. И въ этотъ вечеръ тоже человѣкъ восемь или десять почтительно жались за его спиной, и позади всѣхъ можно было замѣтить невысокую, тощую фигурку фактора Гершковича. Человѣчекъ этотъ стоялъ какъ-то искривившись и съ болѣзненнымъ блескомъ въ темныхъ, выпуклыхъ глазахъ напряженно смотрѣлъ на ярко сверкавшій на зелени стола продолговатый горбикъ золота... О, какъ нужно было оно ему, это золото!.. И какъ далеко онъ былъ отъ того, чтобы его имѣть!..

Гершковичъ былъ человѣкъ безъ опредѣленныхъ занятій,—одинъ изъ тѣхъ забитыхъ и загнанныхъ человѣчковъ, которыми кишмя кишатъ всѣ города и мѣстечки въ чертѣ еврейской осѣлости. Силенки свои и способности онъ разновременно примѣнялъ въ цѣломъ рядѣ самыхъ разнообразныхъ предпріятій. Скупалъ на желѣзнодорожной линіи хлѣбъ, владѣлъ ма-

слобойнымъ заводикомъ, освѣщаль по подряду горю-
скую слободку керосиновыми фонарями, фабрикова-
халву и шипучія воды... Ротшильдомъ онъ, однако, не
сдѣлался. Покупая хлѣбъ, онъ неосторожно роздалъ
задатки и потерялъ взятое за женой приданое. Масло
бойня его, не застрахованная, сгорѣла. При освѣщеніи
слободки онъ какъ-то обсчитался, и терялъ каждый день
по восьми рублей... Фабрика шипучихъ водъ пошла
недурно, но ее отнялъ у Гершковича компаніонъ его,
онъ же и кредиторъ,—и пришлось фабриканту поста-
вить приказчикомъ къ себѣ же на фабрику... После
этого Гершковичъ уже не поднимался. Торговую дѣ-
тельность свою пришлось ему сократить и навсегда
остаться мелкимъ служащимъ. Когда же онъ терялъ
мѣсто, онъ превращался въ маклера. Маклеровалъ онъ
во всѣхъ сферахъ и во всѣхъ областяхъ. Нужна вамъ
квартира,—найдетъ квартиру. Хочетъ ротмистръ Ух-
омовъ локомобиль на гнѣдого жеребца обмѣнять,—ищетъ
жеребца. Поднимутъ съ рѣчного дна затонувшую баржу
съ изюмомъ и орѣхами, и назначать подмоченныя
грузы въ дешевую продажу—голодный человѣкъ
здѣсь пристроится наровить...

— Чтò, мнѣ плохо, когда изюмъ?—говорилъ онъ.
Или когда жеребецъ? Надо же мнѣ кусокъ хлѣба! Пусто
онъ будетъ и отъ жеребца...

Гершковичъ имѣлъ способность сильно увлекаться,
онъ былъ большой оптимистъ, и воображеніе его раз-
грывалось очень легко. Каждый разъ, когда онъ по-
далъ на новую службу или затѣвалъ новое дѣло, онъ
приходилъ въ большое волненіе и начиналъ рисовать
себѣ самыя радужныя, самыя веселыя перспективы.
Онъ принимался мечтать вслухъ, суетливо и воз-
вѣжденно, и уже видѣлъ себя обладателемъ большаго
капитала или, по крайней мѣрѣ, собственникомъ кру-
паго, доходнаго „дѣла“. Онъ съ горячностью выкла-
дывалъ свои виды и соображенія женѣ и самымъ фам-

еннымъ образомъ общалъ ей всяческое благополучіе комфорта.

— Вотъ увидишь! Теперь ты уже таки увидишь! размахивая руками, восклицалъ онъ.—Я надѣюсь на Бога, что теперь у насъ навѣрное все будетъ очень хорошо.

Жена выслушивала его, выслушивала молчаливо и, роученная долголѣтнимъ опытомъ, отвѣчала одними лишь горькими вздохами... Короткое время спустя, вздыхать начиналъ и супругъ...

Такъ въ судорожномъ метаніи, въ трепетныхъ поспѣхахъ, въ горькихъ лишеніяхъ и кратковременныхъ, радостныхъ мечтахъ проходила жизнь Гершковича... Въ пятьдесятъ лѣтъ человѣкъ этотъ выглядѣлъ совершеннымъ старикомъ: былъ сѣдъ и лысъ, изрытъ морщинами, говорилъ голосомъ разбитымъ и дребезжащимъ въ глазахъ, ввалившихся и потухшихъ, хранилъ въ себѣ впечатленіе непроходящей усталости и тоски...

— У насъ никого нѣтъ,—тихо жаловался Гершковичъ женѣ.—У людей есть родственники, братъ, свать... кто-нибудь и попротезируетъ, пристроить... Мы одиоки... Есть у тебя одинъ дядя, такъ и тотъ по двоимъ кости собираетъ...

И жена его, болѣзненная, унылая женщина, въ отвѣтъ только вздыхала и говорила:

— Плохо... плохо!..

Была когда-то у Гершковичей надежда—сынъ студентъ. Но онъ былъ уволенъ изъ университета и посланъ въ Колымскъ. Была и другая надежда—дочь, окончившая гимназію и уроками поддерживавшая семью. Но у нея быстро развивался туберкулезъ, и уроки пришлось оставить. Больная не могла уже выходить; обложенная подушками, съ трудомъ дыша и кашляя, она долгими часами возилась съ братишкой Борей, который готовила къ экзаменамъ. Мальчикъ три раза держалъ въ гимназію, выдерживалъ на пятерки, но не

попадалъ въ процентную норму и оставался за штатомъ.

— У насъ никого нѣтъ,—жаловался Гершковичъ.— У Эпштейновъ мальчикъ даже четверку получилъ, но за него хлопоталъ генералъ Халявинъ, и его приняли... У насъ никого нѣтъ.

— Никого нѣтъ...—глухо говорила жена.

— Понимаешь ли ты!—съ горькимъ оживленіемъ подхватывалъ старикъ:—вся штука въ томъ, чтобы кто-нибудь былъ... чтобы была стѣна, чтобы было до кого притулиться... Былъ бы у меня, къ примѣру, братъ богатый, или другой кто,—я бы могъ дѣйствовать не хуже чѣмъ всѣ, могъ бы имѣть кусокъ хлѣба. А теперь... теперь мы мучимся... теперь мы одиноки...

И жена его, угрюмая и печальная, уже не отвѣчала, а только вздыхала глубоко...

Золотая медаль дочери была давно заложена, и была уже продана шуба Гершковича, и нужда, что ни день, становилась тяжелѣе и мучительнѣе...

— Пей мое мясо, ѣшь мою кровь!—въ двадцатый разъ восклицалъ Желдаковъ, проигрывавшій безмолвному, сосредоточенному Краснушкину третью сотню.

И добровольная свита, стоявшая позади миллионера, отъ этихъ возгласовъ восхищенно взвизгивала.

— А теперь кости мои грызи!—продолжалъ Желдаковъ,—кишки мои ѣшь, съ лукомъ, съ перцемъ... и печенку мою, и селезенку...

Кружокъ около стола дѣлался шумнѣе и гуще, а выраженіе лицъ—почтительнѣе и хищнѣе... Гершковича оттиснули подальше, къ колоннамъ арки. Онъ стоялъ, поднявъ къ ушамъ плечи, сложивъ на вогнутомъ животѣ ладони, и склонивъ голову набокъ. Жалкая улыбка играла на его лицѣ. Двѣсти тридцать семь рублей проиграно! Вотъ они... вотъ лежать... близко!

Но, съ другой стороны, что, въ сущности, составляет эта сумма? Вотъ близко сидитъ человѣкъ, который можетъ тебѣ дать двѣсти разъ по двѣсти рублей... „Шутка ли: Пантелеймонъ Ивановичъ! Что это игрушка — Пантелеймонъ Ивановичъ? Пантелеймонъ Ивановичъ, когда захочетъ, изъ навоза человѣка сдѣлаетъ!.. Сотни людей живутъ около Пантелеймона Ивановича. Сытно живутъ, спокойно, съ женами и дѣтьми“...

Гершковичъ остороженъ и ш гнулъ впередъ.

— Будь у меня такое счастье, какъ у другихъ, такъ Пантелеймонъ Ивановичъ меня возьмъ бы къ себѣ... Что такое, я не могу дѣлать, что другіе дѣлаютъ?.. Что, это такая хитрая наука?.. Медицина? Инженерство?.. Медицина—я понимаю: докторъ беретъ рубль, а профессоръ двадцать пять. Потому что профессоръ, такъ онъ таки много учился и много понимаетъ. Знать, гдѣ какая жила, гдѣ какая кость, и можетъ сдѣлать такую операцію, что нашимъ коноваламъ и не спилось... Одному американскому банкиру серебряный желудокъ притѣлали... Ну-ка, пусть нашъ Оберемченко сдѣлаетъ серебряный желудокъ!.. Коноваль, рѣзникъ!.. Ну, такъ ризумѣется же, что профессору надо много платить. А Кенигшадъ что? Онъ ученѣ меня? лучше дѣло понимаетъ? Тоже шаркастый еврейчикъ, какъ и я, нѣ. Ко белякахъ университетъ окончилъ... И вотъ же, онъ у Пантелеймона Ивановича получаетъ четыре тысячи, я на шесть воруетъ... Я бы, напримѣръ, ни копѣйки не воровалъ... Боже меня сохрани! Четырехъ тысячъ мнѣ мало? А двухъ мнѣ мало? Господи милосерднй! Развѣ я богатства хочу? Ой, Боже жь мой, Боже жь мой! Кажется, если бы только было мое семейство сыто... если бы только обезпечить ему и семь хлѣба...

Гершковичъ махнулъ рукой. Въ ссорѣ съ нимъ его засверкала влага, и онъ сталъ далеко изъ слуху и слюну...

— Вотъ-те и развѣ! за развѣ!... (онъ махнулъ рукой)

быть, я выигралъ? Шесть карбованцевъ?.. А ну-ка, панове, какъ это вышло?

Милліонеръ по обыкновенію „куражился“ и дѣлалъ видъ, будто не понимаетъ игры. Ему стали объяснять — человѣкъ десять сразу.

— Такъ, такъ...—говорилъ онъ.—Ладно, понялъ музыку!.. Ну, сдавайте дальше!.. Скоро, панове, я разбогатѣю. Тираспольскаго и Краснушкина обыграю дочиста и на выигранныя деньги все смете съ привозной площади скуплю... Человѣкъ, волокита коньяку сюда!.. А теперь, панове, я съ десятки пойду...

— Хе-хе-хе!—вмѣстѣ со всей свитой смѣялся Гершковичъ. И хоть никто на него не смотрѣлъ, старался изобразить, на лицѣ своемъ радостное восхищеніе. Онъ сдѣлалъ еще полшага впередъ и тихонько просунулъ голову между подрядчикомъ Ксантопуло и ростовщикомъ Лисанскимъ.

— Вотъ если бы Богъ мнѣ помогъ какъ-нибудь познакомиться съ Пантелеймономъ Ивановичемъ!—промелькнуло вдругъ у старика. И отъ мысли этой его такъ и передернуло.—А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ... вѣдь если бы... Если бы удалось какъ-нибудь... обратить на себя вниманіе Желдакова... А?.. Вѣдь милліонеръ этотъ ужасно добрый человѣкъ... и щедрый... Надо только знать, какъ къ нему подойти... Надо умѣть... Умѣть найти такое словечко, шуточку какую-нибудь... Онъ любить шутки... Таковую себѣ выходку какую-нибудь... Только вотъ: какую? какъ?

— А люди умѣютъ,—горестно думалъ Гершковичъ.—Люди имѣютъ въ себѣ такой талантъ... А я, я таки болванъ. Я таки не понимаю, какъ пристроиться... А мое семейство отъ этого должно страдать... Я неспособный, я лапдакъ, негодный... кошкѣ хвостъ привязать не сумѣю... А дѣти мои отъ этого всю жизнь терпятъ.. Только братъ можетъ помочь? Родственникъ?.. Пантелеймонъ Ивановичъ лучше всякаго родственника...

Но только что? Чего я хочу? Чтобы онъ вотъ такъ вотъ пришелъ и сказалъ: „Господинъ Гершковичъ, ваше благородіе, негодно ли пожаловать: вотъ вамъ, пожалуйста, замѣчательное мѣсто“... У, корова глупая! Самому надо!.. Но я не умѣю... Я не знаю... Я болванъ... И я боюсь... ужасно боюсь!..

Гершковичъ вздрогнулъ и растерянно оглянулся. Его окружали особы знатныя, львы биржи, величавые и властные. Они были членами собранія, хозяевами его, они держались здѣсь свободно, гордо, непринужденно. Для него же, Гершковича, собраніе находилось въ нѣ-которомъ родѣ внѣ черты осѣдлости. И онъ только прокрался въ него, ища заработка, прокрался, благодаря снисходительности швейцара.

— Кто я тутъ такой? Важный графъ?—думалъ старикъ.—Сейчасъ могутъ подойти къ этому графу, взять его подъ ручки и вывести вонъ... Я, положимъ, теръ, теръ скюртукъ бензиномъ, а онъ же все-таки какъ обмокнутый въ пятна... Неприлично!.. И воротникъ рубахи у меня ажъ сѣрый... Таки Лисанскому или господину Ксантопуло непристойно, чтобы въ такомъ костюмѣ людей впускать въ собраніе... Еще какъ могутъ вывести, ой-ой-ой!.. Развѣ не случилось?..

Гершковичъ сжался и замеръ.

— Нѣтъ, ничего!—встряхнулся онъ черезъ минуту.—Теперь имъ не до меня: всѣ на игру смотрятъ. Не надо бояться,—никто меня не тронетъ. А Пантелеймонъ Ивановичъ тоже не тронетъ... Нечего его бояться... Что, онъ меня съѣстъ? Пантелеймонъ Ивановичъ людей не ѣстъ... Онъ очень добрый человѣкъ... и еврея любить... И онъ таки въ тысячу разъ лучше нашихъ евреевъ, ей-Богу!.. Что, онъ не лучше господина Гольдмана? Господину Гольдману я вымаклеровалъ помѣщеніе подъ контору,—и какое помѣщеніе! на Соборной улицѣ, четыре большія комнаты и мраморная лѣстница съ вестибюлемъ, за пятьсотъ двадцать рублей,—и онъ

мнѣ за это ничего не далъ. Прогналъ вонъ... Вотъ онъ такъ-таки грабитель... Если бы я былъ градоначальникъ! я бы съ нимъ здорово разсчитался. Я бы ему задалъ. Ого-го!.. Я бы, напримѣръ, позвалъ его къ себѣ и сказалъ: „Заплати, арестантъ, бѣдному человѣку за труды. Онъ бѣгалъ цѣлый мѣсяцъ, пока упросилъ полковника сдать квартиру подъ контору. а ты хочешь нашармака? Заплати! Все заплати! а то я тебя въ двадцать четыре часа“... Ухъ, я бы ему задалъ! Онъ бы у меня дѣтямъ своихъ дѣтей заказалъ народъ обижать... Ну, а Ксантопуло развѣ лучше? Ему развѣ не слѣдуетъ также?.. Понимаете ли: самъ послалъ за мной, отговорилъ отъ мѣста у Оберемченки и сдѣлалъ смотрителемъ при постройкѣ; а потомъ, когда частный приставъ сталъ хлопотать за своего шурика и надо было шурика этого пристроить—такой манеръ взятки давать! - то меня выгналъ, и еще сдѣлалъ придирку, что я щепки ворую... Я—ворую!.. Ой, Боже мой, Боже мой!.. Вѣдь сердце все въ язвахъ, вѣдь душа отъ оскорбленія и боли лопается,—а цыть! молчи!.. Еще нужно молчать!.. Нужно набрать въ ротъ воды и молчать!.. А то же Ксантопуло можетъ тебя всегда придушить... Что долженъ дѣлать бѣдный человѣкъ, если не молчать?.. Но если бы я имѣлъ власть, я бы имъ показалъ... Я бы, напримѣръ, такое сдѣлалъ...

Добрыхъ пять минутъ отводилъ душу Гершковичъ. Онъ закрылъ навсегда контору Гольдмана, выслалъ его вонъ изъ города и возбудилъ противъ него преслѣдованіе за подкупъ чиновниковъ. Онъ лишилъ всѣхъ подрядовъ Ксантопуло и отнялъ у него агентуру банка. Расправился съ обидчиками на славу. Потомъ отъ мечтаній опять вернулся къ дѣйствительности и снова сталъ думать о голодной семьѣ...

— Зима еще только начинается... Какъ мы доживемъ до Пасхи? Враги мои, чтобы такъ умѣли дышать, какъ я умѣю на это отвѣтить... Выбросать вонъ изъ

квартиры... прямо на улицу... на снѣгъ... А дочь такъ больна... Уже я ничего не могу дѣлать... Старъ, боленъ... Не имѣю больше силъ биться... Найди я какое-нибудь занятіе, мѣсто, я могъ бы еще работать. А мучиться вотъ такъ вотъ дальше уже невозможно... Не могу видѣть страданія семьи... У меня сердце лопнетъ, я чувствую это... Ну, и что же тогда станется съ дѣтьми? Боже мой, Боже мой!

Ростовщикъ Лисанскій отправился къ буфету, и Гершковичъ занялъ его мѣсто. Красная шея Желдакова, сверху окаймленная черной щетиной, а снизу охваченная бѣлымъ лежащимъ воротникомъ, такъ и рѣзнула его глаза...

— Вотъ человѣкъ... и онъ все можетъ, — думалъ старикъ.—Онъ можетъ насъ спасти... прямо, какъ тонущихъ изъ воды вытащить... Если бы только онъ захотѣлъ... если бы замѣтилъ меня... Господи, какъ у меня бьется сердце!

Гершковичъ приложилъ обѣ ладони къ лѣвой сторонѣ груди.

— Ужасно бьется... Когда горѣла маслобойня, тоже билось, но не такъ. Должно быть, это съ годами приходится... отъ старости...

— Вашъ ходъ, Пантелеймонъ Ивановичъ,—сказалъ Тираспольскій.

— Я пасъ!—отозвался Желдаковъ.—Бубны? Ладно! Ъшь мою кровь...

Милліонеръ сопѣлъ, фыркалъ, отпускалъ остроты. Публика смѣялась. Тираспольскій сверкалъ золотомъ пенснэ и порывисто отгребалъ въ сторону, за ухо, падавшіе на глаза волосы... Гершковичъ сдѣлалъ еще шагъ впередъ и сталъ у самой спины Желдакова. Лихорадочно горѣвшіе глаза его устремлялись то на профиль милліонера, то на раскрытыя вѣеромъ карты. Дерзкая мысль сверкнула у старика. Сердце его уже не билось, и странное онѣмѣніе разлилось по всему

тѣлу. Онъ почувствовалъ въ себѣ какую-то новую силу. Рѣшимость, твердая какъ сталь, овладѣла имъ, и, можетъ быть, первый разъ въ жизни испытывалъ онъ отвагу и смѣлость. Онъ твердо стоялъ на своемъ мѣстѣ,—хоть и заслонялъ собою такую особу, какъ экспортеръ Эпштейнъ,—и ужъ не сошелъ бы отсюда, даже если бы на него лили кипяткомъ...

— А теперь... а теперь я пойду...—вслухъ размышлялъ миллионеръ, выпучивъ глаза и перебирая среднимъ пальцемъ вѣеръ картъ.—А теперь я пойду...

— Пойдите съ червей!—таинственно произнесъ Гершковичъ, внезапно склонившись къ уху Желдакова и тотчасъ же отбросившись прочь.

— Ась?

Миллионеръ рывкнулъ это „ась“ съ такой силой, какъ если бы адресовалъ его людямъ, стоящимъ на другомъ берегу широкой рѣки. И тотчасъ же раздался громкій хохотъ. Гершковичъ испуганно вздернулъ плечами, и сердце его, точно разбуженное, снова мучительно забилося.

— Ну, пусть такъ, пойдѣмъ съ червей,—не оглядываясь на совѣтчика, согласился Желдаковъ.—Попробуемъ пойти, какъ умные люди велятъ...

— Вы выиграли!—нервно нажимая на носъ пенснэ, объявилъ Тираспольскій.—Сдавайте!

Гершковичъ стоялъ неподвижно и какъ-то не вполне ясно понималъ, что происходитъ передъ нимъ. Табачный дымъ... свѣчи... что-то зеленое... и красное... и золото... и гудящій баритонъ: „Какъ умные люди велятъ“... Смутная радость проливалась въ его сердце, и чувство опасности охватывало его, и рвалось сердце куда-то прочь, вверхъ; а ноги между тѣмъ крѣпче нажимали полъ и точно вrostали въ него... „Пошелъ, какъ я сказалъ... и выигралъ... послушался... меня послушался“...

И Гершковичъ вдругъ почувствовалъ, что онъ не „заяцъ“ больше. Теперь онъ былъ уже нуженъ здѣсь,

уже онъ находился здѣсь по дѣлу, по праву призванный и признанный прочной и законной властью, и выгнать его изъ собранія не посмѣлъ бы теперь ни господинъ Гольдманъ, ни экспортеръ Эпштейнъ, ни самъ Ксантопуло.

— Пантелеймонъ Ивановичъ! — снова раздался умоляющій голосъ Гершковича, — пойдите теперь съ трефы!

— Съ трефы? — Желдаковъ медленно повернулся и поднималъ голову къ Гершковичу. Съ минутой онъ смотрѣлъ на него молча. — Пойдите, однако!.. А кто же вы такой будете?

— Я? Кто я такой буду?

„Ну вотъ!.. на этомъ стоитъ все... Добился до него... заговорилъ съ нимъ... Обратилъ на себя вниманіе... Самъ Богъ мнѣ помогаетъ... Теперь надо отрекомендоваться... Надо произвести хорошее впечатлѣніе... Но надо шуточку... онъ любить... шуточку, комедію какую-нибудь“...

Испарина покрыла лицо и все тѣло старика.

— Я?.. Кто я такой?.. Я, Пантелеймонъ Ивановичъ... — Онъ, давась, проглотилъ слюну. — Я — манчжурская принцесса...

Тираспольскій сердито нахмурился. А добровольная свита, стоявшая у стола, смотрѣла съ выжидающимъ недоумѣніемъ: она не знала, какъ отнесется къ Гершковичу Желдаковъ.

— Это здорово: „манчжурская принцесса!“ — улыбаясь проговорилъ миллионеръ. — Это онъ, панове, ловко. Ей-Богу! Но иначе... почему это вы, манчжурская принцесса, полагаете, что, напримѣръ, надо мнѣ пойти съ трефы? съ трефы, а не съ бубень?

Довольный, онъ съ любопытствомъ и съ лаской поглядывалъ то на Гершковича, то на публику.

„Если Богъ захочетъ мнѣ помочь... и онъ опять послушается... и я опять угадаю“... проносилось у старика...

— Пантелеймонъ Ивановичъ! — возопилъ онъ. — Я васъ прошу, я васъ очень прошу: не надо съ бубенъ, не надо,—пойдите съ трефы!

— Гмъ!

Желдаковъ благодушно усмѣхаясь, оскалилъ крупные, бѣлые зубы. Глаза его, выражавшіе веселость и ласку, медленно обошли всѣхъ присутствующихъ и потомъ остановились на Гершковичѣ.

— Знаете, мадамъ манчжурская принцесса, — не торопясь заговорилъ Пантелеймонъ Ивановичъ. — Тамъ пойду ли я съ бубенъ или пойду съ трефы, это я посмотрю; а вотъ вы, къ примѣру, пока что, и на всякій случай пойдите вы къ...

Взрывъ оглушительнаго, радостнаго хохота покрылъ окончаніе фразы миллионера. Вся свита такъ и взревѣла отъ восторга, и даже мрачный Тираспольскій ухмылялся. Гершковичъ же мгновенно оцѣпенѣлъ, руки его упали книзу, ротъ раскрылся и въ глазахъ застыло выраженіе дикаго страха. Мелкія капли пота быстро поползли по щекамъ его и по лбу... „Пропало, все пропало!“... Но черезъ мгновеніе, другія мысли и другія чувства овладѣли душой этого человѣка: онъ вдругъ разразился хохотомъ, и такимъ громкимъ и визгливымъ, что голосъ его, какъ голубь надъ воробьями, взвился надъ ржаніемъ публики.

— Ой-ой-ой, Пантелеймонъ Ивановичъ! Что только Пантелеймонъ Ивановичъ выдумаютъ!..—завизжалъ онъ въ восторгѣ. — Что только Пантелеймонъ Ивановичъ могутъ сказать!..

Желдаковъ весело смѣялся вмѣстѣ со всею публикой.

— Да, братъ, сказать могу... Ну, стало быть, мадамъ принцесса согласна? — освѣдомился онъ и похлопалъ старика пониже поясицы. — Довольна, стало быть? Ну, значить, и отлично! Уговоръ, старичокъ, дороже денегъ: я пойду съ трефы, а вы пойдите къ...

Острота была повторена.

Люди, привлеченные смѣхомъ, столпились около остряка и со счастливыми лицами хохотали во все горло. Раздавались возгласы: „Принцесса! манчжурское сіятельство!“ слышались вопросы: „Что такое? въ чемъ тутъ дѣло?“ И рядомъ съ ними не переставая звенѣли дополненные, усовершенствованные варианты Желдаковской остроты. И весь этотъ шумный хоръ восхищенія и восторга все-таки продолжалъ покрывать ликующій голосъ Гершковича.

— И что только Пантелеймонъ Ивановичъ могутъ сказать, га? Замѣчательно!.. Это таки только они одни могутъ такое выдумать!

— Многоуважаемая манчжурская принцесса!—гремѣлъ Желдаковъ.—По случаю нашего знакомства, позвольте съ вашимъ сіятельствомъ выпить коньяку! Ужъ если мы съ вами познакомились, то надо намъ выпить... по стакану. Манчжурскія мадамши всегда коньякъ стаканами лакаютъ... Вѣрно, голодрыга, я говорю или нѣтъ? Онъ, панове, — обернулся Желдаковъ къ публикѣ,—морочить мнѣ голову: „Пойдите ж'трефы, пойдите ж'трефы!“ А я отвѣчаю: „Я, молъ, пойду съ трефы, а ты пойдѣ къ...“

Хохоть возобновлялся. Онъ продолжался, — и уже всѣ въ собраніи, и въ главномъ залѣ, и въ обѣихъ гостиныхъ, и въ буфетѣ, на разные лады варьировали счастливый Желдаковскій каламбур...

Подъ утро, Гершковичъ, полураздѣтый, въ однихъ панталонахъ и въ носкахъ, возбужденно шагаль по своей спальнѣ.

— То-есть, это тебѣ шутка — Пантелеймонъ Ивановичъ? Это игрушка? — стараясь сдерживать голосъ, чтобы не разбудить дѣтей, объяснялъ онъ присѣвшей на кровати женѣ. — Я съ нимъ такъ познакомился те-

перь... онъ меня такъ любить... Я всегда говорилъ, что мы одиноки, что намъ не до кого притулиться. А теперь—вотъ увидишь уже!..

Волненіе счастливаго человѣка все возрастало. Онъ размахивалъ руками, моталъ головой, трепалъ свою сѣдую бороду, а глаза его метали искры...

— Что я буду у него дѣлать? Ого-го-го-го! У него заняты всѣ мѣста? У Пантелеймона Ивановича заняты? У него триста тысячъ мѣстъ! Пошлетъ меня на линію, агентомъ при баржахъ сдѣлаетъ, управляющимъ на винокурнѣ... Пантелеймонъ Ивановичъ! Желдаковъ!

Въ сосѣдней комнатѣ раздался кашель, гулкій, затяжной. Гершковичъ замеръ и сталъ слушать. Кашель становился громче, и казалось, что отъ него что-то рвется и трескается въ груди и въ горлѣ. Гершковичъ направился въ комнату дочери.

Свѣчка горѣла на комодѣ и слабо освѣщала желтоватымъ свѣтомъ пылавшее въ лихорадкѣ лицо больной. Длинная тѣнь отъ дѣвушки падала на закрытую дверь и перегибалась на потолокъ; отъ кашля тѣнь раскачивалась и трепетала и огромная голова ея неустанно и безшумно билась объ стѣну...

— Просто несчастье, папаша!—заговорила больная, когда кашель наконецъ утихъ.—Боря передѣлалъ всѣ задачи по тремъ задачникамъ, а теперь—переутомился, что ли, —ничего не понимаетъ!.. Пустяковъ, и то не соображаетъ. Не знаю, что будетъ!..

— Хорошо будетъ...—убѣжденно и многозначительно отвѣтилъ Гершковичъ.—Все хорошо будетъ!.. Ты, доченька, лѣтомъ будешь жить въ деревнѣ, — и не въ какой-нибудь, а въ экономіи Пантелеймона Ивановича. Поправишься и выздоровѣешь... А Борьку теперь въ гимназію уже примутъ,—старикъ лукаво прищурился,—хоть пусть на однѣ четверки держитъ,—примутъ!

Въ горѣвшихъ глазахъ чахоточной появилось недоумѣніе, почти испугъ.

— Что такое ты говоришь, папаша? Откуда это все?

— Оттуда, доченька, что въ собраніи я познакомился съ Пантелеймономъ Ивановичемъ. Онъ очень меня уважаетъ. И я надѣюсь на Бога, что теперь у насъ уже навѣрное все будетъ очень хорошо.

Въ спальнѣ, уставившись большими глазами въ открытую дверь, жена Гершковича уныло качала головой.

ДОВОРОЕ ДѢЛО.

Видѣніе стояло неподвижно и рѣшительно, и Родіону Павловичу сразу стало понятно, что оно уже не уйдетъ и своего добьется.

Холодный, липкій потъ выступилъ на костлявомъ тѣлѣ старика и крупными, какъ бусы, каплями искрился на узкомъ лицѣ и остроконечной лысинѣ. Родіонъ Павлычъ хотѣлъ что-то сказать, о чемъ-то спросить, хотѣлъ перекреститься, но ужасъ сковалъ и губы его и руки. Онъ лежалъ беззвучный, недвижимый, до середины груди закрытый толстымъ ватнымъ одѣяломъ, и глаза его устремлены были въ тотъ промежутокъ, между конторкой и кассой, гдѣ изъ густого, холоднаго сумрака выдѣлялась грузная фигура двѣ недѣли тому назадъ схороненной Аграфены Петровны.

— Это сонъ... это мнѣ снится... — пробовалъ подумать старикъ.

Но было слишкомъ очевидно, что это не сонъ. И мелкая, частая дрожь, пробѣгавшая по всему тѣлу и острыми уколами останавливавшаяся въ ножныхъ пальцахъ, свидѣтельствовала ясно, что сна нѣтъ, и что весь этотъ ужасъ происходитъ на самомъ дѣлѣ.

Съ Аграфеной Петровной Родіонъ Павлычъ Тризна прожилъ сорокъ два года, и за весь этотъ періодъ не только ни разу не испытывалъ передъ ней страха, но наоборотъ, постоянно вселялъ страхъ женѣ.

Родионъ Павлычъ былъ человѣкъ небольшого роста, тщедушный, слабый, съ маленькими ручками, со впалой грудью, со слабымъ, почти женскимъ голосомъ; но держалъ онъ себя такъ, что его побаивались многіе, и больше всѣхъ Аграфена Петровна.

Эта крупная, плотная, съ виду такая властная женщина, съ мохнатыми, сошедшимися у переносья бровями, съ многочисленными бородавками на мясистомъ носу и щекахъ, при мужѣ не смѣла и говорить, и всегда какъ-то стиралась и стушевывалась. Онъ командовалъ ею, не тратя словъ, повелѣвалъ одними взглядами, поднимая и опуская вѣки, и шевеля глазами,—и ужъ она знала, по движенію глазъ, по ихъ блеску, нужно ли ей выйти или оставаться, разрѣшается ли ей говорить, или надо на полусловъ умолкнуть. Точно исходили отъ вѣкъ и отъ глазъ Тризны длинныя, сильныя щупальцы и, незамѣтно для другихъ, двигали старухой, приближали ее или отстраняли, поднимали со стула и выталкивали вонъ, или, лежа на губы, мгновенно обрывали рѣчь...

Родионъ Павлычъ никогда жены своей не билъ, никогда на нее не кричалъ, ея не бранилъ, — и все-таки она была полна той заботы, того чувства трусливой покорности и робкаго, нѣмого послушанія, которыя обыкновенно питаютъ слабые, безвольные люди только передъ буйствующими деспотами... Это чувство вошло въ нее, въ молодую дѣвушку, въ тотъ день, когда она впервые увидѣла своего будущаго мужа, и угасло сорокъ два года спустя, вмѣстѣ съ послѣднимъ вздохомъ...

Особенной пронизательностью женщина эта не отличалась, къ дѣламъ мужа никакого касательства не имѣла, но знала все-таки очень хорошо, лучше чѣмъ кто бы то ни было въ городѣ, что наживается Родионъ Павлычъ нечистыми путями, что многіе рубли его облиты человѣческой кровью и слезами. Бѣдная женщина

отъ этого сильно страдала; но заикнуться о своихъ страданіяхъ мужу не смѣла, и только усерднѣе клала поклоны передъ образами, да строже постилась, да молилась страстнѣе... Когда, за два года до ея смерти, Родіонъ Павлычъ, за подкупъ свидѣтелей въ дѣлѣ о Купріяновскомъ наслѣдствѣ, попалъ подъ судъ, Аграфена Петровна долго плакала одиноко въ своей спальнѣ и молила Владычицу дать ей силы поговорить съ мужемъ рѣшительно. Ей хотѣлось сказать ему что-то о душѣ, о совѣсти, о святыхъ угодникахъ, о страшномъ судѣ... Она набралась мужества и послѣ двухдневнаго поста и долгаго, одинокаго замиранія зашла къ старику въ кабинетъ... Но на порогѣ она споткнулась, остановилась, раскрыла ротъ—и окаменѣла. Тризна поднялъ на нее глаза,—въ нихъ блеснуло что-то въ родѣ догадки. Онъ не разгнѣвался, не смутился, не выразилъ удивленія. Можно было даже подумать, что онъ ожидалъ визита жены. Онъ смотрѣлъ на нее холодно, безстрастно, молча... И длинныя щупальцы, исходившія изъ зрачковъ Родіона Павлыча, медленно перекинулись черезъ всю комнату, беззвучно, мягко легли женщинѣ на плечи, повернули ее и тихонько вытолкали прочь...

И съ этого дня къ чувству пугливой покорности, жившему въ душѣ Аграфены Петровны, примѣшалось еще другое чувство.—странная смѣсь возмущенія, тихой жалости и давящаго, беспросвѣтнаго отчаянія...

И съ этимъ выраженіемъ жалости и отчаянія на лицѣ стояла теперь давно схороненная Аграфена Петровна въ спальнѣ своего мужа, въ промежуткѣ между конторкой и кассой.

„Это дико... это бредъ... Это безумное ребячество“... хотѣлъ сказать себѣ Родіонъ Павлычъ. Но ужасъ, объявившій его, былъ такъ силенъ, что съ похолодѣвшихъ, перекошенныхъ губъ срывались только неопредѣленные, сдавленные стоны... И когда стоны замерли, въ

сѣромъ, предразсвѣтномъ воздухѣ спальни слышался какой-то жесткій шелестъ, и Родіону Павловичу показалось, что изъ шелеста этого какъ бы складываются какія-то слова...

— Что?.. Что нужно?..—вскричалъ старикъ.

Шелестъ сдѣлался гуще, опредѣленнѣе, и точно хрипѣніе умирающаго, изъ тѣснаго промежутка между конторкой и кассой, гдѣ стояло видѣніе, донеслось:

— Доброе дѣло... Нужно, чтобы ты сдѣлалъ доброе дѣло...

Холодная волна обдала стараго человѣка, она влилась къ нему подъ черепъ и здѣсь остановилась, превращенная въ льдину.

Тяжелый сумракъ въ спальнѣ сдѣлался прозрачнѣе, уже рисовались контуры мебели, и цвѣта предметовъ, до сихъ поръ однообразно-сѣрые, стали понемногу опредѣляться. На мутномъ фонѣ грязноватыхъ обоевъ изогнулись кривыя прутья желѣзнаго умывальника; рядомъ съ ними выступили два вѣнскихъ стула,—одинъ съ продавленнымъ сидѣніемъ, такъ что соломенки торчали на подобіе рыбьихъ костей. Дальше была бѣлая дверь, сдержанно блиставшая холоднымъ блескомъ, и за ней, рядомъ съ конторкой, на высокихъ, прямыхъ ногахъ, стояла могучая, желѣзная касса, черная, съ мѣдными кнопками и ручками.

Просыпаясь, Родіонъ Павлычъ любилъ оставаться нѣкоторое время въ постели и глядѣть на это массивное и вѣрное прибѣжище, гдѣ, огороженные пудовыми желѣзными стѣнками, покоились результаты его долголѣтней работы. Глядя на тяжелую дверь кассы, на свѣтлыя кнопки ея, онъ чувствовалъ себя и умнымъ, и сильнымъ, и независимымъ, и сердце его переполнялось гордостью и какимъ-то мстительнымъ злорадствомъ при мысли, что на земномъ шарѣ только ему одному извѣстно, какъ манипулировать этими кнопками. И онъ любилъ свои кнопки чувствомъ нѣжнымъ и

добрымъ и къ тяжелой двери кассы питаль глубокую благодарность. Касса была его подругой, доброй, вѣрной, бесконечно преданной; она была его вдохновеніемъ, его опорой, — единственной, но зато такой, что другихъ уже и не нужно. Когда онъ бываль въ хорошемъ настроеніи, онъ хитро и ласково ей улыбался, подмигиваль, и касса отвѣчала ему тѣмъ же, и тоже ухмылялась, лукаво и многозначительно. Случалось, что онъ подходилъ къ своей подругѣ, хлопаль ее по плечу и переполненный радостнымъ волненіемъ начиналь тихонько напѣвать. Тогда касса оставалась серьезной и безстрастной; порою же становилась еще строже и внушительнѣе, и всѣмъ холодомъ своей стали, всею твердостью своего плеча отрезвляла старика, и возвращала его къ сосредоточенной и сумрачной дѣловитости...

Въ это утро, придя въ себя, Тризна тоже сидѣль на кровати, но смотрѣль не на кассу, а въ сторону отъ нея, въ широкое венеціанское окно. День начинался недобрый, пасмурный и сырой. Темныя облака тѣснились надъ крышами, строились, вытягивались, соединялись, расходились, сбивались вмѣстѣ вновь, — и все это съ какою-то загадочной сосредоточенностью, въ тяжеломъ и грозномъ молчаніи. Казалось, черное небо готовится къ тайному и страшному дѣлу, къ злой, беспощадной расправѣ. Опостылѣли небу люди на землѣ, разгнѣвали и озлобили своими неправедными дѣлами, и теперь оно готовить для человѣка искупленіе и кару и посылаетъ эти мрачныя полчища тяжелыхъ облаковъ, чтобы его раздавить и уничтожить...

Часы пробили семь. Въ восемь Тризна назначилъ свиданіе правитель канцеляріи портового управленія. Надо было столковаться и сторговаться насчетъ того, чтобы строительный матеріаль, который поставляль Родіонъ Павлычъ, принималь не Кошкинъ, который че браль, а Николай Иванычъ. Но Тризна, хотя о сви-

даніи этомъ не забыть, продолжалъ сидѣть неподвижно на постели и мутными глазами все смотрѣлъ въ окно, на грозное небо.

— Доброе дѣло...—тихо прохрипѣлъ онъ, съ трудомъ расклеивая губы. — Аграфена Петровна доброе дѣло требуетъ... А какое?.. А зачѣмъ?..

День уже установился: съ улицы доносилась чья-то лѣнивая, медленная, точно озябшая брань; стуча пустыми ведрами, прошелъ мимо окна водовозъ; промелькнула сутуловатая фигура спѣшившаго въ гимназію учителя Короткевича... На нѣсколько мгновеній порѣдѣли облака на небѣ и сдѣлалось свѣтлѣе; но въ глазахъ Родіона Павлыча было такъ темно, а на сердцѣ такъ жутко, точно онъ не утромъ сидѣлъ на собственной постели, а въ глухую полночь бродилъ по отдаленному кладбищу. Аграфена Петровна требуетъ добраго дѣла. Такъ вотъ, стало быть, что означаетъ то обстоятельство, что со дня своей смерти она разъ пять снилась Родіону Павлычу! Сперва какъ-то смутно рисовалась, и даже было трудно ее узнать, а потомъ все яснѣй и опредѣленнѣй дѣлалась, и строже было ея лицо. И вотъ дошло до того, что и заговорила... И очевидно, это не конецъ еще, не въ послѣдній разъ она пришла. Не можетъ успокоиться душа, и бродить по ночамъ... Да и откуда возьмется душѣ покой? откуда?

Родіонъ Павлычъ сталъ припоминать прошлое своей жены. Ничего, никакихъ злыхъ дѣлъ за ней не было. Добрыхъ не было, но и зла она никому не причиняла. И все-таки покоя нѣтъ. Что же въ такомъ случаѣ ждетъ его самого, Родіона Павлыча?.. Пожалуй, что даже Аграфена Петровна тоже изъ-за него теперь, за его грѣхи, мучается. Чего же ужъ ему ждать!

Одѣяло соскользнуло на колѣни старика. Подбирая его, Родіонъ Павловичъ случайно взглянулъ на свою голую грудь, на руки съ отвернувшимися рукавами.

Грудь впалая, видны ребра, руки дрожать и весь онъ дрожать... Это отъ слабости, отъ проведенной безъ сна ночи, но главнымъ образомъ отъ старости: вѣдь къ семидесяти подходитъ уже... Старость, дряхлость, скоро смерть. Богу отвѣтъ давать надо. За все отвѣчать... Тризна сталъ вспоминать, за что именно придется отвѣчать,—и вспоминалъ долго. Вся жизнь полна была грѣховъ, тяжкихъ, страшныхъ грѣховъ.

Сколотилъ онъ капиталъ, почти милліонъ, и все нечистыми путями. Началъ совсѣмъ маленькимъ чело-вѣчкомъ, съ овсяной лавочки. Обмѣривалъ, обвѣшивалъ. Принималъ краденныя вещи; жилъ съ женой пріятеля и одновременно съ сестрой ея жилъ... Потомъ лавочку свою поджегъ, получилъ тысячу двѣсти рублей страховой преміи; а семь квартирантовъ въ домѣ погорѣли, и они не получили ничего... Расширилъ онъ свою торговлю, сталъ маленькіе подряды брать. Тутъ генеральша одна старая протекцію оказывала, а онъ—парень молодой былъ, лицомъ пригожій—съ генеральшей жилъ... Противная старуха была, мерзкая... Появились свободныя деньги, сталъ отдавать въ ростъ и брать проценты немилосердные... Подъ вещи давалъ, подъ закладныя давалъ, и такъ опутывалъ должниковъ, что вотъ теперь состоить владѣльцемъ двѣнадцати домовъ и четырехъ имѣній... При подрядахъ постоянно обкрадывалъ казну. Шесть человѣкъ изъ-за него въ ссылку ушло, а онъ вывернулся... Многихъ разорилъ, многихъ по міру пустилъ, а фонъ-Майеръ, у котораго отнялъ имѣніе, изъ-за него застрѣлился... И зачѣмъ было это дѣлать? Для чего, для кого? Самъ онъ живетъ скупю, просто, и роскоши терпѣть не можетъ, роднымъ не помогать, дѣтей, можно сказать, нѣтъ. Маша умерла отъ чахотки, другая дочь, Елена, уѣхала учиться и отца знать не хочетъ, никогда ему не пишетъ. Единственный сынъ Антонъ—пьяница босякъ,—пропадаетъ въ ночлежкахъ, въ притонахъ, и если до-

мой явится, то для того, чтобы устроить скандалъ и обругать отца послѣдними словами... Зачѣмъ было копить, зачѣмъ было обирать людей, грабить?..

Родионъ Павлычъ пилъ чай, перелистывалъ гроссбухъ, отбиралъ векселя, которые надо опротестовать, потомъ завтракалъ, читалъ письма—и все это дѣлалъ вяло, безъ интереса, и мысли его были далеко отъ того, что онъ дѣлалъ. Чувствовалъ онъ легкій жаръ, ноги дрожали, дрожали руки, и мутно было въ глазахъ. Почему-то все вспоминалась церковная служба, горѣли свѣчи, и пѣніе пѣвчихъ, отдаленное и печальное, непрерывно звучало въ ушахъ.

Часовъ около двухъ Тризна одѣлся, поѣхалъ въ банкъ, а оттуда на пристань. У моста стоялъ „Южанинъ“, большой, желтый пароходъ. Его владѣлецъ запутался въ долгахъ, пароходъ на-дняхъ долженъ былъ сдѣлаться собственностью Тризны—и Родионъ Павлычъ смотрѣлъ на свое будущее добро и хотѣлъ испытывать радость. Но радости не было, а было утомленіе, досада и тайный страхъ; хмурились брови и все хотѣлось вслухъ проговорить: „Зачѣмъ мнѣ?.. Съ собой вѣдь не унесешь“... И опять горѣли свѣчи, и опять слышалось печальное пѣніе пѣвчихъ, и когда по пароходной палубѣ, около дымившей трубы, раскачивая большимъ узломъ, прошла толстая баба, Родиону Павлычу казалось, что это не узелъ и не женщина, а отецъ Іона размахиваетъ кадиломъ, и изъ кадила идетъ этотъ мутный, густой, упорно книзу падающій дымъ... „Доброе дѣло“... проносилось у старика. „Доброе дѣло сдѣлать... Какое же?.. И для чего?“...

Физическая вялость и слабость духа возрастали; дрожали больше пальцы и колѣни, и глухое раздраженіе охватывало сердце старика. Какія же тамъ есть добрыя дѣла?.. Зачѣмъ они?.. Грѣхи покрыть? Но Бога не обманешь. И не подкупишь. Онъ все знаетъ и ничего не забудетъ. Расчитываться за содѣянное надо, и ни-

какими добрыми дѣлами не поправить своего прошлаго... Эта мысль Родіону Павлычу была по душѣ, становилось ясно, что „добраго дѣла“ не надо, — но жутко и страшно было вспомнить про ночное видѣніе, и въ холодъ бросало отъ догадки, что оно явится опять... Да, оно явится, оно явится. Оно непременно явится, и еще рѣшительнѣе будетъ, еще настойчивѣе. Оно заму-чить его. Вѣдь вотъ уже и теперь до какого состоянія довело: ни посчитать, ни сообразить, ни углубиться въ дѣла. Поговорить съ человѣкомъ — языкъ не пови-нуется. Дѣла стоятъ и страдаютъ, и если такъ вотъ пойдетъ дальше, то это прямо невыгодно. Кромѣ того что, намучаешься, ущербу, потери будетъ больше, чѣмъ затратишь на доброе дѣло...

За обѣдомъ куски не лѣзли въ горло Родіона Павловича, даже супъ было трудно глотать, и изъ ложки, онъ проливался на бороду и на столъ. Съ тоской и со страхомъ ощупывалъ потомъ старикъ свои щеки, и ему казалось, что за день онъ исхудалъ...

Что дѣлать? Какъ помочь? Какъ избавиться отъ ночного видѣнія?.. Неужели и въ самомъ дѣлѣ пожертвовать на что-нибудь?..

Да на что же?.. Вѣдь это, собственно, сдѣлалось бы для Аграфены Петровны, значить, надо бы на такое дѣло, которое было бы пріятно ей. А какъ узнать, какое дѣло ей пріятно, если она седьмую недѣлю въ землѣ лежитъ!.. „Общество спасанія на водахъ“ станцію строить, — пожертвовать на станцію?.. Чепуха какая!.. Старуха навѣрное и не знала, что есть на свѣтѣ такое общество... Да и на самомъ дѣлѣ, что они тамъ въ этомъ обществѣ спасаютъ, и кто это тамъ на водахъ тонетъ?

Э, вздоръ! Ничего не надо. Никуда жертвовать не нужно и незачѣмъ думать о пустякахъ.

И Родіонъ Павловичъ всѣми силами старался не

думать о ночи, о спальнѣ, о тѣсномъ промежуткѣ между конторкой и кассой...

Послѣ обѣда, въ четвертомъ часу, въ домѣ поднялся шумъ. Явился босякъ Антонъ и сталъ кричать и стучать кулакомъ по столу.

Антонъ былъ рослый, широкоплечій человѣкъ, лѣтъ тридцати, рыжебородый и лысый. У него, когда онъ хотѣлъ, дѣлалась удивительно величественная и строгая осанка. Почти всѣ верхніе и многіе нижніе зубы у него отсутствовали, и оттого, когда человѣкъ этотъ говорилъ, онъ шипѣлъ и брызгалъ слюной. Держался онъ, когда выпивалъ—выпивалъ, а не напивался,—важно и грозно, свирѣпо вращалъ глазами, и хохоталъ такъ неестественно громко, и огромными кулачищами потрясалъ такъ выразительно, что даже у давно знавшихъ его людей появлялся иногда мгновенный страхъ: а не буинный ли это сумасшедшій?

Когда-то онъ учился, былъ и въ университетѣ, на математическомъ факультетѣ, но спился и погибъ. Время отъ времени онъ дѣлалъ визиты отцу, буянилъ здѣсь, требовалъ денегъ, водки, и когда старикъ давалъ,—съ пьянымъ плачемъ выпивалъ водку, забиралъ деньги, и проклиная и себя, и отца, и почтительно, съ нѣмымъ состраданіемъ цѣлуя руки матери, уходилъ на двѣ недѣли, на мѣсяць, а иногда и на полгода... Теперь на Антонѣ былъ больничный съ синими полосками халатъ и теплая шапка. Нижняя часть лѣваго уха была оторвана.

— Отецъ!—кричалъ онъ, маршируя, по военному, вдоль корридора.—Грабитель и кровопійца! Зачѣмъ грабить, а? Объясни! Расссѣ-два, расссѣ-два!.. — Антонъ вдругъ остановился и вперилъ глаза въ позеленѣвшее лицо старика.

— Старъ ты, ветхъ ты, дряхль ты, помрешь завтра. Зачѣмъ грабить? Опомнись, опомнись, говорю! Съѣдятъ

вѣдь черви, слопають. Вонъ уже ползають по тебѣ, по щекамъ ползають, а ты все кровь человѣческую пьешь...

— Антошка... Антонъ!..—чуть слышно лепеталъ Родіонъ Павлычъ.

— Покайся! Покайся!..—Антонъ взмахнулъ кверху своими огромными кулачищами.—Изъ сыновней любви и человѣческой жалости говорю: покайся! Я самъ каяться буду, и тебя въ компаньоны хочу. Вѣдь кто ты такой, а?.. Кто?.. Воръ, грабитель, кровопійца. И мучитель ты. И никто отъ тебя никогда добраго слова не слыхалъ, добраго дѣла не видѣлъ, а только сосалъ ты кровь, и сосалъ... Ни жена твоя, ни дѣти твои, ни общество, никто ничего добраго отъ тебя не видѣлъ. Ты, если и пожертвуешь малость какую-нибудь, то на тѣ дѣла, гдѣ комапдуетъ администрація,—чтобы задобрить. Ты дашь со скрежетомъ зубовъ, и подавивъ злобу. Грабитель!.. Я знаю тебя! И всѣ тебя знаютъ, твою жадность знаютъ, твое хамство знаютъ, и тебя избѣгаютъ какъ зачумленнаго, и никто тебя не хочетъ видѣть...

— Антошка!..—умоляюще простоналъ Тризна.

— А Богъ, можетъ быть, и есть!—вращая горящими глазами, восклицалъ Антонъ.—Что я знаю? Что ты знаешь?.. Дифференціалы, гипнотизмъ, безпроводочный телеграфъ, лучи Рентгена, радій—все это пустяки! Вздоръ, крупица, величина безконечно малая... Богъ есть, и высшій судъ есть, и мы дадимъ отвѣтъ за нашу темную, мерзкую, праздную, пьяную, братоубійственную жизнь!.. Вотъ я пришелъ сюда повидать мать,—мнѣ говорить, что она умерла. Умерла она, умерла... Что значитъ умереть? Что такое смерть?.. Высшій судъ!.. Моя мать даетъ теперь отвѣтъ Высшему Суду, а ея сынъ пьянъ, и дикъ, и грубъ, а ея мужъ пьетъ кровь человѣческую...

Лицо Антона стало блѣднымъ, морщины на лбу обозначились рѣзче, и въ глазахъ, горѣвшихъ дикимъ

огнемъ, появилось выраженіе страданія и боли. И въ упавшемъ голосѣ его дрожали ноты печальныя, больныя.

— Я бѣгалъ мальчигомъ здѣсь,—озираясь продолжалъ Антонъ.—Вонъ тамъ, въ той каморкѣ, я „Записки Охотника“ читалъ... и плакалъ надъ книгой. И свѣтлыя радости первой любви узналъ въ этихъ же стѣнахъ... Все, что было лучшаго въ жизни, я пережилъ въ этомъ домѣ... И однако онъ мнѣ ненавистенъ. И сестрѣ Еленѣ онъ ненавистенъ... И сестра Маша умерла отъ ненависти къ нему. И наша мать ненавидѣла его... Изъ-за тебя, Родіонъ Павловичъ! Ты заразилъ этотъ домъ, ты гнуснымъ ядомъ его напиталъ. Ты замучилъ всю семью... А Богъ есть, Онъ есть!.. Всей моей погибшей душой чувствую его, а сейчасъ, когда я узналъ о смерти женщины, давшей мнѣ жизнь, чувствую Его такъ сильно, такъ ясно, такъ глубоко...

Голосъ Антона оборвался, и человѣкъ этотъ, собравъ губы, и высоко поднявъ брови, блѣдный, тоскующій и скорбный, уставился на старика. Родіонъ Павлычъ стоялъ понурившись, опираясь руками на столъ, и трясся всѣмъ тѣломъ. Каждое слово пьянаго человѣка, — который, однако же, въ эти мгновенія походилъ скорѣе на пророка, чѣмъ на пьянаго,—имѣло раскаленное остріе и входило прямо въ сердце старика, и тамъ оставалось. Родіонъ Павловичъ корчился, извивался, дыханіе ему спирало, и выраженіе умоляющее, жалкое, выраженіе человѣка, уже побѣжденнаго и еще избиваемаго, лежало на его помертвѣвшемъ лицѣ.

Антонъ сѣлъ на окно и опустил голову. Нѣсколько минутъ онъ молчалъ.

— Господи Боже мой!—беззвучно шепталъ Родіонъ Павлычъ,—что же это такое?.. что это?.. И покойница, и онъ... И какъ разъ сегодня онъ явился. И добраго дѣла требуетъ... Какія слова!.. Никогда отъ него такихъ словъ не слыхалъ...

— Грабитель, давай водки!—какимъ-то потухшимъ,

безцвѣтнымъ и мутнымъ голосомъ проговорилъ вдругъ Антонъ. И лицо у него было уже вялое и жалкое...

Часамъ къ шести, когда молчаливый сумракъ притаился въ домѣ, и черезъ дорогу, въ окнахъ, зажглись желтоватые огоньки, и меньше стали движеніе и шумъ на улицѣ,—тяжелый страхъ въ сердцахъ стараго Тризны сдѣлался еще мучительнѣй. И снова зазвучали гнѣвные, карающія ноты Антона, и слова его, какъ голодные осы, носились въ холодномъ, и все густѣющемъ сумракѣ, и, наполненные отравой жала ихъ, впивались глубоко въ испуганную совѣсть старика... Страшно было думать о надвигающейся ночи, страшно было вспомнить о пустомъ промежуткѣ между конторкой и кассой...

— Она придетъ, она опять придетъ!—съ тоской бормоталъ старикъ.

Онъ взялъ въ кабинетъ тяжелое, старомодное, обитое темной кожей кресло, и задыхаясь, и отъ слабости, и отъ волненія, понесъ его въ спальню. Онъ поставилъ его въ пустое мѣсто между конторкой и кассой, и такъ какъ не все пространство было занято кресломъ, то онъ пододвинулъ вплотную высокую конторку.

— Хорошо. Гдѣ жъ она теперь помѣстится, если придетъ?

Что-то похожее на успокоеніе вошло въ его душу. Но черезъ мгновеніе исчезло. Аграфена Петровна—видѣніе теперь, призракъ, духъ, а духу мѣста немного надо,—онъ всюду пройдетъ. И еще страшнѣе сдѣлалось отъ мысли, что дѣло, значить, обстоитъ такъ плохо, что надо прибѣгать къ такимъ нелѣпымъ, бессмысленнымъ средствамъ, какъ загораживаніе дороги духу... Ничего, значить, другого нѣтъ, никакихъ путей къ избавленію?

Родіона Павлыча трясло безпрестанно, и изъ груди его вырывались частые, торопливые вздохи. Вдыхая, онъ пугливо оглядывался, и ему все казалось, что не онъ это вздохнулъ, а другой кто-то, кто-то невидимый,

неизвѣстный, мстительный и злой. И всего страшнѣе была мысль о томъ, что предстоитъ провести долгую ночь, и что въ ночь эту могутъ произойти жестокія, чудовищныя вещи...

— Доброе дѣло... - бормоталъ Родіонъ Павлычъ.— Легко сказать: сдѣлай доброе дѣло! Это значитъ ужъ не сотнягой отдѣлаться... изъ-за сотни покойница ходить не станетъ... Тысячи выкладывай... Да и на что ихъ отдашь? на что?..—Родіону Павлычу вспомнилось, что къ женѣ его ходила старая нищая, вдова базарнаго сторожа, и что, подавая ей, Аграфена Петровна часто вздыхала и слезливо говорила, что будь у ней деньги, она непременно устроила бы пріютъ для престарѣлыхъ.

— Вѣрно и теперь того же хочетъ,—соображалъ Родіонъ Павлычъ.—А вѣдь на это, почитай, и десяти тысячъ мало...

И ненависть, глубокая, острая, ненависть яростная, закупоривающая дыхательные пути, тяжелой волной пролилась въ сердце старика. Не билъ онъ жены, не дралъ, какъ другіе деруть; не знала она никогда ни настоящаго испуга, ни настоящаго почтенія, и оттого она теперь такая дерзостная и настойчивая. О, если бы можно было это предвидѣть! О, если бы можно было вернуть хоть послѣднія нѣсколько лѣтъ... Кулаки Тризны сжались... но не сильно; и они тряслись, какъ трясутся у стараго, утомленнаго, испуганнаго и плохо выспавшагося человѣка... Его глаза часто мигали и слезы стояли въ нихъ.

— Буду ходить,—рѣшилъ онъ,—буду долго ходить по комнатѣ, крѣпко устану, и тогда свалюсь и засну, какъ убитый... Да... И ничего не будетъ, и никого не будетъ... не будетъ...

И онъ дѣйствительно сталъ ходить изъ угла въ уголъ, стараясь довести себя до крайняго утомленія, и

все твердилъ себѣ, что ничего не будетъ и никого не будетъ...

— Пустое... воображеніе это... Нервы тамъ, что ли, или жилы какія... Писали въ газетахъ, вообразилъ себѣ одинъ чиновникъ, что задъ у него стеклянный, и сѣсть боялся, чтобы не разбить; а я вотъ покойника себѣ вообразилъ... Вздоръ одинъ. Ничего не будетъ... никого...

Было уже далеко за полночь, а Тризна все ходилъ и ходилъ по комнатѣ. Слипались у него глаза, ныли и подламывались ноги, и въ поясницѣ стояла тупая, изнуряющая боль; голова не дѣйствовала совершенно и была точно пылью заполнена... „Лечь?“ смутно мелькало въ ней... Но старикъ все продолжалъ топтаться. „Лечь?“ снова шевелилось въ ней черезъ нѣсколько минутъ. Но темный страхъ одолевалъ усталость, и худыя, костлявыя, трясущіяся ноги все передвигались и передвигались...

„Архипа кликнуть... пусть бы въ сѣняхъ легъ“... какъ будто проползло еще въ мозгу Тризны. Но уже старикъ не соображалъ больше ничего, и какъ былъ, одѣтый и въ сапогахъ, опустился на стулъ. И тотчасъ же сопѣніе, густое и протяжное, огласило спальню...

А черезъ нѣсколько минутъ предсѣдатель биржевого комитета Перикль Мавро-Мустаки, возвращавшійся изъ городского собранія и проходившій по тротуару противъ оконъ тризненской спальни, внезапно ахнувъ и вздрогнувъ, схватилъ свою спутницу за руку...

— Тю, чортъ... какъ оретъ старый Тризна!.. Двойню онъ рождаетъ, что ли?

Крикъ дикій, сверхъестественный, полный трепещущаго ужаса и какихъ-то совершенно нечеловѣческихъ оттѣнковъ, вырывался изъ глотки старика. И глотку эту сжимала пудовая ледяная рука, а нѣсколько ниже, на груди, сидѣла грузная фигура Аграфены Петровны.

— Кресло поставиль,—говорила покойница.—Мѣсто закупориль?.. Сколько угодно... А я тебя не оставлю. Пока не сдѣлаешь добраго дѣла, пока не выстроишь пріютъ, буду приходить каждую ночь и буду душить тебя.

— Груша!.. Грушенька!.. Груша!..

— Душить буду, душить буду, душить буду...

Отставной генераль-маіоръ Колтовской, человѣкъ старый, безсемейный и мягкосердечный, сдѣлался специалистомъ по филантропическимъ дѣламъ. Онъ все свое время отдавалъ устройенію судебъ ближняго и состоялъ членомъ почти всѣхъ имѣвшихся въ городѣ благотворительныхъ учрежденій; въ нѣкоторыхъ онъ былъ и предсѣдателемъ. Его выбирали тѣмъ охотнѣе, что грудь генеральская вся увѣшана была орденами, и лучшаго ходатая и заступника передъ администраціей, когда для общественной библіотеки, напр., или для лекціонной комиссіи наступали черные дни,—цельзя было найти. Къ лекціонной комиссіи, впрочемъ, его превосходительство и самъ относился съ нѣкоторымъ недоувѣріемъ, какъ къ чему-то почти японскому, и всю нѣжность своего сердца, и всю его заботливость, отдавалъ такимъ учрежденіямъ, какъ „Питомникъ славянскихъ дѣвицъ“ или „Кружокъ поощренія хороваго пѣнія“. Весь день хлопотливый генераль суетился и усердствовалъ, ѣздивъ изъ богадѣльни въ „питомникъ“, изъ дешевой столовой въ комитетъ для вспомоществованія впавшимъ въ нужду дворянскимъ вдовамъ, всегда кого-нибудь устраивалъ, за кого-нибудь просилъ, для чего-нибудь собиралъ. Разумѣется, всѣ въ городѣ его знали, и онъ тоже всѣхъ зналъ.

Росту генераль былъ малаго, былъ жиренъ, круглъ, румянъ, черты лица имѣлъ мелкія и какія-то бабьи, и героическаго въ немъ только и было, что красная под-

кладка шинели. Онъ носилъ жиденькіе, не вполне удовлетворительно выкрашенные бачки, и черезъ лѣвый глазъ шла у него широкая черная повязка. Это огорчила его когда-то умывальнымъ ковшомъ непочтительная m-elle Трамо, но въ городѣ не полагали, что дѣло было такимъ феминистскимъ и, объясняя происхождение генеральской повязки, блуждали среди разныхъ фантастическихъ предположеній, и добирались даже до защиты Севастополя. Колтовской въ этихъ случаяхъ изъ заблужденій не выводилъ...

Утромъ, въ началѣ девятаго, генераль сидѣлъ въ своей скромненькой столовой и пилъ чай, закусывая жареными бычками. Родіонъ Павловичъ Тризна, смертельно блѣдный и какой-то взъерошенный, сидѣлъ тутъ же, передъ начатымъ и простывшимъ уже стаканомъ чернаго, какъ кофе, чаю и чуть слышнымъ голосомъ говорилъ:

— Вотъ въ виду такого обстоятельства и по случаю старости и душевной потребности моей, я и выражаю вашему превосходительству о желаніи моемъ сдѣлать доброе дѣло.

— Очень, очень радъ, Родіонъ Павлычъ!—одобрилъ генераль, вытаскивая изъ усовъ застрявшія тамъ рыбы ребра.—И весьма вамъ благодаренъ.

— Въ городѣ у насъ нѣту пріюта для престарѣлыхъ,—глухимъ, однозвучнымъ голосомъ продолжалъ Тризна.—Это жалко... Желаю восполнить... На построеніе пріюта желаю пожертвовать пятнадцать тысячъ рублей.

Генераль намѣревался впиться зубами въ щекастую голову бычка,—и какъ держалъ ее, ущемленную толстымъ и указательнымъ пальцами, передъ оттопыренными, лоснящимися губами, такъ и застылъ въ мгновенномъ оцѣпенѣніи. Только правый глазъ его, свободный отъ повязки, свихнулся на сторону, туда, гдѣ

сидѣлъ Тризна, и отразилъ какое-то странное безпокойство, почти испугъ.

— Наличнымъ капиталомъ жертвую пятнадцать тысячъ,—повторилъ Тризна.—Прошу ваше превосходительство доложить комитету о бѣдныхъ... и вообще... Оформить...

Сказано это было безъ малѣйшей торжественности, безъ всякой помпы, все тѣмъ же тусклымъ, унылымъ тономъ... Руки Родіона Павлыча безпомощно свѣсились книзу, книзу склонены были и плечи его, и лысая голова, и казалось, что человѣкъ этотъ вотъ-вотъ съѣдетъ со стула и растянется въ обморокъ.

Генераль съ минуту подержалъ передъ губами рыбу, не спѣша отложилъ ее на тарелку и также не спѣша, блуждая взоромъ, сталъ обтирать хлѣбомъ пальцы.

„Вотъ оно что... Ну, да... понимаю соображалъ онъ.—Доброе дѣло хочетъ сдѣлать человѣкъ... озаглавить... Что жъ, вѣдь, собственно, онъ человѣкъ не плохой... Да... Нападаютъ на него, ростовщикомъ ругаютъ, кровопійцей; а вотъ и видно, что зря все это... Мало ли чего о людяхъ не говорятъ? „Нехорошій человѣкъ“!.. Нехорошій человѣкъ былъ бы, хорошаго дѣла не сталъ бы дѣлать“...

Вся трудность въ томъ именно и заключается, чтобы найти вѣрную точку зрѣнія. Разъ она найдена, никакихъ психологическихъ загадокъ уже нѣтъ. И для его превосходительства поэтому ничего уже не было загадочнаго и страннаго въ этой необыкновенной щедрости Тризны... А впрочемъ, ему и не до разгадыванія загадокъ было... Онъ весь охваченъ былъ радостью, живымъ, бурнымъ энтузіазмомъ. Не до раздумываній было,—дѣло надо было дѣлать. Генераль вскочилъ, шумно отодвинулъ тарелку съ бычками, зацѣпляя скатерть, и ставивая ее вмѣстѣ со стаканами и съ тарелками, выбрался изъ-за стола и, ни на мгновенье не прерывая

потока хвалебныхъ, благодарственныхъ и поощрительныхъ словъ, проворно сталъ одѣваться.

— Огромная новость, огромная!.. Сейчасъ же и поѣду, сейчасъ же и оповѣщу... Ко всѣмъ членамъ на домъ поѣду, и въ редакцію заѣду, дамъ знать... Николай Ивановичъ, пожалуй, уже въ судѣ,—я въ судъ заѣду... Ахъ, благое дѣло задумали, уважаемый Родіонъ Павлычъ, поистинѣ христіанское...

Колтовской подбѣжалъ къ щедрому жертвователю и смачно облобызалъ его, обдавая запахомъ жареной рыбы.

— Въ ваше распоряженіе предоставляю всю сумму полна, наличными деньгами,—уныло говорилъ Тризна.—Дѣлайте, какъ знаете. А я прошу одного: зданіе пріюта украсить мраморной доской и начертать вотъ такія слова.

Родіонъ Павлычъ вынулъ изъ кармана записную книжку и, раскрывъ ее, отчетливо прочиталъ: „Сооружено полностью на средства дырявинскаго первой гильдіи купца Родіона Павловича Тризны, въ вѣчную память его супруги Аграфены Петровны“.

— Золотыми буквами!—вскричалъ Колтовской. Онъ набросилъ на плечи шинель и бросился къ парадному выходу.—Золотыми буквами изобразимъ это... Огромными... Извозчикъ!.. Вотъ этакими!.. Великолѣпно, чудесно!.. Городъ будетъ вамъ искренно благодаренъ, всѣ граждане... Извозчикъ!.. Заслужили глубокую благодарность!.. Поправь, дружокъ, чехоль!.. И вѣдь знаете, Родіонъ Павлычъ!.. Знаете...

Генераль занесъ ногу на крыло дрожекъ, но тотчасъ же быстро отдернулъ ее.

— Знаете ли, вѣдь у насъ для постройки пріюта и мѣсто есть! Ей Богу!.. На Дворянской улицѣ, дзоровое мѣсто въ четыреста квадратныхъ сажень... Намъ Марья Михайловна завѣщала, Рыбчинская... Отличное мѣсто, въ центрѣ города!.. Тамъ и выстроимъ, именно тамъ...

Держи лошадь, ты, дурандасъ въ поддевки!.. Поѣду я къ Михалъ Ивановичу, начну съ Михалъ Ивановича... Потомъ къ Бутовичу, оттуда къ Короткевичу... Увижу всѣхъ и на завтра созову экстренное собраніе... До свиданія, дорогой Родіонъ Павлычъ, до скорого свиданія!

Дрожки съ радостно настроеннымъ генераломъ катили далеко по пустынной, сверкавшей обширными лужами, улицѣ; а Родіонъ Павлычъ плелся медленно, понурый и скучный. Не чувствовалъ онъ ни удовлетворенія какого-нибудь, ни облегченія, ни пріятности. Но и досады или сожалѣнія не испытывалъ тоже.

— Пятнадцать тысячъ ушло,—и пусть!

Если бы недѣлю тому назадъ кто-нибудь сказалъ Родіону Павлычу, что онъ пожертвуетъ на пріютъ только полтора ста рублей, онъ на такого человѣка посмотрѣлъ бы какъ на помѣшаннаго. Сегодня на разсвѣтъ ему казалось, что когда онъ сдѣлаетъ официальное заявленіе о пожертвованіи въ пятнадцать тысячъ, съ него свалится гора, и миръ и радость войдутъ къ нему въ сердце; но этого не случилось. Въ сердцѣ было пусто, холодно; какая-то тяжелая усталость томила старика; все было ему неинтересно, безразлично, и его клонило ко сну... Пятнадцать тысячъ ушло... На десять лѣтъ жизни хватило бы... Пятнадцать тысячъ—годовой доходъ съ Арбузовской экономіи плюсъ арендная плата за мельницу на Каботажной улицѣ... За пятнадцать тысячъ можно цѣлую флотилію баржъ по Днѣпру пустить... можно бы мыльный заводъ построить; а онъ до двадцати процентовъ приносить...

Такіе расчеты появлялись у старика. Но это онъ рассчитывалъ только головой, сердце же къ расчетамъ не прислушивалось. Да и голова работала слабо и какъ-то нехотя, минутами только... Въ сонномъ, засыпающемъ мозгу старика неясно путалась мысль, что кончено теперь съ видѣніемъ, что уже больше оно мучить не станетъ, и можно будетъ теперь и спать по-

койно, и дѣла всѣ какъ слѣдуетъ дѣлать... Но ничего особенно отраднаго не представляла и эта мысль... Да, не страшно теперь, если придетъ обличать Антонъ, и уже можно не смущаясь пойти переговорить и сторговаться со столоначальникомъ портового правленія насчетъ назначенія „удобнаго“ пріемщика,—но какъ-то неинтересенъ теперь ни столоначальникъ, ни пріемщикъ, ни все портовое правленіе. И вовсе не хочется туда идти, и вовсе не хочется о немъ думать... Ничего не хочется, ничто не занимаетъ. Выцвѣли краски, притихли звуки, упалъ интересъ ко всему, и холодное равнодушіе давить. Все сѣро, скучно, неважно, не нужно, а дремота все пригнетаетъ и все ткеть и ткеть густую и тусклую сѣть въ глазахъ...

Шелъ густой дождь—онъ шелъ не переставая со вчерашняго полудня—и съ рѣки дулъ рѣзкій вѣтеръ. Мѣстами, вдоль стѣнъ, намокшихъ и облупленныхъ, тянулись полосы грязнаго, изъязвленнаго снѣга, и противно было смотрѣть на него, и жалко становилось отъ мысли, что недавно еще свѣтлый и чистый, онъ могъ быть до такой степени загрязненъ... И дома, и деревья, и телеграфные столбы—казались меньше и ниже обыкновеннаго, точно холодъ и сырость заставляли ихъ съежиться и сжаться. И совсѣмъ крошечнымъ казался запоздалый реалистикъ, который, силясь торопиться, ползъ, обремененный тяжелымъ ранцемъ и широкой желтой папкой, по тому мѣсту, гдѣ долженъ былъ быть тротуаръ, но гдѣ были однѣ только лужи. Вѣтеръ билъ реалистика по вспотѣвшему лицу, бросалъ ему папку межъ колѣнъ; мальчикъ пыхтѣлъ, сопѣлъ, боролся съ папкой, боролся съ безконечными полами шинели, боролся съ тяжелымъ ранцемъ, который то и дѣло вскидывало вверхъ, и который отъ этого стучался о стриженный затылокъ; и весь онъ, маленькій, мокрый и беспомощный, одиноко темнѣвшій въ пу-

стынной улицѣ, похожъ былъ на полуживую, растерзанную муху.

Въ теченіе дня Родіонъ Павлычъ никуда больше не выходилъ и ничего не дѣлалъ. Настроеніе у него не мѣнялось и было такое же придавленное, какимъ оно было утромъ. Сейчасъ послѣ восьми старикъ легъ. Страха у него не было: онъ зналъ, что ужасы прошлой ночи уже не повторятся. Но большого облегченія онъ какъ-то все-таки не чувствовалъ. „Пусть!“ Онъ со странной безнадежностью махнулъ рукой...

Спалъ онъ не то, чтобы вполне спокойно,—онъ и говорилъ во снѣ, и что-то неясное ему мерещилось,—но по сравненію съ тѣмъ, что происходило въ послѣднія ночи, это было хорошо...

За утреннимъ чаемъ Родіонъ Павлычъ развернулъ газету. Въ отдѣлѣ мѣстной хропики подъ заглавіемъ „Доброе дѣло“ помѣщена была замѣтка о щедромъ пожертвованіи на пріютъ.

Выражаютъ благодарность... хвалятъ... дѣлаютъ комплименты... Жадные они всѣ, хищные, вотъ и благодарятъ. Обрадовались,—кусокъ имъ выкинули... И вотъ, поди, чего добраго, злорадствуютъ теперь, что меньше стало у богатаго человѣка на пятнадцать тысячъ... Не тому рады, что будетъ пріютъ, а тѣмъ довольны, что у Тризны урвали... „И зачѣмъ вдругъ Тризна далъ? И съ чего это онъ расщедрился?“ навѣрное ставятъ себѣ эти вопросы, и дѣлаютъ разныя соображенія и предположенія... Чего добраго, догадываются, чортъ бы ихъ побралъ совсѣмъ: думаютъ, что совѣсть мучить, и злорадствуютъ... На себя бы оглянулись, свою бы совѣсть допросили...

Родіонъ Павлычъ въ глухомъ раздраженіи хмурился и щипалъ свою жиденькую бородку.

— Пожалуй, посмѣиваться станутъ: сдрейфилъ, скажутъ, старикъ на старости лѣтъ; Бога, скажутъ, испугался... Черти, скоты!..

Вотъ, ничѣмъ особеннымъ онъ въ послѣднее время вниманія на себя не обращалъ, никто ничего о немъ не говорилъ, и могъ онъ, незамѣтный, жить и дѣлать свои дѣла,—а теперь самъ накликалъ на себя... Но то, что будутъ о немъ говорить, и что будутъ ехидничать,—пустяки. Можно пренебречь. А вотъ пятнадцать тысячъ отдать—это чувствительно. Пятнадцать тысячъ? Много денегъ... Развѣ нельзя выстроить пріютъ на меньшую сумму, на двѣнадцать, даже на десять тысячъ?..

Родионъ Павлычъ, подкрѣпленный и освѣженный продолжительнымъ сномъ, и уже на двадцать четыре часа отстоявшій отъ страшнаго видѣнія, сталъ понемногу овладѣвать своимъ разумомъ и чувствами и дѣлался смѣлѣе. Теперь онъ понималъ, что погорячился и общалъ генералу слишкомъ много... Если бы визитъ къ его превосходительству состоялся сегодня, больше десяти тысячъ пріютъ не получилъ бы. Былъ бы онъ поменьше, попроще, — ужъ это какъ бы тамъ вышло, но больше десяти тысячъ не получилъ бы. Это вѣрно.

Но дѣло сдѣлано, заключено, стало быть, толковать не о чемъ. Люди дѣла на бесполезное аханье времени не тратятъ. И чѣмъ предаваться безплоднымъ сожалѣніямъ, лучше подумать о томъ, что пріютъ будетъ на хорошемъ мѣстѣ, въ центрѣ города, и зданіе будетъ великолѣпное. Вѣдь если бы, напримѣръ, изъ этихъ пятнадцати тысячъ надо было еще удѣлить на покупку мѣста тысячи полторы или двѣ, то самое зданіе вышло бы бѣднѣе. А теперь всѣ деньги пойдутъ исключительно на постройку, и ужъ мраморная доска съ именемъ Родиона Павлыча будетъ красоваться дѣйствительно на грандіозномъ сооруженіи.

Тризна нѣсколько успокоился на этихъ соображеніяхъ. Пять тысячъ онъ отдалъ лишнихъ, но зато совершенно неожиданно пристегнулъ къ своему пожертвованію чужое: дворовое мѣсто на Дворянской улицѣ стоитъ по меньшей мѣрѣ тысячи три,—и это было

VII. THE RECORDS OF THE COURT OF COMMONS

перевязанному глазу. „За пятнадцать тысячъ всѣхъ васъ и закупилъ... и тебя съ повязкой закупилъ... Обрадовались... Ограбили и обрадовались“...

Мысль о томъ, что „ограбили и обрадовались“, не шла потомъ изъ головы Тризны и сильно портила его настроеніе. Многіе, съ кѣмъ онъ въ этотъ день встрѣчался, поздравляли его, хвалили, льстили ему и благодарили за сдѣланное доброе дѣло, и все это вызывало въ немъ чувство враждебное и злое. И когда онъ за комплименты и похвалы благодарилъ, онъ недружелюбно косился, хмурился; ему казалось, минутами, что надъ нимъ иронизируютъ, — и что-то рѣзкое, вызывающее, закипало у него на сердцѣ, и грубья слова приходили на языкъ... Хотѣлось ему раздѣлаться со всѣми „этими скотами“ и прогнать ихъ прочь. Чего имъ?! Съ нимъ случилась непріятность, бѣда, болѣзнь, и чтобы спастись, онъ сдѣлалъ огромную затрату... Чего же лѣзутъ къ нему люди? Какое имъ до него дѣло? Дали бы сами по пятнадцати тысячъ каждый, и тогда пусть бы радовались, скоты!..

И всѣ казались ему врагами, и онъ былъ врагъ всѣмъ. И главнымъ, первымъ врагомъ ему была Аграфена Петровна. Всю жизнь она была ему не по душѣ, а послѣ смерти вотъ что подстроила!.. Негодованіе, ненависть вспыхнули въ Родіонѣ Павловичѣ, но онъ не смѣлъ поддаваться этимъ чувствамъ, страшился ихъ, и какъ могъ, подавлялъ ихъ въ себѣ...

„Никто не виноватъ, самъ во всемъ виноватъ! — рассуждалъ Тризна. — Но что всего глупѣе, — это зачѣмъ наличными дать общался?..“

Это и въ самомъ дѣлѣ было странно. Родіонъ Павлычъ былъ подрядчикомъ, воздвигнулъ въ городѣ десятки сооружений и теперь тоже поставлялъ матеріалъ для огромнаго зданія портового управленія и для женской гимназіи. Для пріюта же, для своего пріюта, пожертвованіе сдѣлалъ наличными деньгами!.. До того

испугался ночного видѣнія, до того растерялся, что совершенно утратилъ способность разсуждать и понимать...

— Ну, иначе, не бѣда! Это поправлю...

Родіонъ Павлычъ сталъ соображать, что камень, лѣсъ, а отчасти и желѣзо для пріюта можетъ доставить опъ самъ. Не наличными дастъ, а матеріаломъ. Матеріаль же можно будетъ отщипать немножко отъ портового дома, немножко отъ гимназіи. Особенно удобно отъ портового дома: онъ тыломъ примыкаетъ къ Дворянской улицѣ; пріемщикъ, Николай Иванычъ—человѣкъ свой, и матеріаль, который принять будетъ за счетъ порта и оплаченъ портомъ, очень легко сложить двумя саженьями правѣе, во дворъ будущаго пріюта...

— Портъ, онъ безъ огорченія будетъ. Ему обиды самая малость, а между прочимъ мнѣ экономія хорошая.

Родіонъ Павлычъ прикинулъ на счетахъ. „Экономія“ получилась тысячь около четырехъ...

— Ну вотъ,—свѣтло улыбаясь, сказалъ себѣ старикъ,— такъ-то оно вотъ и ладно... Ладнехонько, стало быть... Ничего: голова на плечахъ была бы, а тамъ все къ своему результату привести возможно.

Въ теченіе десяти дней на пустопорожнее дворовое мѣсто по Дворянской улицѣ самымъ дѣятельнымъ образомъ свозился разнаго рода строительный матеріаль. Надо было торопиться: Николай Иванычъ, свой человѣкъ, съ перваго числа получалъ повышеніе, а кто назначенъ будетъ на его мѣсто, еще не было извѣстно...

Въ теченіе этихъ же десяти дней состоялось три засѣданія благотворительнаго общества по вопросу о постройкѣ пріюта, и на два изъ нихъ приглашенъ былъ и Родіонъ Павлычъ. Все шло очень хорошо, и Родіонъ Павлычъ чувствовалъ себя недурно. Во-пер-

выхъ, не являлось больше видѣніе. Во-вторыхъ, удовлетвореніе доставлялъ этотъ новопридуманый способъ строить „свой“ пріютъ изъ чужого матеріала; и въ третьихъ, была, все-таки, нѣкоторая пріятность въ этомъ непривычномъ положеніи виновника добраго дѣла.

Родіонъ Павлычъ, худенькій, щупленькій, съ косыми, узенькими плечиками, пріѣзжалъ на мѣсто будущаго пріюта, суетился, плановалъ, приказывать, командовалъ своимъ слабымъ женскимъ голоскомъ; а приходившіе сюда же члены благотворительнаго общества, видные и важные, всѣми уважаемые люди, говорили съ нимъ улыбаясь, преувеличенно любезно, почти какъ со старшимъ по службѣ.

„Вотъ и наплевать мнѣ на васъ,—думалъ Родіонъ Павлычъ. Благотворители вы, добродѣи, а теперь и я съ вами сравнялся. Да еще вы вотъ, господа дворяне, танцуете предо мною, хвосты поджавши“.

Онъ чувствовалъ нѣкоторое презрѣніе къ „добродѣямъ“, и думая о нихъ, считалъ себя,—какъ и тогда, когда любовался на свою желѣзную кассу,—умнѣе ихъ, сильнѣе и выше... И сожалѣніе о пожертвованной уймѣ денегъ почти уравнивалось всѣми этими пріятными чувствами и соображеніями.

Все шло очень хорошо.

И вдругъ пошло еще лучше.

Послѣ четвертаго засѣданія благотворительнаго общества генералъ Колтовской пріѣхалъ къ Родіону Павлычу и, съ нѣсколько смущеннымъ видомъ, объявилъ, что въ золотой надписи на мраморной плитѣ, которая будетъ красоваться на фронтонѣ пріюта, надо будетъ сдѣлать нѣкоторое добавленіе. Именно, надо будетъ пояснить, что зданіе построено на землѣ, пожертвованной вдовой статскаго совѣтника Марьей Михайловной Рыбчинской.

— То-есть, какъ же это такъ, ваше превосходитель-

ство?—переспросилъ Родіонъ Павлычъ. Онъ сразу очень хорошо понималъ генерала; но въ его головѣ успѣла промелькнуть какая-то тѣнь отдаленной, неясной мысли, и ему нужно было нѣкоторое время, чтобы эту тѣнь остановить и въ нее взглянуть...

— Необходимо, видите ли, почтить и память даровавшей землю,—пояснилъ генералъ,—а посему надлежитъ и ея имя изобразить на плитѣ.

Тризна ласково ухмыльнулся.

— Извините, ваше превосходительство, но на это мы согласія нашего дать не можемъ.

— Но почему же, уважаемый Родіонъ Павлычъ! Вѣдь это же справедливо.

Тѣнь мысли, скользнувшей въ головѣ Тризны успѣла уже обратиться въ мысль,—въ мысль пріятную, общающую...

— Извините, ваше превосходительство, только мы этого не можемъ. Какъ я большой капиталъ въ дѣло вкладую, то и желательно мнѣ, чтобы честь была мнѣ и супругѣ моей, но никакъ не вдовѣ господина Рыбчинскаго.

— Но вѣдь мѣсто, дворъ—ея, Рыбчинской?

— Это мнѣ безъ надобности... — почтительно, но твердо возразилъ Тризна.—Въ это я не вхожу.

Генералъ поправилъ черную повязку на глазу, и для чего-то щелкнулъ себя нѣсколько разъ указательнымъ пальцемъ по концу мясистаго, бабьяго носа.

— Видите ли, уважаемый Родіонъ Павлычъ, по правдѣ сказать, я и самъ въ это не вхожу, по мнѣ, Богъ съ ней, съ Рыбчинской, да вотъ, членъ правленія Короткевичъ настаиваетъ.

— Господинъ Короткевичъ могутъ требовать, чтобы и ихъ имя на доску записать,—я тутъ непричиненъ нисколько.

Родіонъ Павлычъ еще хорошенько не зналъ, зачѣмъ онъ упирается. Въ сущности, его не такъ ужъ и огор-

чило бы, если бы и было упомянуто имя госпожи Рыбчинской. Она—вдова вице-губернатора, компанія, значить, хорошая. И тѣмъ менѣе это было бы огорчительно, что ея имя, имя губернаторское, значилось бы въ концѣ надписи. Лестно даже. Но какой-то смутный внутренній голосъ сталъ шептать старику, что соглашаться не надо. Онъ вообще имѣлъ жизненнымъ правиломъ: не уступать, если о чемъ-нибудь просять,—даже въ томъ случаѣ, если это выгодно себѣ. Просять, значить, это просящему нужно, ему будетъ удобство, выгода,—пусть же за это чѣмъ-нибудь заплатитъ. Теперь же острое чутье многоопытнаго, тертаго дѣльца насторожилось, и стало казаться Родіону Павлычу, что идетъ какая-то неожиданно ловкая комбинація, что близится богатая и сочная пожива.

— Требованія господина Короткевича для меня не обязательны,—смирненно замѣтилъ онъ.

— Совершенно правильно, совершенно правильно!

Генеральской стойкости въ спорахъ и разыскиваніяхъ истины хватало обыкновенно только на два, на три возраженія. Сдѣлавъ ихъ, и не безъ значительной горячности, генераль затѣмъ быстро переходилъ на сторону противника и уже во всемъ отстаивалъ именно этого противника, и съ горячностью, еще болѣе значительной.

— Короткевичъ, знаете ли, очень хорошій человекъ, но если разсудить, какъ слѣдуетъ,—чего онъ не въ свое дѣло мѣшается?

— И это очень даже трудно взять въ резонъ, ваше превосходительство!

Тризна, однако же, лгалъ: онъ сразу „взялъ въ резонъ“ оппозиціонный образъ дѣйствія Короткевича. Во-первыхъ, онъ вполнѣ признавалъ права вдовы Рыбчинской на надпись: даромъ двороваго мѣста не жертвуютъ. И требованіе учителя Короткевича представлялось ему какъ нельзя болѣе справедливымъ. Во-вторыхъ,

онъ дѣлалъ догадку, что Короткевичъ хочетъ подставить ему ножку, такъ какъ давно его недолюбливаетъ. Недолюбливаетъ же его учитель „за все вообще“ и главнымъ образомъ вотъ по какой причинѣ.

Надзирательница городского училища Хороводова, пожилая вдова, владѣла небольшимъ домкомъ. Обстоятельства для Хороводовой сложились очень неблагоприятно: утонулъ сынъ, въ продолжительную болѣзнь впала одна дочь, другую бросилъ мужъ, появились большіе расходы, долги, и домишко пришлось заложить у Тризны. Родіонъ Павлычъ повелъ дѣло такъ, что въ скоромъ времени Хороводова уже не могла опредѣлить: домовладѣлица она или только управляющая чужимъ домомъ, въ которомъ настоящій владѣлецъ, Тризна, предоставилъ ей во временное бесплатное пользованіе небольшую квартирку... „Защитникъ вдовъ и сиротъ“, Короткевичъ нѣсколько разъ объяснялся по этому поводу съ Родіономъ Павлычемъ, просилъ о снисхожденіи ко вдовѣ, урезонивалъ, усовѣщевалъ, но ничего, разумѣется, не добился, и теперь, повидимому, радъ былъ случаю причинить старику непріятность...

— Характеръ уже у него такой скверный! опечаленно сказалъ Колтовской.—Въ думѣ всегда въ оппозиціи, въ общественной библіотекѣ бунтъ поднималъ, чтобы „Наблюдателя“ не выписывали, въ дешевой столовой съ экономомъ войну завелъ: воруетъ будто экономъ... Господи Боже ты мой! „Воруетъ“... Да кто же, скажите на милость, Богу не грѣшенъ, царю не виновать!.. „Воруетъ“!.. — Генераль вздохнулъ. Не угодили ли вы ему вѣрно чѣмъ-нибудь, уважаемый Родіонъ Павлычъ, вотъ онъ и копаетъ, насолить вамъ хочетъ.

„Соли, соли, братъ, соли!“—подумалъ Родіонъ Павлычъ, лукаво сверкая маленькими глазками.—„Да хо-рошенько, смотри, соли: я недосолу не люблю“.

— Непокойный человѣкъ,—вслухъ сказалъ онъ.—

А, между прочимъ, по ночамъ у нихъ свѣтъ горить. Ихъ окна ко мнѣ во дворъ выходятъ, такъ видно: читають, должно...

— Начитаннѣйшій человѣкъ! — съ почтеніемъ въ голосъ подхватилъ генераль. — Эрудиція огромнѣйшая!..

— Это конечно... Это сейчасъ видать. Ну, только что, и книжки, ваше превосходительство, по нашему времени, тоже разныя бываютъ... Есть, какія не вредятъ, а есть, какія и для правительства непріятныя... А что касается насчетъ того, что желаютъ они мнѣ насолить, такъ пусть солятъ. Я, знаете, не въ обидѣ. Пусть, ваше превосходительство, они солятъ...

Родіона Павловича охватило то смутное и пріятное возбужденіе, которое испытывалъ онъ всегда, когда затѣвалъ какое-нибудь выгодное и общающее дѣло. Его радовалъ при этомъ не одинъ только предстоящій барышъ, но и борьба, — постепенное преодоленіе тѣхъ препятствій, которыя разставлялись по дорогѣ обстоятельствами или людьми. И если, ступая по этой дорогѣ, и подвигаясь къ намѣченной цѣли, Родіонъ Павлычъ ловкимъ взмахомъ успѣвалъ подсѣчь препятствіе или напакостить противнику, онъ испытывалъ особенно радостное и веселое чувство самовосхищенія, и потихоньку, наединѣ съ самимъ собою, ѣдко глумился надъ неумѣлымъ побѣжденнымъ...

Когда, черезъ два дня, генераль Колтовской явился снова, все съ тѣмъ же предложеніемъ, насчетъ внесенія имени г-жи Рыбчинской на мраморную плиту, Родіонъ Павлычъ сдѣлалъ недоумѣвающее и обиженное лицо.

— Позвольте, ваше превосходительство: я вотъ пятьдесятъ годовъ всякія дѣла веду, и большія и малыя, и всегда я безъ компаньоновъ былъ; а сейчасъ вы мнѣ весь мой фронтъ хотите измѣнить и въ компанію вступить предлагаете, да еще съ дамой...

— Такъ вѣдь... Родіонъ Павлычъ! — умоляюще скла-

дывая на груди руки, воскликнул генераль, — не моя вѣдь это фантазія... Я вѣдь и самъ понимаю, что все это чортъ знаетъ что, ехидство одно, подкопы... Но вотъ, Короткевичъ этотъ... а за нимъ другіе... Ничего я съ ними не могу...

— Сожалѣнія достойно... Ну, чѣмъ же мнѣ тутъ пособить?..

У Родіона Павлыча стала къ этому времени вырисовываться идея: онъ уступить, допустить Рыбчинскую на свою плиту, но потребуетъ за это уступокъ и себѣ.

— Короткевичъ тамъ въ правленіи все распинается за Рыбчинскую, — съ горестнымъ лицомъ пояснилъ генераль. — Пожертвовала она мѣсто въ три тысячи рублей, а мы и не попомнимъ... Это, говорить, нечестно. А если, говорить, господинъ Тризна этого требуетъ, чтобы, то-есть, имени жертвовательницы не было на доскѣ, то онъ просто желаетъ покойницу на три тысячи рублей обокрасть... Ну, не болванъ ли, а?

Лицо генерала выразило глубокое возмущеніе.

— Я, слава Тебѣ, Господи, въ жизни своей никого не обкрадывалъ, — съ достоинствомъ, и ничѣмъ не выказывая овладѣвающей имъ радости, сказалъ Родіонъ Павлычъ. — Ну, иначе, и себя обкрадывать не дамъ. Я вотъ такое попрошу господину Короткевичу передать: они желаютъ, стало быть, чтобы имя Рыбчинской написать, — они все за вдовъ и сиротъ заступаются, — отлично! Ну, во сколько цѣнять они землю? Въ три тысячи? По моему разумѣнію, больше двухъ тысячъ за нее дать нельзя, ну, пусть, скажемъ, три тысячи. Превосходно! Ежели теперь госпожу Рыбчинскую за три тысячи записать въ надписъ, то съ какой же стати я за тую же честь да пятнадцать тысячъ долженъ дать?..

— Родіонъ Павлычъ, дорогой мой!..

— Мы, ваше превосходительство, люди торговые, и по торговому должны и разговоры вести, — не обращая вниманія на генерала, продолжалъ Тризна. — Товаръ,

стало быть, выходить одинъ, а цѣна разная: съ кого три рубля, а съ кого пятнадцать... Нашего брата, коммерческаго человѣка, иной разъ за такіе фокусы жуликомъ обзываютъ.

— Эхъ, Родіонъ Павлычъ! Ну кто же...

— Превосходно-съ, мы жулики. Ну, а господинъ Короткевичъ, въ такомъ случаѣ, кто же такой они будутъ?

Тризна не безъ строгости уставился на генерала. Маленькія ручки его держались за бока, а голова съ остроконечной лысиной по-пѣтушиному склонена была набокъ.

— Госпожа Рыбчинская—три тысячи, и ей надпись; въ такомъ разѣ и я вотъ тоже: три тысячи даю и себѣ надпись требую. Только и всего.

„Правъ!.. Ей-Богу, правъ!“—думалъ растерявшійся генералъ.—„Трижды правъ... И чего только этотъ проклятый Короткевичъ лѣзетъ? Чтобы ему пропасть совсѣмъ!.. Три тысячи... Ну что ты тутъ на три тысячи выстроишь!...“

— Родіонъ Павлычъ!—взмолился Колтовской,—но войдите въ мое положеніе...

— А это пускай теперь господинъ Короткевичъ входятъ въ положеніе. Мнѣ незачѣмъ.

Генералъ молчалъ. Лицо его выражало горестную и напряженную думу.

— Но постойте!—нашелся онъ вдругъ:—Рыбчинская-то вѣдь одна, а васъ двое: вы и покойница супруга ваша...

— Вѣрно. Справедливое всегда будетъ справедливо; это, ваше превосходительство, ужъ какъ Богъ святъ. Двое насъ, и полагаю я по этому случаю шесть тысячъ рублей. Шесть, но не пятнадцать!..

Генералъ почувствовалъ себя побѣжденнымъ. Но показалось ему все-таки, что Тризна „морочить“ его.

„Мошенникъ, сволочь... Крутить тамъ что-то такое... Какъ цыганъ на ярмаркѣ, купчишка проклятый“...

А Тризна, внутренно посмѣивавшійся, смотрѣлъ съ видомъ спокойнымъ и дѣтски-невиннымъ. Правая ладонь его нѣжно гладила лысину, — и такая она была маленькая, бѣлая и хрупкая, что, казалось, ребенокъ играетъ съ цвѣтнымъ мячомъ...

Затѣянная Тризной игра и самому ему казалась какой-то странной и смѣшной, и онъ мало рассчитывалъ на то, чтобы она удалась полностью. Если бы парламентомъ былъ не Колтовской, а кто-нибудь „настоящій“, Тризна, пожалуй, не сталъ бы употреблять аргументы и приемы, какіе позволялъ себѣ теперь, — ужъ по тому одному не сталъ бы, чтобы не выставить себя въ смѣшномъ видѣ. Теперь же онъ не церемонился и торговался съ нескрываемымъ удовольствіемъ.. Въ концѣ-концовъ какая-нибудь выгода получится, это несомнѣнно; генераломъ поиграть пріятно; и потому, нисколько не заботясь о прикрытіи своей наглости и о поверхностномъ хотя бы замаскированіи нелѣпыхъ требованій и резоновъ, Тризна съ большой рѣшительностью и очень энергично продолжалъ стоять на своемъ ..

— Эхъ, Богъ ты мой, Богъ ты мой! — возопилъ генералъ, суетливо поскребывая себя за ухомъ, у черной повязки. — Шесть тысячъ, вы говорите... Ну что на шесть тысячъ сдѣлаешь? Сарай какой-нибудь, конюшню... И все Короткевичъ этотъ!.. Не могу скрыть, Родіонъ Павлычъ: терпѣть я его не могу! Всегда его терпѣть не могъ.

— Да ужъ господинъ онъ не такъ, чтобы изъ очень пріятныхъ.

— Послушайте, Родіонъ Павлычъ, милый мой! — опять сообразилъ Колтовской. — Вы поразсудите еще слѣдующее: ваше имя будетъ раньше написано, спереди, большими буквами, а Рыбчинскую... — Генералъ съ

тайнственнымъ видомъ склонился къ уху Тризны и сталъ шептать.—Ее мы, знаете, куда-нибудь ткнемъ подальше, сзади, въ конецъ, подъ самый подъ хвостъ... А?

— Хоть спереди, хоть сзади, хоть ты у царскихъ вратъ стой, ваше превосходительство, хоть на паперти, до Бога молитва одинаково доходна, — вразумительно, спокойно и не спѣша довелъ до генеральскаго свѣдѣнія Тризна.—А насчетъ тамъ большихъ буквъ и маленькихъ, то опять и это безъ смыслу. Глаза есть, всякую букву разберутъ...

Генераль былъ сраженъ окончательно. Минуты двѣ онъ сидѣлъ молча, перекопфуженный и безпомощный...

— Ничего не могу! — уныло пробормоталъ онъ потомъ.—Я что же... я всѣ старанія... убѣждаю, доказываю, объясняю...

— Попробую еще въ правленіи...—со вздохомъ прибавилъ онъ послѣ новой паузы.—Скажу цѣлую рѣчь противъ Короткевича... Я—что! Я въ случаѣ надобности все правленіе противъ него возстановлю!.. Ей-Богу!..

Когда Колтовской уѣхалъ, смутная тревога охватила Родіона Павлыча. Дѣло налаживалось отлично: было очевидно, что Короткевичъ не сдастся, — и это веселило и радовало Тризну и сулило успѣхъ. Но сталъ его беспокоить вопросъ, какъ отнесется къ затѣянному имъ торгу Аграфена Петровна.

Слава Богу, видѣніе больше не приходило. Съ самой той ужасной ночи, когда принято было рѣшеніе строить пріютъ, Аграфена Петровна успокоилась совершенно. Но кто можетъ поручиться, что не оскорбится ея тѣнь этими переговорами объ уменьшеніи общанной уже суммы? И кто знаетъ, не будетъ ли она возмущена тѣмъ, что строевой матеріалъ для пріюта украденъ у портового правленія? И развѣ можно

быть увѣреннымъ, что она не вздумаетъ заступиться за Рыбчинскую?

Родионъ Павлычъ страдалъ.

Темное, недоброе чувство къ Аграфенѣ Петровнѣ душило его. Какъ тѣснить его эта женщина! Даже изъ-за могилы связываетъ, и то и дѣло становится поперекъ дороги!..

Хорошо, ей понадобилось доброе дѣло,—онъ учреждаетъ доброе дѣло. Но нельзя же, чтобы она слѣдила за каждымъ его шагомъ, чтобы контролировала каждый его поступокъ.

Тризна былъ полонъ злобнаго чувства къ покойницѣ, и въ то же время боялся на нее злиться. Онъ боялся, чтобы ночью она не пришла снова...

— Да нѣтъ же, пустяки, не придетъ!—волнуясь говорилъ онъ себѣ.

Онъ думалъ, что если бы ей въ самомъ дѣлѣ противенъ былъ его торгъ, она давно бы уже пришла. И если бы негодовала за украденный у портоваго правленія лѣсъ и камень, то тоже должна была уже проявить свое недовольство. Не придетъ она, не придетъ больше... Аграфена Петровна теперь духъ, а духу разныя житейскія мелочи недоступны... Къ тому же, Тризна отстаиваетъ интересы покойницы и не допускаетъ на ея плиту имени Рыбчинской. Для Аграфены же Петровны это дѣлается...

Минутами дѣловой, практическій умъ Родиона Павлыча возмущался противъ всѣхъ этихъ безпорядочно толпившихся мыслей; старику даже какъ-то неловко и смѣшно становилось; онъ даже удивлялся себѣ, не узнавалъ себя, стыдилъ и укорялъ себя, называлъ бабой, выдохшимся дурнемъ; а раза два приливы смѣлости доходили до того, что онъ начиналъ сомнѣваться во власти и силѣ покойницы, и вспыхивая, говорилъ, что все вздоръ, сонъ, бредъ, что вовсе покойница къ нему не являлась, а просто онъ разстроенъ былъ по-

хорошами, панихидами, запахомъ ладана, а къ тому же и слегка простуженъ, и оттого-то и чудилась ему всякая чертовщина.

Но воспоминаніе о ночномъ видѣніи было такъ ярко, страхъ былъ такъ великъ, что Родіонъ Павлычъ пугливо подавлялъ свой скептицизмъ, и утѣшенія искалъ въ снисходительности видѣнія, въ томъ, что мелкіе житейскіе расчеты ему недоступны...

Ночью, въ спальнѣ, ему было особенно жутко, и онъ, вздрагивая, то и дѣло поглядывалъ на тяжелое кресло, все еще баррикадировавшее тотъ уголокъ между конторкой и кассой, гдѣ появлялась покойница...

Однако же, все обошлось благополучно. Покойница не являлась, а снились Родіону Павлычу какіе-то духовые музыкальные инструменты, и бурное море съ парусными судами и съ чайками.

— Ну, теперь, должно быть, кончено,—сказалъ себѣ утромъ Тризна.

Онъ чувствовалъ себя бодрымъ, крѣпкимъ и совершенно спокойнымъ.

— Больше покойница мучить не станетъ.

И уже безъ всякой тревоги думалъ онъ о выторговываніи у генерала, о смѣшной манерѣ Короткевича солить противникамъ, о разныхъ другихъ дѣлахъ,—а объ Аграфенѣ Петровнѣ не вспоминалъ почти вовсе.

Днемъ явился Антонъ.

На дворѣ третій день шелъ дождь, перемѣшанный со снѣгомъ; было очень холодно, и Антонъ, оборванный, мокрый, окоченѣвшій и не пьяный, былъ смиренъ, пришибленъ и жалокъ. Въ немъ не было теперь и намекъ на грозу и суровость, и невозможно было себѣ представить, чтобы это безпомощное убитое существо, съ трясущейся, искривленной спиной, съ печальными и тусклыми глазами, могло кого-нибудь укорять, могло

повысить голосъ... Родіонъ Павлычъ внимательно и безмолвно смотрѣлъ на сына, и трудно было опредѣлить, что испытываетъ при этомъ старикъ: боль, жалость, угрызеніе, или одну только радость побѣды и окончательнаго освобожденія...

— Ступай на кухню, обсушись,—коротко сказалъ онъ.

И Антонъ ушелъ, покорный и робкій.

Эту ночь старикъ провелъ еще спокойнѣе прошлой, уже совсѣмъ безъ сновидѣній, и когда, на слѣдующее утро, опять пріѣхалъ генералъ, Родіонъ Павлычъ встрѣтилъ его съ такой счастливой и самоувѣренной фізіономіей, какой не имѣлъ давнымъ-давно.

Его превосходительство жалостливымъ, нѣсколько униженнымъ, тономъ сообщилъ, что Короткевичъ неумолимъ. „Все правленіе“ возстановилъ не онъ, генералъ, а учитель Короткевичъ. И теперь члены говорятъ, что и весь городъ возмутится, когда узнаютъ, что „обокрали Рыбчинскую“ и не внесли ея имени на доску. Николай же Онуфріевичъ, человѣкъ вообще тонкій и дальновидный, увѣряетъ, кромѣ того, что молодой Рыбчинскій, имѣющій въ Петербургѣ большія связи и самъ состоящій, кажется, вице-директоромъ департамента, дѣла этого такъ не оставитъ, и такая всѣмъ сверху придетъ нахлобучка, что въ глазахъ темно сдѣлается...

— Вотъ,—спокойно проговорилъ Родіонъ Павлычъ, когда генералъ съ виноватымъ видомъ умолкъ, — польскую интригу сейчасъ видать.

Лицо Колтовского отразило недоумѣніе.

— То-есть, позвольте,—отступилъ генералъ, озадаченный. Отчего же тутъ интрига... да еще польская?..

— Оттого, что полякъ этотъ Короткевичъ, оттого и польская. Ужъ не нѣмецкая.

— Да какой же Короткевичъ полякъ! Онъ русскій, православный... и отецъ его православный, законоучитель въ кадетскомъ корпусѣ.

Тризна не спѣша проводилъ маленькой, нѣжной ручкой по лысинѣ.

— Знаемъ мы ихъ, этихъ законоучителей... Съ виду онъ тебѣ и законоучитель, и архимандритъ, и все, а пощупай его хорошенько, да посмотри на свѣтъ, — и окажется пши-картошка.

Генераль въ тревожной задумивости молчалъ.

— Гмъ... Да неужели же?

И помолчавъ еще, онъ добавилъ:

— А племянникъ у него, дѣйствительно, Вячеславъ Адамычъ называется.

— Да ужъ это, ваше превосходительство, мы безъ ошибки знаемъ. Насъ не проведешь. Чуть гдѣ что малѣйшее, мнѣ сейчасъ всѣ эти фокусы какъ на ладошкѣ видать...

„Люди торговые,—сказалъ себѣ послѣ нѣкотораго раздумья генераль:—у нихъ, у скотовъ, нюхъ... здорровенный нюхъ“.

— Но какъ же теперь насчетъ нашего дѣла будетъ?— добавилъ онъ вслухъ.

— Насчетъ какого-съ?

— Да вотъ же, насчетъ пріюта...

— А, насчетъ этого-съ... Да что же тутъ... ужъ тутъ пусть господинъ Короткевичъ рѣшаютъ.

— Господинъ Короткевичъ—чтобы его чортъ побралъ совсѣмъ!—азіатъ, хуже азіата... Все правленіе возстановилъ. Уже рѣшили вамъ предложить въ другомъ мѣстѣ строить. Рублей за тысячу, за восемьсотъ купить мѣсто, подальше гдѣ-нибудь, къ слободкѣ, а на остальное строиться.

— Какъ же это „подальше“? За городъ, что ли?

Генераль, какъ провинившаяся гимназистка, порозовѣлъ.

— Видите ли... Родіонъ Павлычъ... Собственно... если разсудить по правдѣ, такія заведенія, какъ пріюты, напримѣръ, или тамъ госпитали, что ли, они большей

частью не въ центрѣ города строятся, всегда къ окраинамъ.

— Благодарю покорно!..—сухо перебилъ Тризна.— Ну только, если я жертвователъ, то ужъ дозвольте мнѣ и мѣсто выбирать!.. А кромѣ того,—какъ же это „на окраину“? Это, стало быть, пока старецъ какой-нибудь до пріюта доберется, на окраину на вашу, такъ онъ десять разовъ съ ногъ свалиться долженъ? Надо вѣдь, ваше превосходительство, и о бѣдномъ человѣкѣ тоже подумать, а не то, что...

— Правильно! совершенно правильно! Но что же я могу сдѣлать, когда они тамъ, въ правленіи всѣ, какъ мальчишки какіе-нибудь, Короткевичу въ зубы такъ и смотрять? Что онъ, то и они... А онъ новую музыку выдумалъ: „Непристойно, говорить, правленію торговаться. Обѣщано пятнадцать тысячъ, теперь только шесть даютъ.... Господину Тризнѣ, говорить, это къ лицу, на то онъ и торговецъ; а правленію это непристойно“.

— Вотъ какъ!..—протянулъ Родіонъ Павловичъ.

— То-есть, чортъ его душу знаетъ, что онъ тамъ городитъ! Прямо... прямо выпоротъ его, и кончено!..

Въ головѣ Родіона Павловича зарождался теперь нѣкоторый рѣшительный планъ, и онъ, сосредоточенно и торопливо обдумавъ его, пока сообразилъ, что меньше, чѣмъ когда-либо, надо теперь уступать...

— Такъ-съ...—протянулъ Тризна.—Жертвуешь пятнадцать тысячъ рублей, а имъ непристойно... Аристократы, большіе аристократы... Ну, что жъ, пусть они сами больше пожертвуютъ, когда имъ непристойно... „Непристойно“—видалъ ты? Это ловко—„непристойно“...

— А я Короткевичу докажу!—вскочилъ вдругъ Колтовской и яростно засверкалъ незавязаннымъ глазомъ.—Прохвость, смутьянъ!.. „Оппозиція“?.. Я тебѣ покажу оппозицію!.. По поясницѣ тебѣ оппозиція будетъ, мерзавцу!..

Послѣ отъѣзда генерала Тризна долго ходилъ по ком-

натѣ и что-то напряженно обдумывалъ. Его маленькія ручки нѣжно гладили лысину, усы вздрагивали и кривились отъ проползавшей подъ ними усмѣшки, а въ узенькихъ глазкахъ минутами пробѣгало выраженіе лукавое, торжествующее... „Богородице, Дѣво, радуйся!..“ начиналъ онъ пѣть, и въ сладенькомъ, тонкомъ, почти женскомъ голосѣ его слышались торжество и побѣдная радость... Чувствовалось, что человѣкъ захлебывается отъ довольства собою, что онъ счастливъ, что сладкія и нѣжныя чувства наполнили его всего...

Онъ вошелъ въ кухню. На лавкѣ, съежившись, спалъ полураздѣтый Антонъ. Спящій, онъ былъ еще болѣе жалокъ и ничтоженъ, чѣмъ вчера, когда стоялъ передъ отцомъ въ кабинетѣ...

— Богородице, Дѣво, радуйся!—тихонько тянулъ Тризна, съ презрительной усмѣшкой оглядывая сына.— Ррадуйся...

Вернувшись въ спальню, онъ опять ходилъ взадъ и впередъ, усмѣхался и напѣвалъ... Потомъ онъ подошелъ къ креслу, стоявшему въ промежуткѣ между конторкой и кассой, нагнулся къ нему, взялъ за обѣ ручки и понесъ вонъ изъ комнаты, толкаясь колѣнями о клеенчатую обивку...

Ложась вечеромъ спать, Тризна со спокойной усмѣшкой смотрѣлъ въ пустое пространство, образовавшееся между конторкой и кассой, гдѣ стояло кресло, и гдѣ являлась покойница, и думалъ:

— А очень просто: лишняго поѣлъ чего, каши, что ли, али, можетъ быть, гуниядію не во благовременіи принялъ,—оно и померещилось... Дѣйствительно, пустое все... И хоть бы и опять померещилось—все-таки пустое.

Но опять не померещилось.

И спалось Родіону Павловичу въ эту ночь, какъ спалось только въ далекой молодости...

Утромъ старикъ стоялъ за конторкой и писалъ

„заявленіе“. „Такъ какъ, — говорилось въ этомъ документѣ, — правленіе благотворительнаго общества считаетъ для себя непристойнымъ торговаться, и своимъ оскорбительнымъ поведеніемъ мѣшаетъ людямъ, движимымъ великодушными чувствами, сдѣлать доброе дѣло, то онъ, Родіонъ Павловичъ, видитъ себя поставленнымъ въ необходимость взять назадъ свое предложеніе пожертвовать на построеніе пріюта пятнадцать тысячъ рублей серебромъ. А равнымъ образомъ заявляетъ, что весь строительный матеріалъ для означеннаго пріюта, сложенный на пустопорожнемъ мѣстѣ по Дворянской улицѣ, немедленно начнетъ свозиться въ мѣста, кои ему, жертвователю, заблагоразсудятся“.

— Богородице, Дѣво, радуйся! — пѣлъ Тризна, посылая пескомъ свое заявленіе.

Утро было морозное, ясное. Ночью выпалъ снѣгъ, и теперь онъ лежалъ на землѣ и на крышахъ чистой, дѣвственн ой пеленой. Только отъ кухни къ погребу шелъ зигзагообразный слѣдъ, — должно быть, пробѣжалъ здѣсь Дружокъ. Отъ построекъ, отъ трубъ на крышахъ, отъ замерзшихъ въ безмолвной неподвижности деревьевъ, лежились прозрачныя, голубыя тѣни, а въ мѣстахъ, гдѣ снѣгъ освѣщенъ былъ солнцемъ, тихо сіяли отливывзолота и радужныхъ искръ. Рѣдкія, насквозь пропитанныя свѣтомъ, улыбались изъ небесной синевы облака, и къ нимъ, вылетая изъ трубъ, въ радостномъ волненіи тянулись тонкіе дымки. Отъ всего вѣяло кротостью и миромъ, все было чисто, тихо, нетронуто, непорочно; не замѣчалось человѣческаго движенія, не слышалось голосовъ, и казалось, что люди не смѣютъ оскорблять эту тишь своимъ видомъ, своей сутолокой, что на мигъ побѣжденные Богомъ, они притаились въ своихъ старыхъ домахъ и, въ молитвенномъ млѣніи, отдаются обаянію лучезарнаго утра...

— Богородице, Дѣво, радуйся!..

Въ томъ дворѣ Родіона Павловича Тризны, гдѣ живетъ онъ самъ, выросло огромное зданіе въ два съ половиной этажа. Оно выстроено изъ того самаго матеріала, который полтора года тому назадъ такъ спѣшно свозился на дворовое мѣсто вдовы Рыбчинской, и который предназначался для постройки пріюта. Новое зданіе нанимается подѣ казначейство. Три раза въ году Родіонъ Павловичъ получаетъ за него квартирныя деньги, по 766 р. 66 коп. за треть.

— Чѣмъ плохое дѣло?—лукаво шуря свои узенькіе глазки, спрашиваетъ Тризна и маленькой ручкой гладитъ лежащій передъ нимъ продолговатый бугорокъ золота.—Самое настоящее доброе дѣло!...

Спитъ теперь Родіонъ Павлычъ превосходно. Аграфена Петровна, если и снится ему, то больше въ видѣ просительницы, въ видѣ богомолки,—а то и просто въ видѣ престарѣлаго, съ перебитой ногой зайца... Босякъ Антонъ куда-то исчезъ, и о немъ ничего не слышно...

Одноглазый генераль здравствуетъ, страшно поглощенъ организаціей „Общества для упорядоченія экспорта раковъ“, и вообще благотворительствуетъ до полного изнеможенія. Въ свободныя минуты рассказываетъ о пожертвованіи купца Тризны на пріютъ. Рассказывая, онъ взволнованно щелкаетъ себя по носу и, на чемъ свѣтъ стоитъ, ругаетъ и Родіона Павловича и „поляка“ Короткевича. Осторожный генераль, однако же, и до сихъ поръ еще не выяснилъ себѣ въ точности, кого именно изъ „этихъ двухъ прохвостовъ“ надо выпоротъ.

Оппозиціонеръ Короткевичъ, когда рѣчь заходитъ о Тризнѣ,—или о пріютахъ, сумрачно молчитъ. Въ квартирѣ его, съ тѣхъ поръ какъ въ полуаршинѣ отъ ея оконъ выстроилось „самое настоящее доброе дѣло“, стало такъ темно, что нельзя поправлять ученическія тетради.

САВАНЪ.

Отецъ маляра Мотьки, рябой и косоглазый флейтистъ Менахемъ, хворавшій лѣтъ двѣнадцать, не переставая, слегъ и былъ отправленъ въ больницу. Тамъ его продержали недѣлю и выписали: палаты были переполнены, а помочь больному оказалось невозможнымъ.

И теперь Менахемъ, весь скрюченный, желтый и страшный, лежалъ дома и медленно умиралъ.

Разбухшія легкія его дышали быстро и тяжело, плоскіе хлопья зеленоватой смрадной мокроты отрывались отъ нихъ съ хриплымъ гуломъ, потъ обильно струился по вздутымъ щекамъ, а выпуклые, косые глаза затянуты были тѣмъ синеватымъ, холоднымъ туманомъ, который свойственъ взору только тяжело-умирающихъ.

Порою туманъ этотъ сбѣгалъ, и тогда во взглядѣ музыканта, останавливавшемся то на одномъ, то на другомъ изъ копошившихся въ комнатѣ дѣтей, появлялось выраженіе муки и дикаго ужаса.

— Шестеро... и все на Мотьку... Господи милосердый!..

Грудь Менахема подымалась еще выше, дыханіе становилось еще болѣе тяжелымъ, и обрывки непонятной и, можетъ быть, совсѣмъ неподходящей къ случаю молитвы беспорядочно путались въ темномъ мозгу умирающаго.

Единственнымъ кормильцемъ семьи былъ теперь шестнадцатилѣтній Мотыка. Съ утра до вечера онъ слонялся по городу и разыскивалъ, не удастся ли гдѣ „схватить двугривенный“. О томъ, чтобы въ глухую осень тяжелаго, неурожайнаго года найти работу и малярному дѣлу, нечего было и думать, и Мотыка брался теперь за все. Разъ ему посчастливилось нѣсколько дней пристроиться при „оздоровленіи“ боевѣ, которыя, по случаю свирѣпствовавшихъ въ городѣ тифъ и скарлатины, санитарный надзоръ приказалъ почистить. Потомъ онъ съ недѣлю работалъ у переплетчика, клеилъ изъ картона рамки. Потомъ въ торговыхъ баняхъ починалъ заборъ, который повалило вѣтромъ... Но все это было случайно, доставляло грошъ и семья, вмѣстѣ съ умирающимъ, голодала...

„Уѣду въ Николаевъ,—мечталъ Мотыка:—въ Одессу уѣду... Города большіе, тамъ всегда работу найдешь“

Но плановъ этихъ онъ въ исполненіе не приводилъ, не было для поѣздки денегъ и нельзя было покинуть умиравшаго отца. Кромѣ того, Мотыкѣ было хорошо извѣстно, что и въ большихъ городахъ тоже дѣла нечего, что рабочій народъ и въ Николаевѣ тоже умираетъ съ голоду... И онъ продолжалъ искать заработка мѣстѣ, а мать его, Хася, тѣмъ временемъ таскала изъ дому всякую рухлядь и продавала ее полуголоднымъ старьевщикамъ...

Съ каждымъ днемъ Менахему становилось хуже, понемногу, но замѣтно. Однажды съ нимъ случилъ припадокъ удушья, такой продолжительный и тяжкій, что, казалось, наступилъ уже конецъ. Избавительница, смерть, однако, не пришла, и послѣ трехчасового судорожнаго метанія больной сталъ постепенно успокаиваться и затихать...

Хася вышла изъ комнаты во дворъ и глазами призывала за собой Мотыку. Дворъ былъ большой, не огороженный и примыкалъ къ огромному пустырю, по к

тому проходила городская канава. На краю канавы, прикинувшись къ землѣ, стояла хилая хатенка. Въ ней топили, и дымъ бойко вырывался изъ кривой, увѣнчанной опрокинутымъ горшкомъ трубы, но сильнымъ вѣтромъ дымъ тотчасъ пригибало къ низу и, побѣжденный, онъ тяжело ползалъ по грязному снѣгу и разливалъ въ сыромъ воздухѣ горькій запахъ горѣлаго кизяка...

— Боже мой, Боже мой!—простонала Хася, всплеснувъ руками. —Что мы съ тобой сдѣлали, Мотька?

Лицо у Мотьки выражало какую-то странную подавленность; глаза его не смотрѣли на мать, а безпредметно блуждали по сторонамъ, по темному бурьяну пустыря.

— Развѣ мы люди?.. Развѣ мы стоимъ того, чтобы насъ называли людьми?—продолжала Хася.—Мы звѣри... палачи-душегубы!..

Мотька молчалъ и попрежнему тупо смотрѣлъ въ сторону. Слова матери какъ бы совсѣмъ не доходили до его сознанія, усталого и измученнаго.

— Мы недостойны того, что насъ земля носить!—страстно вскричала Хася.—Мы убійцы, окаянныя души...

— Ну, чего ты тамъ хочешь? — нетерпѣливо нахмурился Мотька.—Что такое?

— Что такое?.. Ты еще спрашиваешь?.. А самъ, значить, ты не знаешь?..

Въ голосѣ Хаси, въ томъ выраженіи, которое внезапно появилось на ея костлявомъ лицѣ, было столько сильнаго, грознаго и злого, что Мотька, наконецъ, встрепенулся.

— Да я не понимаю!..

— Не понимаешь?.. Ты, значить, вины за собой не чувствуешь?..

— Скажи, въ чемъ дѣло? О чемъ ты говоришь?

— О чемъ я говорю?

Хася, стиснувъ зубы, впиалась глазами въ сына. Съ

минуту она стояла, не проронивъ ни одного звука. Хотѣлось ли ей помучить Мотьку, отомстить ему за преступную недогадливость, или же, напротивъ, ей больше и страшно было наносить новую рану этому, почти еще дѣтскому, но уже такъ сильно истѣрзанному сердцу...

— Такъ скажи уже... ну!..—съ тревожной мольбой произнесъ Мотька.

Хася обернулась, медленно обвела глазами дворъ потомъ, склонившись къ сыну, къ самому его лицу зловѣще прошептала:

— А саванъ?.. Саванъ у отца есть?..

Мотька вздрогнулъ... Для чего-то онъ тоже окинулъ взглядомъ домъ, и дворъ, и пустырь, и потомъ перевелъ глаза на мать. Нѣсколько мгновеній они смотрѣли другъ на друга, и у обоихъ было выраженіе испуга муки.

— Вѣдь отецъ твой все-таки не подзаборный какойнибудь...—съ силой вскрикнула Хася:—какъ же мы могли допустить, чтобы у него не было своего савана?

— Господи, Боже мой!—простоналъ Мотька.—Я съ вѣсьма не думалъ...

— Вотъ то-то, что не думалъ!—съ ненавистью перешептывала Хася.—Ты не думалъ, я не думала, никто не думалъ, и отца придется хоронить въ чужомъ саванѣ. Послѣдній нищій не допустилъ бы до этого, а мы вѣдь все-таки приличными хозяевами были до сихъ поръ. И мало на насъ отецъ работалъ, мало страдалъ за насъ?..

Она громко плакала. Мотька стоялъ съ низко опущенною головой, и видъ у него былъ совершенно убійственный. Каждое слово матери расплавленнымъ свинцомъ падало на его сердце. Вѣдь совершенная правда, что и послѣдній нищій не допустилъ бы того, чтобы быть похороненнымъ въ чужомъ саванѣ. Чужой саванъ—это страшное несчастье, позоръ. Самый бѣдный человѣкъ

дѣлаетъ прямо невозможное, чтобы уберечься отъ него. Не ѣсть, не пить, собираетъ по копѣйкѣ и обезпечиваетъ себя послѣднимъ уборомъ. Даже у безногаго Менделя, нищаго и одинокаго, саванъ девять лѣтъ лежалъ въ сундукѣ, пока въ немъ явилась надобность... Всѣ бѣдные люди поступаютъ такъ и запасаются саваномъ во-время... Только они вотъ этого не сдѣлали... И теперь ихъ покойника похоронятъ въ чужомъ, даренномъ одѣяніи...

До сихъ поръ Мотьку мучилъ голодъ, мучило сознание, что голодаетъ семья, мучилъ видъ умирающаго отца. Теперь ко всѣмъ этимъ мукамъ прибавилось новое страданіе: угрызеніе совѣсти...

Отецъ болѣетъ съ какихъ поръ, и давно уже извѣстно, что онъ умираетъ. За это время случалась работа, за это время распродали все, что было въ квартирѣ, — перепадали, значить, кое-какія деньги, а о покупкѣ савана никто не подумалъ... Человѣкъ — подлый эгоистъ! Человѣкъ — лѣсной звѣрь! Когда онъ голоденъ, онъ думаетъ только о томъ, чтобы нажраться, а долгъ, даже самый святой, для него не существуетъ...

— Несчастные мы, несчастные! — взывала Хася.

И, ударивъ себя кулакомъ въ голову, она медленно и уже не плача, побрела домой...

Наступившая ночь была для Мотьки ужасною.

Съ какой стороны онъ ни подходилъ къ вопросу, онъ не могъ найти себѣ не только оправданія, но и смягчающихъ вину обстоятельствъ. За эту зиму они опустили. Они принимали подачки, подаянія. Но это ничего не значить. Живой можетъ протягивать руку, но покойника отъ этого срама надо уберечь. Усопшій человѣкъ — святы, оттого и кладбище называется „святымъ мѣстомъ“. Святого человѣка нельзя допустить, о позора.

Мотька лежалъ на полу, на ряднѣ, и мысль о чужомъ саванѣ неустанно сверлила его сердце. Какъ могъ онъ забыть о своемъ долгѣ! И какая ужасная, гнусная неблагодарность по отношенію къ отцу!.. Отецъ всю жизнь трудился какъ каторжникъ. Больной, съ распухшими легкими, игралъ на свадьбахъ до разсвѣта, днемъ бѣгалъ по городу, маклеровалъ, терпѣлъ всякія униженія, издѣвательства, и все это для семьи, чтобы добыть дѣтямъ хлѣбъ, чтобы ихъ учить. Изъ него, Мотьки, онъ хотѣлъ даже сдѣлать доктора, бралъ учителей и готовилъ его въ прогимназію. Но Мотька былъ лѣнивъ и неспособенъ: ученіе рѣшительно не шло ему въ голову. Бились съ нимъ, бились, а толку не вышло. Пришлось отдать его въ науку, къ маляру, и Менахемъ до послѣдняго времени сокрушался, глядя на сына: „Не хотѣлъ меня Господь благословить,—со скорбью говорилъ онъ,—не далъ мнѣ удачнаго первенца“.

— Удачный первенецъ!—язвительно шепталъ Мотька:—катъ, а не первенецъ!..

И ему казалось теперь, что отецъ, оттого, что будетъ погребенъ не въ своемъ саванѣ, будетъ опозоренъ на вѣчныя времена—и здѣсь, передъ живущими, и въ загробномъ мірѣ. Душа усопшаго, лишенная покоя, станетъ блуждать по землѣ и разыскивать собственный саванъ... Обыкновенно блуждаютъ только души грѣшниковъ, души людей, которые при жизни дѣлали много зла. Но, въ концѣ концовъ, какъ знать это въ точности? Какъ знать такія тонкости ему, темному малому, ничему не учившемуся, неотесанному, невѣжественному маляру?..

Мотька сѣлъ, прислонился худой щекой къ темной и сырой стѣнѣ и началъ прислушиваться къ дыханію отца. Оно было странное и страшное—гулкое, хрипящее, рокочущее. Казалось, что внутри у больного что-то жесткое и твердое разрывается,—отъ начала до конца, потомъ склеивается опять и опять разрывается. И еще

казалось, что въ горлѣ и груди у него все занесено тяжелой мокротой, что онъ силится извергнуть ее вонъ и не можетъ...

А на дворѣ въ это время отжившая, но не хотѣвшая уступать свое мѣсто осень на смерть боролась съ зарождавшейся зимой. Буйнымъ дождемъ и гнилымъ морскимъ вѣтромъ она разѣдала грязно-бѣлую пелену выпавшаго наканунѣ снѣга и обламывала на деревьяхъ и вездѣ, гдѣ находила, послѣдніе остатки едва появившейся ледяной коры. И деревья, не желавшія оковъ, помогали осени и тяжело раскачивались, свирѣпо бушуя, черными вѣтвями... Сердито метался встревоженный камышъ на разоренной крышѣ; вздрагивая, скрипѣли обнаженные стропила, и гулко хлюпала на полъ просачивавшаяся черезъ вогнутый и готовый обрушиться потолокъ вода... Тревожные, жуткіе, угрожающіе звуки, ни на минуту не стихая, трепетали въ холодномъ сумракѣ и наполняли Мотькину душу мучительнымъ страхомъ и непобѣдимой тоской.... Ему казалось, что въ этотъ часъ на кладбищѣ, среди мирныхъ, неподвижныхъ памятниковъ, нѣкоторыя могилы вскрываются, и давнымъ давно погребенные люди выходятъ изъ нихъ наверхъ. Съ горестнымъ вздохомъ, стуча костями, блуждаютъ они во тьмѣ и ищутъ собственные саваны... Вотъ вдали что-то бѣлѣетъ... покойники устремляются впередъ... Но то не саваны, а полосы полуразмытаго снѣга... Съ глухими стенами покойники отходятъ прочь и снова начинаютъ скитаться, и скитаются безъ конца...

Раннымъ утромъ, когда было еще темно, Мотья вышелъ изъ дому съ твердымъ рѣшеніемъ не возвращаться безъ савана.

Какъ его добыть? Работы Мотья не найдетъ,—это онъ зналъ. Взаимы ему не дадутъ,—это тоже было

ему извѣстно. Оставалось одно: украсть что-нибудь и продать...

Объ этомъ Мотька думалъ долго и напряженно, и у него, наконецъ, сложился опредѣленный и стройный планъ...

На краю города, за лѣсными складами, стояло большое, новое зданіе пивовареннаго завода. Строили его полтора года тому назадъ, и Мотька отдѣлывалъ здѣсь квартиру для владѣльца завода, чеха Кубаша. Было тогда лѣто, зеленѣла трава, пѣли жаворонки, разливала нѣжный аромат бѣлая акація, и Мотька чувствовалъ себя молодымъ, счастливымъ и добрымъ... Онъ стоялъ тогда на подоконникѣ, проворно водилъ по ставню жирной кистью и во весь голосъ распѣвалъ веселыя пѣсни, еврейскія и русскія.

— Спѣвака, спѣвака,—заворчалъ, неожиданно появляясь, Кубашъ, огромнаго роста мрачный человѣкъ съ бритыми усами и коротенькими желтыми бачками.— Спѣвать ты можешь, а какъ работаешь?

— Посмотрите.

Мотька прыгнулъ съ подоконника, воткнулъ кисть въ ведро съ красками и сталъ подлѣ Кубаша. Мрачный чехъ внимательно оглядѣлъ только что выкрашенный ставень, потомъ въ другой комнатѣ обои—хорошо ли пришелся узоръ на шпѣ, потомъ для чего-то помѣшалъ въ ведрѣ краски и, ничего не сказавъ, вышелъ въ переднюю. Здѣсь, на широкой стѣнѣ, противъ входа, Мотька, вѣвъ уговора, изобразилъ клеевыми красками вулканъ. Изъ верхушки совершенно правильной синей пирамиды взвивались вверхъ широкія полосы охры и сурику—огненные языки; какіе-то плотные черно-красные блины въ большомъ количествѣ носились въ сѣрыхъ клубахъ дыма, а внизу, у основанія пирамиды, опять было царство сурика и охры,—и это изображало уже море.

— Угу!—вскричалъ Кубашъ, пораженный такимъ

великолѣпіемъ.—Ты настоящій молодець... Ей-Богу... Знаешь? Будешь мимо завода проходить—пожалуйста, заходи: всегда будешь пиво получать. Пей, сколько угодно...

И вотъ въ это холодное, вѣтряное и дождливое утро Мотька отправился на знакомую пивоварню.

Мѣсто было глухое, безлюдное; заводскіе сараи заполнены были разнымъ добромъ, всѣ входы и выходы въ нихъ Мотька зналъ отлично и рассчитывалъ на вѣрную удачу...

Но когда онъ сталъ приближаться къ высокому сѣрому зданію, имъ начало овладѣвать сомнѣніе...

— Не сумѣю,—уныло бормоталъ онъ:—ничего не выйдетъ... все равно ничего не выйдетъ... Вернуться бы...

Но въ немъ жило жестокое сознаніе, что выйти „должно“, что отговорокъ никакихъ не можетъ быть,—и онъ продолжалъ идти...

— Ну, что же я тутъ возьму?—съ сердечнымъ замѣраніемъ спрашивалъ онъ себя черезъ нѣсколько минутъ, прильнувъ лицомъ къ намокшимъ темнымъ доскамъ забора и оглядывая черезъ щелку широкій дворъ.—Ну, куда тутъ?..

На пивоварнѣ было пусто и тихо, какъ въ покинутой усадьбѣ, и казалось, что здѣсь и не работаютъ, и не живутъ, что все здѣсь вымерло давнымъ-давно и новою жизнью не замѣнилось...

— Вотъ сарай открыть... сани тамъ... упряжь... инструментъ разный... А какъ унести?.. Поймаютъ вѣдь, непременно поймаютъ...

Мотька тоскливо оглядѣлся.

Надѣво, сквозь густую сѣтку дождя, смутно виднѣлась городская окраина: жалкія лачужки, повалившіеся плетни, темныя массы лѣсныхъ складовъ и подлѣ нихъ, въ низменныхъ мѣстахъ, образовавшіяся за ночь большія сѣрыя лужи. Направо тянулось обширное кладбище,—то самое, куда на-дняхъ отнесутъ

завернутаго въ чужой саванъ Менахема... Прямо впереди разстилалось поле, унылое и мутное, и вдали, по черной дорогѣ, медленно плелась одинокая, затуманенная дождемъ телѣга. Тащившимъ ее воламъ было трудно, они часто останавливались, и невидимый возница проклиналъ ихъ и оглашалъ тусклую мглу протяжнымъ и плачущимъ крикомъ...

Мотька стоялъ, сжавшись и подогнувъ колѣни. Руки его были вложены въ карманы парусиновой куртки, а куртка была вся мокрая, какъ тряпка, которою скульпторъ покрываетъ свою глину. Она прилипла къ спинѣ, и худыя, острые, лопатки Мотьки обрисовывались отчетливо и ясно.

— За велосипедъ много бы дали,—думалъ Мотька, снова припадая къ щелкѣ. — Возьму велосипедъ и отведу въ городъ.

Было дико и совершенно безразсудно предполагать, что это можетъ удался. Но Мотька такъ былъ измученъ горемъ и голодомъ, что утратилъ способность взвѣшивать обстоятельства... Онъ напряженно смотрѣлъ въ щель и, стараясь прорѣзать глазами утренній сумракъ, разыскивалъ велосипедъ...

— Эге, ты?! раздался вдругъ чей-то громкій голосъ.—Пришелъ?..

Мотька вздрогнулъ и быстро откинулся отъ забора.

На деревянномъ, занесенномъ глиной и грязью крыльцѣ, которое еще такъ недавно Мотька тщательно раскрашивалъ подъ черный мраморъ, въ высокихъ ботфортахъ и непромокаемомъ плащѣ стоялъ Кубашъ.

— Что, маляръ? Жарко стало? Пива захотѣлось?

Мотька растерянно оглянулся. Потомъ точно внезапно сообразивъ что-то, быстро подошелъ къ крыльцу.

— Господинъ Кубашъ,—взмолился онъ:—дайте мнѣ какой-нибудь работы!

— Работы?—удивился Кубашъ.—Какая же теперь

работа? Теперь работы нѣтъ... Лѣтомъ буду строить флигель, тогда приходи, будетъ тебѣ работа.

— Мнѣ теперь нужно... сейчасъ... мнѣ нужно сегодня... мнѣ нужно на саванъ...

Внезапный порывъ вѣтра пригнулъ верхушки темныхъ акацій. толкнулъ въ спину Кубаша, а Мотьку ударилъ въ узкую грудь и въ лицо, по раскрытому рту.

— Я все буду дѣлать... что хотите...

Кубашъ нахмурился.

— „Все буду дѣлать“, — угрюмо проворчалъ онъ. — А гдѣ я возьму? Я — министръ?.. Дѣлъ нѣтъ, пива никому не надо. Почти всѣхъ рабочихъ расчиталъ... Вотъ лѣтомъ, когда будутъ строить флигель...

По лицу Мотьки пробѣжало что-то холодное, недоброе и перекосило его губы.

— „Лѣтомъ“... А теперь... Господинъ Кубашъ, что же мнѣ теперь дѣлать: воровать, что ли?..

Снова вѣтеръ ударилъ его въ грудь и снова послалъ въ его раскрытый ротъ цѣлую пригоршню крупныхъ и холодныхъ дождевыхъ капель.

— Воровать?.. Ахъ, подлая погода!.. — Кубашъ повернулся къ Мотькѣ бокомъ и взялся за дверную ручку. — Теперь многіе воровать пошли; полный городъ воровъ... Ну, а ты маляръ хорошій, — дружелюбно улыбаясь, добавилъ онъ. — Ты воровать не будешь.

— Буду! Честное слово буду! — съ силой вскричалъ Мотька и ударилъ себя кулакомъ въ грудь. — Буду... Я вотъ и сейчасъ велосипедъ хотѣлъ у васъ украсть... Я затѣмъ и пришелъ сюда... вотъ уже высматривалъ въ щелку..

Кубашъ оторвалъ руку отъ двери, проворно обернулся и уставился на Мотьку тревожнымъ взглядомъ.

— Велосипедъ?.. Ты!!..

— Да, я... Я пришелъ красть... Велосипедъ или упряжь, или другое что... все равно, что попадется...

Мотька трясся всѣмъ своимъ худенькимъ, малень-

кимъ тѣломъ и возбужденными, горящими глазами смотрѣлъ на Кубаша. Кубашъ сурово хмурился и молчалъ. Но въ сердцѣ этого человѣка не было суровости. Напротивъ, въ немъ шевелилось что-то похожее на смущеніе и жалость...

„Двугривенный ему дать?“—подумалъ онъ.

И онъ было просунулъ руку въ карманъ... Но цѣлый рядъ соображеній сталъ возникать въ его головѣ... Двугривенный отдашь, а толку не будетъ... Ему двугривеннаго мало... Завтра же онъ придетъ за новой подачкой... А деньги теперь и безъ того со всѣхъ сторонъ дерутъ. На прошлой недѣлѣ былъ концертъ „въ пользу“, теперь елку стали готовить тоже „въ пользу“... Сборы не кончаются, давай да давай, и нищихъ развелось тьма тьмущая... Дай вотъ ему теперь, а онъ возьметъ, да въ видѣ благодарности, и въ самомъ дѣлѣ велосипедъ стащить...

Кубашъ отдернулъ назадъ наѣхавшій на глаза капюшонъ и исподлобья взглянулъ на Мотьку. Тотъ стоялъ попрежнему, согнувъ колѣни и обтягивая спину мокрой курткой; лицо его выражало рѣшимость и вражду.

„Опасно“, думалъ пивоваръ: „только приучишь его сюда шататься: повадится самъ и другихъ приведетъ... цѣлую шайку воровъ приведетъ... имъ здѣсь удобно, мѣсто глухое“.

И то чувство, похожее на жалость, которое до сихъ поръ тихо шевелилось въ его сердцѣ, вдругъ исчезло и замѣнилось холодной злобой.

— Воровать ты здѣсь не сможешь, — рѣзко и внушительно отчеканилъ онъ. — У меня, братъ, двустволка чудесная... Я церемониться не стану: прямо въ голову буду цѣлить... Да! И потомъ, вотъ еще что, — сильнѣе закипая, добавилъ онъ: — сегодня же я заявлю представу, и если малѣйшее что у меня случится — ты первый отвѣтчикъ!.. Понялъ?.. Понялъ ты это?

Мотька молчалъ. Странное чувство смутнаго недоумѣнія стало охватывать его.

„Но какъ же это... вѣдь нуженъ саванъ“...—мысленно шепталъ онъ:—„вѣдь необходимъ... Вѣдь нельзя же безъ савана“...

— Ну, и ступай, откуда пришелъ!—заклучилъ Кубашъ.—Ступай, ступай... велосипедистъ!.. Проваливай!..

Мотька опустилъ голову и тихо побрелъ вдоль канавы... Вода въ сапогахъ его чавкала мѣрно и громко. Вдали злобно и горестно кричалъ невидимый возница, и обезсиленные волю уже не плелись, а стояли неподвижно...

— Эй, послушай-ка, маляръ!—опять раздался голосъ Кубаша.—Поди-ка, братъ, сюда.

Мотька остановился.

— Поди сюда,—повторилъ пивоваръ:—дѣло есть Въ скорбныхъ глазахъ Мотьки вдругъ мелькнуло что-то похожее на надежду, и онъ поспѣшно подошелъ къ крыльцу.

— Ты вотъ что мнѣ скажи,—началъ Кубашъ, спускаясь со ступенекъ и подходя къ Мотькѣ вплотную.—Ты вотъ, я вижу, на всѣ руки мастеръ... такъ ты ужъ тово... говори лучше прямо: послѣ Покрова тутъ у развозчика Анисима кисеть съ тремя рублями украли,—твое это дѣло?

Мотька шелъ на кражу, и самъ же объ этомъ Кубашу заявилъ, но теперь, когда его обвинили въ воровствѣ, въ воровствѣ, не предполагавшемся только, а уже совершенномъ, онъ внезапно почувствовалъ горькую обиду и тяжелый, разъѣдающій стыдъ. И также внезапно мелькнула у него мысль, что если большой позоръ—быть погребеннымъ въ чужомъ саванѣ, то еще болѣе позорное дѣло—саванъ, прибрѣтенный посредствомъ кражи...

— Признавайся,—загремѣлъ Кубашъ,—твоя работа?

Мотька поднялъ на обидчика полные грустна укора глаза.

— Моя?—удивленно и жалобно проговорилъ онъ: я?.. моя работа?

— Твоя!.. Ужъ, конечно, твоя!.. А то чья же?..

Лицо у Кубаша сдѣлалось злымъ и жестокимъ, нижняя губа накрыла верхнюю, глаза округлились, отъ раздувшихся ноздрей протянулись внизъ длинныя, рѣзкія складки...

— Какъ правда то, что есть Богъ на свѣтѣ...—всклинувъ, началъ Мотька.

— Ты про Бога молчи, сволочь!—гаркнулъ Кубашъ свирѣпѣя и схватывая Мотьку за плечо.—Тогда кистей теперь велосипедъ, упряжь... воруяга!..

— Я не воръ... клянусь вамъ... Богомъ клянусь отцомъ и матерью клянусь... Господинъ Кубашъ, здѣсь не былъ уже полгода...

— Врешь, сукинъ сынъ, былъ! Кралъ!.. И мѣши изъ сарая укралъ... Я тебя отучу сюда таскаться, пр хвостъ!..

Кубашъ схватилъ Мотьку за шиворотъ и приподнялъ.

Онъ былъ человѣкъ рослый и плотный и въ своемъ длинномъ и широкомъ непромокаемомъ плащѣ походилъ на снятую съ пьедестала огромную бронзовую статую... Въ его длинныхъ, могучихъ рукахъ дѣтскіа фигура Мотьки затрепыхалась и забилась, какъ бьетъ подъ ножомъ мясника двухнедѣльный ягненокъ... Кубашъ поднялъ ногу, обутую въ тяжелый ботфортъ согнулъ ее и съ размаху ударилъ Мотьку въ спину.

Мотька отлетѣлъ шаговъ на десять въ сторону тяжело ухнувъ, шлепнулся грудью и животомъ размытую землю. На немъ были даренные, черезчубольшіе штиблеты, и теперь одинъ изъ нихъ сорвался съ ноги и плюхнулъ въ канаву.

— Будешь знать, подлюга,—говорилъ Кубашъ, и

дымаясь обратно на крыльцо. — Теперь больше не явишься!..

Но словъ его Мотька не слышалъ. Онъ былъ оглушенъ и лежалъ, какъ мертвый.

Когда же черезъ нѣкоторое время къ нему вернулось сознаніе и онъ поднялся, — лѣвый глазъ его не могъ раскрыться, а изо рта у него струилась перемѣшанная съ жидкой грязью кровь.

Медленно, держась обѣими руками за бока, сильно хромя лѣвой босой ногой, онъ потащился къ городу...

— Господи, отчего онъ не убилъ меня?...—судомжно простоналъ онъ.

Но тутъ онъ вспомнилъ, что умирать ему нельзя, что ему еще нужно добыть для отца саванъ и спасти его душу отъ вѣчнаго скитанія...

Дождь лилъ, было холодно и темно; казалось, что возмущенное солнце отвернулось отъ этого несчастнаго, насыщеннаго насиліемъ и злобою края и больше уже не взглянетъ на него никогда...

ВРАГИ.

I.

Въ концѣ февраля шестнадцатилѣтній маляръ Мотья бродилъ по окраинѣ городка, неподалеку отъ лѣсныхъ складовъ, и сумрачно думалъ о томъ, что сегодня надо работу найти во что бы то ни стало.

День былъ тусклый, гнилой и мертвый, и если бы художнику вздумалось изобразить разстилавшійся передъ Мотькой пейзажъ, ему пришлось бы употреблять одни только сѣрые да черные цвѣта. Уродливыя лачужки стояли въ безпорядкѣ, какъ попало, и стѣны ихъ, когда-то выбѣленные, немногимъ свѣтлѣе были полусгнившихъ, разоренныхъ крышъ. Жалкія строенія эти глядѣли какъ-то особенно хмуро и печально, и казалось, они въ тупой дремотѣ грезятъ устало объ избавительницѣ-смерти, о порѣ, когда, наконецъ, они рухнутъ, разсыплются и превратятся въ плотную мусорную кучу. Въ лачугахъ, и подлѣ нихъ, было тихо и мертво, какъ и на старомъ кладбищѣ, лежавшемъ по ту сторону огромной замерзшей лужи, какъ и въ сумрачномъ полѣ, разстилавшемся позади кладбищенской ограды.

И чѣмъ-то страннымъ и нелѣпымъ казался убѣгавшій вглубь поля строй телеграфныхъ столбовъ: кто въ этомъ несчастномъ, подавленномъ краѣ станетъ поль-

зоваться телеграфомъ? А тамъ, въ тѣхъ сторонахъ, гдѣ людямъ живется свободно и хорошо, кто заинтересуется здѣшной тоской и умираемъ?..

Мотька безпокойно поглядывалъ впередъ, и тяжелыя думы—о заработкѣ, о хлѣбѣ—ни на минуту не оставляли его.

Отецъ Мотьки, музыкантъ Менахемъ, умеръ осенью, и молодой маляръ былъ теперь единственнымъ кормильцемъ семьи, ея защитой и надеждой. Съ озабоченностью, съ угрюмостью стараго, много испытавшаго человѣка, добывалъ онъ ей пропитаніе. Заработать что-нибудь малярнымъ дѣломъ въ тяжелую зиму этого памятнаго неурожайнаго года нельзя было,—никто въ городѣ не строился, никакого ремонта не производилось. И другую работу, сколько-нибудь вѣрную и продолжительную, также трудно было найти. Каждый заработокъ, какъ бы малъ онъ ни былъ, по недѣлямъ выслѣживался десятками нуждавшихся...

Въ эту мрачную зиму нищета въ городѣ была неслыханная, и она возростала съ каждымъ днемъ. Люди съ измученными больными лицами, оборванные, почти босые, осаждали сѣни „богачей“, робко плакали и причитали, молили подобострастно и униженно, и иногда, выведенные изъ себя, въ остервенѣніи, разражались истерическими проклятіями и угрозами...

Богачи ходили смущенные, испуганные, теряли голову, не знали, что дѣлать. Больше тысячи бѣдняковъ надо было кормить ежедневно, а средствъ не хватало и для двухъ сотъ.

И Мотькина семья голодала тоже. Но, время отъ времени, молодой маляръ приносилъ двугривенный или полтинникъ, приносилъ хлѣбъ, или кувшинъ молока, и тогда на окружавшихъ его высохшихъ дѣтскихъ личикахъ появлялось выраженіе праздничное, радостное.

— Какъ-нибудь зиму перемучаемся, а ужъ весной, Богъ дастъ, дѣла пойдутъ лучше,—говорилъ Мотька

своей матери Хасѣ.— Начнутся постройки, будетъ работа... Въ клубѣ ремонтъ, въ городской управѣ... Я рассчитываю Розѣ купить на выплату чулочновязальную машину... Это дѣло недурное! Бенюмена, пока что отдамъ въ талмудъ-тору, а для Берчика возьму учителя, въ гимназію готовить...

— Что это ты, Господь съ тобой?—съ тайнымъ умилениемъ восклицала Хася.

Гимназія для Берчика, шустрого, видимо очень способнаго десятилѣтняго мальчугана, была лучшей мечтой Хаси. И бѣдная женщина сладко замирала, когда закрывая глаза, рисовала себѣ своего птенца въ синемъ мундирчикѣ... Отчего бы Берчику и не учиться? Онъ хуже другихъ, что ли? Не такъ уменъ, не такъ красивъ, какъ другіе? Одѣтъ его какъ слѣдуетъ, обмытъ хорошенько, подкормить съ мѣсяць, другой,—еще получше другихъ будетъ. Прямо—генеральское дитя!

— Непремѣнно въ гимназію!—задумчиво говорил Мотька.— Пусть будетъ образованный. Учителя возьму, книги стану покупать, за все буду платить... На частный разорвусь, носомъ землю пахать стану, а его въ людскую выведу!—воспламеняясь, добавлялъ онъ.

Увы! свою преданность братишкѣ и готовность разорваться для него на части Мотькѣ пришлось доказывать еще задолго до пріисканія работы,—и совсѣмъ не покупкой книгъ и не приглашеніемъ учителей...

Берчикъ заболѣлъ скарлатиной и надо было его спасать.

Двѣ недѣли Мотька не смыкалъ глазъ, бѣгая по докторамъ, по „благодѣтелямъ“, по благотворительнымъ учрежденіямъ... Откуда-то онъ приносилъ и чай, и ромъ, и лѣкарства, и топливо, и даже ванну гдѣ-то добывалъ... На Хасю нашло тупое отчаяніе. Она ни во что не вѣшивалась, ни въ чемъ не помогала сыну, сидѣла въ холодныхъ сѣняхъ и дико водила глазами. А Мотька дѣйствовалъ такъ дѣловито, такъ энергично

и неумоимо, что, несмотря на ужасныя условія, отстоялъ таки умиравшаго брата. И когда въ послѣдствіи Хася очнулась нѣсколько и пришла въ себя, она смотрѣла на своего первенца съ тайной робостью, съ безконечнымъ почтеніемъ,—какъ на свышепосланнаго ей хранителя и защитника.

Да и въ собственныхъ своихъ глазахъ Мотька сталъ съ тѣхъ поръ выше и важнѣе. Онъ понялъ еще яснѣе, какъ необходимъ онъ семьѣ...

II.

— Эге, маляръ, это ты?

Мотька вздрогнулъ и обернулся.

Передъ нимъ стоялъ огромнаго роста человѣкъ въ длинной шубѣ и большой бобровой шапкѣ. Это былъ владѣлецъ пивовареннаго завода, чехъ Кубашъ. Въ прошломъ году, весной, Мотька, работая на заводѣ, сумѣлъ такъ угодить чеху, что получилъ приглашеніе заходить на пивоварню „каждый разъ“, и пить пива „сколько угодно“. Но потомъ случилось такъ, что Кубашъ заподозрилъ Мотьку въ кражѣ у дворника Анисима трехъ рублей и жестоко его избилъ. И оттого, завидѣвъ теперь обидчика, Мотька затрепеталъ всѣмъ тѣломъ и въ ужасѣ сталъ пятиться назадъ.

— Слушай,—продолжалъ чехъ, стараясь изобразить на своемъ гладкомъ, бритомъ съ короткими сѣдоватыми бачками лицѣ ласковую улыбку.—Ты, маляръ, тово... Обидѣлъ я тебя, понапрасну обидѣлъ... Деньги-то рыжій Митричъ укралъ, пыльщикъ... Потомъ все въ точности раскрылось...

— Ага!—издали вскричалъ Мотька, и глаза его торжественно засверкали.

— Анисимъ, дуракъ, зналъ, кто укралъ, да молчалъ... выдавать не хотѣлъ... А потомъ... когда... ну, вотъ когда

съ тобой это вышло, пришелъ и разсказать... Ну, ты ужъ тово... Ты маляръ хорошій, я знаю. Лѣтомъ буду строить флигель, непременно тебѣ работу дамъ, непременно.

— Я-жъ вамъ божился. что я не воръ!

— Ну, что ужъ... кто тебя знать... Дѣло прошлое, не вернешь... Жалѣю, а не вернешь... А теперь тебѣ работы не надо?

Мотька молчать и хмуро поглядывалъ на чеха.

— У меня на пивоварнѣ ледники набиваютъ; ступай, если хочешь, на рѣчку ледъ колоть.

Мотька продолжалъ молчать. Брать работу у обидчика было тяжело...

— Сорокъ копѣекъ въ день.

Кубашъ распахнулъ шубу, досталъ большіе стальные часы и, поглядѣвъ на нихъ, добавилъ:

— Теперь двѣнадцатый часъ; ну, это ничего, я тебѣ зачту за день... Работы на недѣлю хватить.

Мотька стоялъ въ отдаленіи и нерѣшительно озираясь.

— Да ужъ ступай, чего тамъ, — настаивалъ Кубашъ. — Знаешь, въ Лозахъ, позади мостковъ. Тамъ ужъ увидишь, люди работаютъ... Скажешь, я прислалъ... Ступай, ничего.

— Хорошо, я пойду, — хриплымъ голосомъ, черезъ силу пробормоталъ Мотька.

И, поклонившись Кубашу, онъ скорымъ шагомъ сталъ перерѣзывать поле.

Вѣтеръ дулъ съ юга, сырой и рѣзкій. Морозъ упалъ совсѣмъ, верхушки кочекъ слегка оттаяли, и идти было трудно: нога скользила и то и дѣло попадала въ рытвины. Мотька шагалъ межой и смотрѣлъ впередъ себя. гдѣ, верстахъ въ двухъ, за буровой полосой сухого и мертваго камыша, прятались кривые извивы широкой рѣки. По черной и крутой дорогѣ, подлѣ телеграфныхъ столбовъ, медленно тащились нагруженные

льдомъ подводы. Лошади были измученныя, жалкія, и карабкались онѣ съ великимъ трудомъ, вытягивая впередъ свои несчастныя головы, уродливо выгибая спины и выдыхая цѣлыя тучи сѣраго, мутнаго пара. Временами, окончательно выбившись изъ силъ, онѣ останавливались, и тогда извозчики принимались ихъ бить ногами и кнутовищемъ въ животъ и по головѣ и оглашали угрюмую пустоту дикимъ и мучительнымъ крикомъ...

— Ничего не подѣлаешь,—думалъ Мотыка приближаясь къ камышамъ. — Надо смириться, работать на Кубаша. Онъ все-таки хорошій человѣкъ. Другой обидитъ и никогда не признается, что сдѣлалъ это понапрасну. Вотъ, напримѣръ, мусю Цыпоркесь: этотъ еще пожаловался бы въ часть и кричалъ бы по всему городу, что я его обокралъ. А Кубашъ вотъ сегодня за цѣлый день заплатитъ... сорокъ копѣекъ... Ну, и слава Богу! Работы, говорить, на недѣлю будетъ. Что жъ, это деньги: заплачу за квартиру и еще полъ-мѣшка картошки куплю... Дѣти совсѣмъ изголодались... Таки спасибо Кубашу, ей-Богу, спасибо...

И, насвистывая отъ удовольствія, Мотыка сталъ спускаться къ камышамъ.

Рѣка, сажень полтора ста въ ширину, вся сплошь затянута была бѣлесоватой ледяной корой. Только въ самой серединѣ тянулось большое прямоугольное темное пятно. Въ этомъ мѣстѣ ледъ былъ уже сколотъ, и вода, сдавленная съ четырехъ сторонъ, ходила въ полыньѣ мелкой рябью. сумрачная и сердитая. Она упорно билась о свою крѣпкую раму и неустанно рокотала, зловѣще и многозначительно... Ближе къ противоположному берегу, покатоу и заросшему чахлымъ лознякомъ, стоялъ рядъ черныхъ, ветхихъ баржъ, а нѣсколько влѣво отъ лозняка тянулись огороды, и среди нихъ острымъ горбомъ чернѣла одинокая землянка. Все въ этомъ мѣстѣ было уныло, бѣдно и пусто,

и на много версть вокругъ не видно было живого существа. Только посреди рѣки, неподалеку отъ темной проруби, стояли три человѣка и вяло постукивали лопатами объ ледъ.

Одного изъ нихъ Мотыка узналъ еще издали. Это былъ дворникъ Анисимъ, необыкновенно смирное, безсловесное созданіе,—тотъ самый дворникъ Анисимъ, у котораго украденъ былъ кисеть съ тремя рублями. Теперь на Анисимѣ были бурья валенки и облѣзшая баранья шапка съ наушниками. Двухъ товарищей его Мотыка тоже, какъ будто, встрѣчалъ. У одного была густая желтая борода и такіе же желтые всклокоченные волосы. Онъ былъ невысокъ ростомъ, но широкъ въ плечахъ, кряжистъ и, видимо, очень силенъ. Но лицо было одутловатое, желто-сѣрое, какъ у человѣка съ очень большой печенью. Одѣтъ онъ былъ въ какую-то женскую клѣтчатую фуфайку, перехваченную въ поясѣ синимъ платкомъ, и въ свѣтло-сѣрый котелокъ съ обломанными полями. Лѣтъ ему можно было дать около сорока. Въ человѣкѣ этомъ Мотыка скоро узналъ „рыжаго Митрича“,—того самаго, который укралъ у Анисима деньги, и за проступокъ котораго молодой маляръ такъ жестоко поплатился.

Подлѣ Митрича толкся тщедушный, сѣденькій старичокъ, въ безмѣрно широкомъ, рваномъ армякѣ и въ лаптяхъ.

Ты, Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка,
Золотая, золотая ты головушка...—

весело и быстро пѣлъ онъ, приплясывая и постукивая себя небольшими кулачками по сѣдой головѣ...

— Богъ въ помощь, землячки!—крикнулъ Мотыка, приближаясь.

— Здорово!—Егорушка пересталъ плясать и дружелюбно уставился на Мотыку.—Здравствуй, малецъ!.. Прогуляться вышелъ? По бульвару пройтиться?

— Пособлять пришелъ... Меня къ вамъ Кубашъ въ товарищи прислалъ.

— Вотъ лиходѣй!

Егорушка хлопнулъ себя по бедрамъ и радостно взвизгнулъ.

— Въ товарищи? Вотъ это, братуха, въ аккуратъ выходитъ, подъ кадрель... Насъ тутъ всего трое, танцовать-то и неспособно... Бери, братуха, ломъ, да и становись сюды... Митричъ, слыхалъ?—обратился онъ къ желтобородому:—вотъ канпаньонъ къ намъ пришелъ.

Митричъ медленно отвелъ въ сторону ломъ и сумрачно посмотрѣлъ на Мотьку.

— Канпаньонъ?—тусклымъ, простуженнымъ басомъ прохрипѣлъ онъ.—Какой онъ мнѣ канпаньонъ, иродово сѣмя?

Брови у Егорушки вдругъ вздернулись кверху, глаза расширились и округлились. Съ наивнымъ непониманіемъ оглядѣлъ онъ Митрича, потомъ Мотьку, потомъ снова Митрича...

— Ты чего это такъ?—не то съ любопытствомъ, не то съ безпокойствомъ воскликнулъ онъ.—Ну, чего ты, га? Ну, зачѣмъ?

— А вотъ затѣмъ, — отрубилъ Митричъ. — „Канпаньонъ“!.. Пархъ, а не канпаньонъ.

Въ голосъ его слышалась глубокая ненависть и презрѣніе, а по выраженію глазъ и по движенію фигуры было видно, что онъ не прочь бы дать новому компаньону по затылку. Мотька растерянно посмотрѣлъ на этого крѣпкаго, сильного человѣка—и поспѣшно отошелъ къ Егорушкѣ...

— Экій ты, Митричъ, га!—съ веселой и вмѣстѣ тревожной ласковостью заговорилъ старикъ. — Лиходѣй вѣдь ты, га?.. Ей, право, лиходѣй!.. Ну, чего серчаешь? Чего къ мальчонкѣ присталъ?

— Сволочь онъ!—зарычалъ Митричъ, и глаза его

злобно сверкнули подъ нависшими желтыми бровями.—
Зачѣмъ сюда прилѣзъ, жидюга проклятый?

— Я къ вамъ не лѣзу... я васъ не трогаю,—заговорилъ изъ-за спины Егорушки Мотька. И голосъ его, вообще тонкій и слабый, звучалъ теперь, какъ у десятилѣтняго мальчика.—Я вамъ не мѣшаю... Меня прислали господинъ Кубашъ.

— Ну, вотъ что, —торопливо подхватилъ Егорушка, и маленькое, бурое лицо его озарилось дѣтски-радостной улыбкой.—Прислали тебя работать—ты и работай. Работай себѣ, знай, и не разговаривай. Экій ты какой!.. Не понимаешь дѣла... Когда тебя прислали, такъ ты, стало быть, исполняй... А ты разговаривать. Тутъ, братъ, разговору не надо, тутъ сурьезно надо...

Личико Егорушки сдѣлалось вдругъ дѣловитымъ и важнымъ.

— Потому ледъ это... Его колоть надо. Ну и... и все... Ступай, братуха, на тотъ берегъ, къ огороднику. бери ломъ и валяй... Нечего тутъ...

— Ахъ ты, египетскій! —съ сердцемъ проворчалъ Митричъ, принимаясь снова за работу.—Приползъ, нечистая сила! Онъ тебѣ всюду вползетъ!

— Вползетъ, это правильно, —примирительно согласился Егорушка.

— Сейчасъ тутъ рѣка, поле, степь — чисто, свободно... А приперъ вотъ этакій—Симъ, Хамъ и Яфетъ, все сразу и прокоптитъ!

— „Прокоптитъ“!—подхватилъ Егорушка и отъ удовольствія топнулъ лаптемъ.—Это вѣрно, что прокоптитъ. Ей право! Вишь сказалъ! А?! Прокоптитъ! Ахъ, лиходѣй!

— Племя нечистое.

— О? Нечистое?

— Хуже нечистаго: Іуды, кровососы анаѣемскіе...

Егорушка посмотрѣлъ на Мотьку.

— Эхъ, мальчонка, — сочувственно прокряхтѣлъ

онъ,—видишь ты! Вотъ дѣла-то... Дѣла-то, говорю, вотъ сакія. А ты ступай, пока что, за ломомъ, ступай, брауха, нечего тутъ.

Мотъка обвелъ испуганнымъ взглядомъ и своего зрага, и своего защитника, и сохранявшаго все время полное безмолвіе Анисима, и потомъ тихонько, осторожно ступая, поплелся по льду на другой берегъ, гдѣ въ круглой землянкѣ хранились нужныя для колки тѣда принадлежности.

— И чего отъ меня хочеть этотъ разбойникъ,—думаль онъ,—что я ему сдѣлалъ? Такая ужъ наша еврейская доля.

И Мотъка сталъ думать о томъ, что его преслѣдовали всю жизнь. Вотъ на эту самую рѣку прибѣгалъ онъ купаться въ дѣтствѣ, и русскіе мальчики жестоко били его и не впускали въ воду... Когда онъ, выкупавшись, выходилъ изъ воды, они швыряли въ него пескомъ и грязью, и онъ вынужденъ бывалъ снова лѣзть въ рѣку. Мальчишки швыряли опять и опять, въ теченіе получаса и больше, и онъ весь синѣлъ отъ холода, коченѣлъ и трясся; а мальчишки издѣвались надъ нимъ и хохотали, завязывали въ тугіе „сахари“ рукава его рубахи и смачивали ихъ въ рѣкѣ, чтобы сдѣлать еще болѣе труднымъ распутываніе узловъ... Плавалъ Мотъка неумѣло. Онъ беспорядочно и неловко ударялъ по водѣ сжатыми кулаками, и товарищи говорили, что онъ „мѣситъ булки“. И этимъ его неумѣньемъ русскіе мальчики тоже пользовались и часто „топили“ его, пригибая къ рѣчному дну... Постоянныя преслѣдованія, постоянная мука!.. Когда, четыре мѣсяца назадъ, отца Мотъки на черныхъ носилкахъ несли на кладбище, какой-то извозчикъ кричалъ во всю глотку: „Жидъ сдохъ, Хайка осталась. Ступай, Хайка, въ казарму, солдатъ вкуснѣе жиды... А прохожіе поощрительно смѣялись...

III.

Мотька вернулся къ мѣсту, гдѣ кололи ледъ, устроившись подлѣ Егорушки, принялся за работу.

— Гепъ, гепъ, гепъ!--передразнивалъ его Митричъ суетливо и неуклюже раскачиваясь всѣмъ тѣломъ. Гепъ... дохлая морда...

— Ты, мальчовка, не такъ, — училъ Мотьку Егорушка: — гляди-ко сюда, сюда гляди! Ты вотъ къ леду прямо ломъ подымай, да внизъ ево и бухай!.. Да не спиши, не спиши... Гляди-ко суды, вотъ: рассясь...

— Ахъ, вей!--кричалъ Митричъ, хватаясь за вооруженные пейсы.—А ловко тебя Кубашъ отколотилъ видно, мало. Небось, опять деньги станешь красть. Жиды на это дѣло мастера здоровые!

При этихъ словахъ, сосредоточенный Анисимъ продолжалъ работу и удивленно вытаращилъ глаза. Минуту двѣ смотрѣлъ онъ на Митрича пристально, наконецъ, словно соображая что-то... Потомъ, не произнеся ни слова, покачалъ головою, слегка отвернулъ плечо и опять сталъ дѣйствовать ломомъ...

— А кербеле, а копекесъ,—продолжалъ Митричъ, три рубля у человѣка уперъ, а потомъ—„зачиво не дѣние“!..

Мотька молчалъ и дѣлалъ видъ, будто ничего не слышитъ. Егорушка добродушно балагурилъ и весело старался отвести вниманіе и краснорѣчіе Митрича къ другимъ предметамъ. Дѣлалъ онъ это, однако съ большой осторожностью, видимо побаиваясь свѣтлагоборородаго товарища, и занеживая въ немъ. громко смѣялся его остроумію, иногда и повторялъ съ восхищеніемъ, не всегда, впрочемъ, своимъ отъ притворства, причмокивалъ губами и прищипывалъ лаптемъ.

— Жидовская нация—самая подлющая! — докладывалъ Митричь.

И мысль эту онъ развивалъ подробно и обстоятельно. Онъ былъ грамотень; тупыя человѣко-ненавистническія фразы изъ уличныхъ газетокъ перемѣшивались съ темнымъ бредомъ невѣжественнаго, одичалаго человѣка, и получалось что-то такое безсмысленно злобное, гнетущее и тревожное, что наивная душа Егорушки и смущалась, и хмурилась... Егорушка любилъ веселье, любилъ побалагурить, посмѣяться и попѣть, а Митричь преподносилъ ему мрачныя разсужденія о зловредности и гнусности жидовъ. И Егорушкѣ было неспокойно, тяжело и непріятно, онъ жалѣлъ „страдающаго изъ-за жидовъ“ православнаго человѣка, и ему хотѣлось бы его отъ жидовъ оборонить и за него отомстить, но въ то же время ему какъ-то жаль было и жида, тѣмъ болѣе жаль, что въ длинныхъ разсужденіяхъ Митрича бѣдной головѣ его смутно чуюлось что-то нескладное, неправильное и „неподходящее“...

— Э-и-эхъ!—какъ-то неопредѣленно, со странной печалью, кряхтѣлъ онъ, когда Митричь толковалъ ему объ употребленіи евреями христіанской крови. Онъ косился на Мотьку, бросалъ недовольные, но робкіе взгляды на Митрича и какъ-то преувеличенно гулко и часто стучалъ своимъ ломомъ объ ледъ. Печаль и досада переполняли его сердце...

Но когда Митричь переходилъ къ передразниванію евреевъ, къ куплетамъ вродѣ

А жа ними вбокъ
Молодой жидокъ, --

онъ вдругъ веселѣлъ и прояснялся. Онъ даже принимался подтягивать Митричу и, бросая время отъ времени дружеское и ободряющее слово безмолвно работавшему Мотькѣ, крякалъ радостно и весело, какъ утка, въ знойный день попавшая въ ручей.

Мотька ни единымъ словомъ не отзывался на всѣ эти глумленія.

Сердце его ныло и дрожало, злоба закипала въ немъ. Крѣпко стискивались зубы, и минутами душила потребность броситься на обидчика и избить его... Но Мотька былъ такъ тщедушенъ и слабъ... и съ утра онъ ничего не ѣлъ... и дома его заработка ожидали голодные дѣти...

— Онъ, кажется, никогда не перестанетъ,—въ тоскѣ говорилъ себѣ Мотька.

А Митричъ, дѣйствительно, не выказывалъ намѣренія перестать...

Пріѣхали извозчики, стали нагружать на телѣги ледъ, и произошелъ короткій перерывъ. Но вотъ телѣги, скрипя и раскачиваясь, уѣхали, и Митричъ опять принялся за свое... Его, видимо, бѣсило, что Мотька отмалчивается, и онъ становился все болѣе и болѣе злымъ. Уже онъ не передразнивалъ евреевъ и не пѣлъ обидныхъ куплетовъ,—обидныхъ, но все же, большей частью, добродушныхъ,—а свирѣпо ругался и временами угрожалъ...

— Ну, что дѣлать, что дѣлать?—мысленно стоналъ Мотька.—Когда Богъ уже благословилъ и работа нашлась, такъ вотъ тебѣ, такой извергъ случился... И завтра опять это же самое будетъ, и послѣ завтра то же...

— А чтобъ онъ пропалъ!—отъ всего сердца взмолился онъ.

— Австріякъ, тотъ, братцы мои, самымъ лучшимъ манеромъ съ жидами со своими справился,—объявилъ Митричъ.—Взялъ, да всѣхъ на мерзлый островъ въ Ледовитый океанъ и посадилъ.

— Ахъ, лиходѣй!—одобрилъ Егорушка. И, желая переменить тему разговора, политично спросилъ:—А какая у австріяка форма? Амуниція, значить, амуниція, какая у яво будетъ, амуниція?

— Не хотимъ, говорятъ, жидовскаго духа—и шабашъ. Ступай на ледяной островъ... Ни солнца тамъ, ни дерева, ни травки, ни огня,—ничего не видать! Ледъ да бѣлые медвѣди. Молись себѣ своему жидовскому Богу!

-- Богъ-то одинъ,—задумчиво произнесъ Егорушка.

— Богъ одинъ, да вѣра разная.

Егорушка помолчалъ.

-- Ну, а тово... а уѣхать оттеда, съ острова, развѣ нельзя?—заинтересовался вдругъ Анисимъ.

— У-у-уѣхать?.. Хо-хо-хо... Онъ те уѣдетъ!

Выцвѣтшіе глаза Митрича злорадно забѣгали.

— А миноноски на что? Кругъ острова шестнадцать штукъ миноносокъ стоитъ, караулятъ, чуть кто съ мѣста тронулся—сейчасъ стопъ! Тутъ ему и крышка... Половина жидовъ на острову уже передохла... а доктора рассчитали, что черезъ семь годовъ ни слуху, ни духу отъ нихъ не останется.

Вѣтеръ дулъ теперь сильнѣе, мѣнялъ направленіе и становился суше. Онъ обжигалъ Мотькѣ лицо, упорно разворачивалъ полы его куртки и билъ его по тонкимъ, одѣтымъ въ парусиновые штаны, подогнувшимся ногамъ. Даже усиленные дѣйствія ломомъ не могли побѣдить холодъ и не въ состояніи были сообщить гибкость коченѣвшему тѣлу. Мотька весь дрожалъ. Жестокія слова Митрича мучили его,—точно въ уши и въ сердце ему заколачивали длинные гвозди... Онъ бросалъ косые взгляды на Митрича, на его толстый, покрытый растрепанными, желтыми волосами затылокъ и крѣпко стискивалъ зубы. Онъ дрожалъ уже не отъ одного холода: негодованіе и ненависть вызывали въ немъ частое и мучительное трепетаніе.

-- И плодущіе же, сволочи!—продолжалъ Митричъ.-- Не надо и сусликовъ. Вотъ, примѣрно, этотъ самый пархъ, что сюда приперъ: ты думаешь, онъ у своего

батьки одинъ? Чорта съ два! Сходи-ка къ нему домой, — небось, тамъ ихъ дюжина цѣлая. А то и двѣ...

— Это какъ Господь, — сумрачно нахмурившись пояснилъ Егорушка. — Господу народъ надобенъ...

— „Надобенъ“... Понимаешь ты!.. А вотъ кабы надъ жидами главный командиръ былъ, выпустилъ бы такой указъ, чтобы всѣхъ маленькихъ жиденятъ за ноги да объ стѣнку. Хопъ — и нѣту! Хопъ — и нѣту! Вотъ и къ этому бы халдею заглянуть, — счетъ бы имъ тамъ подвелъ правильный...

Извергъ, катъ!“ — тихо шепталъ Мотыка. И при этомъ самъ становился злымъ и жестокимъ. Онъ представлялъ себѣ, съ какимъ удовольствіемъ онъ ударилъ бы изо всей силы Митрича по лицу... Разъ ударилъ бы, и два раза, и три раза... Билъ бы, пока не хлынула бы кровь, пока не окоченѣлъ бы этотъ мерзкій злой языкъ...

И уже не было радости въ его душѣ, не было в ней и безцѣльной жалобы, а все выше и выше поднималась жажда мести и крѣпла потребность расправы. Ноздри у Мотыки яростно раздувались, глаза горѣли, и щеки дергались въ мелкой и непрестанной судорогѣ...

Митричъ, сосредоточенно возясь шагахъ въ сорокъ съ огромной льдиной, прервалъ на время свои приставанія къ Мотыкѣ и всѣ ругательства адресовалъ къ не покорявшейся, тяжелой глыбѣ. И Мотыкѣ это было не пріятно. Теперь ему издѣвательства Митрича были нужны. Они были ему нужны для того, чтобы довести происходившую въ немъ работу, чтобы довести злобу до ярости, до безумства и швырнуть его — тѣлодушнаго, голоднаго, измученнаго мальчика — на этотъ тяжеллаго, костистаго и грознаго здоровяка... Все въ немъ кипѣло и бурлило, хотя и не въ такой еще степени, чтобы расправу начать сейчасъ же. Нужно было новое раздраженіе, необходима была еще новая, по

слѣдняя обида, чтобы голосъ разума и подлаго расчета замеръ окончательно, чтобы сердце загорѣлось со всѣхъ сторонъ.

Митричъ побѣдилъ, наконецъ, свою льдину. Последнимъ усиленіемъ онъ приподнялъ ея край, подсунулъ подъ него ломъ и выпихнулъ тяжелую глыбу наверхъ.

— Тьфу, бей тебя сила Божія! — проворчалъ онъ, оставивъ прочъ ломъ и туже стягивая служившій ему поясомъ синій вязаный платокъ. — Заморился, прямо бѣда!.. А ты, послушай-ка, какъ тебя тамъ, свиное ухо? Дай-ка табачку!..

Въ глазахъ Мотьки молніей сверкнула какая-то дикая улыбка. Ломъ выпалъ изъ его рукъ, весь онъ мгновенно выпрямился.

— Холеру я тебѣ дамъ, прохвость!

Слова эти прозвучали рѣзко, отчетливо и звонко, — точно тяжелымъ молотомъ ударили въ тонкую серебряную доску.

Митричъ удивленно поднималъ голову.

— Чего?

— Прохвость!.. Мучитель!.. Извергъ!.. — истерически кричалъ Мотька: — За что ты меня мучишь?.. Да я тебббб, кровопійцу... уббббью!

И, поднявъ кверху длинныя, худыя руки, онъ ринулся впередъ.

На одно мгновеніе всѣхъ — и Митрича, и Анисима, и Егорушку — охватило полное оцѣпенѣніе.

То, что происходило передъ ними, было такъ странно, такъ неожиданно и невѣроятно, что они не могли вѣрить глазамъ. Ошеломленные, они не проронили ни звука. И тяжелую, сумрачную тишину, царившую надъ скованной рѣкой, надъ мертвымъ строемъ камышей и надъ пустыннымъ, мерзлымъ берегомъ, раздиралъ лишь пронзительный, дикій вопль Мотьки. Словъ Мотька не произносилъ никакихъ, и то, что вылетало изъ его

груди, было лишь бессмысленнымъ, ровнымъ и рѣжущимъ ревомъ раненаго на смерть, уже изнемогающаго, истекающаго кровью, но сильнаго яростью и бѣшенствомъ животнаго. Животное это несло въпередъ, къ тому, кто его ранилъ, несло затѣмъ, чтобы быть раненымъ вторично, еще ужаснѣе,—но и затѣмъ также, чтобы отомстить и въ послѣднемъ предсмертномъ усилии уничтожить и растерзать убійцу-врага!

— Лиходѣй!.. Ахъ, лиходѣй!.. -- завизжалъ вдругъ Егорушка. И, подбѣжавъ къ Митричу, онъ обхватилъ его руками. Широкимъ армякомъ своимъ онъ прикрылъ Митрича всего—и этимъ, повидимому, рассчитывалъ оградить его отъ нападенія Мотьки и предотвратить бѣду.

Однако же, катастрофу предупредилъ не онъ, а Анисимъ.

Безмолвный дворникъ проворно подскочилъ къ Мотькѣ, схватилъ его за шиворотъ, приподнял на полъ-аршина надо льдомъ и, не проронивъ ни слова, какъ котенка, понесъ въ сторону.

— Пусти!—захлебываясь, рычалъ Мотька: — Пусти, сволочь!

Онъ бился и извивался всѣмъ тѣломъ и стучалъ кулаками и ногами по Анисиму, куда попало. Но дворникъ держалъ его крѣпко. Онъ какъ-то такъ ловко обнялъ своего плѣнника, что сковалъ ему и руки, и ноги, и тотъ могъ теперь вздрагивать и колыхаться однимъ только туловищемъ.

Оттащивъ Мотьку сажень на двадцать, онъ опустил его на ледъ и, ставъ впереди, какъ пугало на огородѣ, горизонтально раздвинулъ руки.

— Стой тутъ!.. — вяло проговорилъ онъ. — Стой... стой, а то буду бить...

Мотька мутными, непонимающими глазами глядѣлъ на Анисима, на стоявшихъ впереди Митрича и Егорушку... Куртка его разстегнулась; лѣвая пола, въ борьбѣ

съ Анисимомъ, распоролась до самаго рукава, и вѣтеръ рвалъ ее и трепалъ, какъ флагъ. Анисимъ, продолжая держать правую руку въ горизонтальномъ положеніи, лѣвой добылъ изъ кармана трубку. Устроивъ трубку во рту, онъ опустилъ и другую руку и, орудуя уже обѣими, сталъ застегивать Мотькину куртку. Мотька безучастно смотрѣлъ на дѣйствія дворника и вертѣлъ головой то вправо, то влѣво. Онъ точно не сознавалъ того, что случилось, и точно искалъ чего-то...

— Скажешь мамкѣ,—бормоталъ Анисимъ, подергивая оторванную полу,—мамка зашьетъ...

И вдругъ Мотька вздрагнулъ, какъ-то странно ахнулъ, и слезы обильно полились по его озябшимъ щекамъ.

А Егорушка, между тѣмъ, схватилъ за обѣ руки Митрича, подпрыгивалъ, сѣменилъ ногами и взволнованно заглядывая пріятелю въ лицо, таинственно и внушительно шепталъ:

— Не обижай, не обижай, Митричъ, мальчонку!.. Что будешь дѣлать?.. Жиденокъ онъ, жидъ... а нельзя... нельзя обижать...

Онъ хлопалъ себя руками по бедрамъ, вздрагивалъ плечиками и удивленно озирался.

— Вишь, дѣла какія, а?.. Вѣдь лиходѣи вы, а? Ей-право, лиходѣи, ей-право... А обижать нельзя... не надо...

Митричъ молчалъ.

Отвернувшись отъ того мѣста, гдѣ находились Анисимъ и Мотька, онъ сурово смотрѣлъ себѣ подъ ноги и дышалъ часто и тяжело. Онъ стоялъ неподвижно, какъ и его воткнутый между двумя льдинами ломъ, и лицо его было желто, а глаза тусклы и прищурены. Что происходило въ этомъ человѣкѣ? Все ли еще скрывало его огромное изумленіе? Или его душило оскорбленное самолюбіе? Или зашевелилась въ немъ совѣсть—онъ созналъ свою вину и ему было стыдно этого горестно трепетавшаго надъ мерзлой равниной, безпомощнаго дѣтскаго плача?..

Митричъ молчалъ. Ротъ его перекосился, желтые усы и борода тихо вздрагивали.

И то, что преобладало въ этой темной, огрубѣлой душѣ, вылилось, наконецъ, въ хрипломъ, полномъ желѣзной увѣренности возгласъ:

— Поймай, Иуда! Я еще съ тобою расправлюсь... Не я буду—когда не утоплю!..

IV.

Все надъ рѣкой затихло и примолкло, и всѣ четверо опять взялись за работу. Работали хмуро, нехотя, не думая о дѣлѣ. Мысли были о другомъ, — о томъ, что только что произошло, о томъ, чѣмъ случившееся должно завершиться. И настроеніе у всѣхъ было темное, тревожное, выжидающее...

Больной и тусклый день, между тѣмъ, кончался. Холодные, грязно-свинцовые тона сгущались, заполняли унылую глубину и какъ бы надвигали ее на берега. И глубина эта не была плотной и непроницаемой, какъ въ позднія сумерки, а дрожала, полупрозрачная и легкая, и напряженный глазъ могъ еще различать въ ней какія-то неясныя очертанія. Неясность и смутность, вмѣстѣ съ царившимъ вокругъ нѣмымъ безмолвіемъ, заключали въ себѣ что-то жуткое, что-то безпокойное и злое, и томило неотступное желаніе, чтобы поскорѣе уже спустилась ночная чернота и похоронила всѣ эти вѣроломныя и мрачныя тѣни.

Митричъ стоялъ спиной къ Мотыкъ, тупо глядя на собственный ломъ, и размышлялъ. Онъ далъ торжественное обѣщаніе, взялъ на себя обязательство, а легкое ли дѣло его выполнить? Тоже вѣдь, и за жиденка, будь онъ трижды проклятъ, отвѣтъ давать надо...

Митричъ злобно плюнулъ.

— А и конфуза отъ парха принять нельзя, — про-

должалъ онъ свои размышленія.— „Кровопійца... я тебя убью...“ ахъ, идолъ!.. Ну, что ты ему скажешь!.. Кабы гдѣ мелкое мѣсто, можно бы его, чорта, столкнуть. Пусть свое жидовское пузо пополощетъ... Да вотъ нѣту такого, вездѣ примерало... А въ полынью бухнуть — глыбоко очень, потонетъ. Что тогда будешь дѣлать?..

— Ты Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка, --вполголоса началъ было Егорушка. Но Анисимъ, вынувъ изъ рта трубку, молча подержалъ ее въ рукѣ, сурово нахмурился и потомъ снова вложилъ трубку межъ зубами. И Егорушка мгновенно прервалъ свое пѣніе, тяжело завздыхалъ и сталъ оттаскивать въ сторону льдины...

А у Мотьки къ тому времени все его возбужденіе прошло. Не было и тѣни безстрашія въ душѣ, не было и намека на отвагу. Онъ чувствовалъ себя въ опасности, чувствовалъ себя пришибленнымъ, несчастнымъ, безпомощнымъ. Что будетъ? Вѣдь этотъ ужасный человѣкъ не проститъ. Вѣдь благополучно дѣло не кончится. Если бы не было такой великой нужды въ работкѣ, Мотька бросилъ бы работу и ушелъ. Но теперь какъ же ее бросить? Другой вѣдь не найдется. А тутъ работы на цѣлую недѣлю... И потомъ, вѣдь отъ этого разъяреннаго, жестокаго человѣка, все равно, не спрячешься: не здѣсь -- въ другомъ мѣстѣ, а ужъ онъ отомститъ!

Длинный прямоуглышникъ, освобожденный отъ ледяной коры, чернѣлъ, какъ огромная могила, и вода въ немъ, встревоженная вѣтромъ, подкатывалась къ самымъ ногамъ Мотьки съ глухимъ, угрожающимъ рокотомъ... И Мотькѣ страшно было смотрѣть на эту живую, грозную черноту, а еще страшнѣе было оглянуться назадъ, гдѣ стоялъ Митричъ. Ему все чудилось, что ужасный человѣкъ этотъ крадется къ нему... Вотъ онъ подошелъ... совсѣмъ близко... Слышно шлепанье его ногъ, слышно звяканье объ ледъ лома... Онъ злобно и

сипло рычить, бьетъ Мотьку ломомъ прямо по головѣ, и сталкиваетъ въ воду, и топить его...

Что будетъ? Что будетъ? Какъ оставаться въ сосѣдствѣ съ этимъ лютымъ человѣкомъ? О, если бы съ нимъ что-нибудь случилось! Если бы онъ вдругъ заболѣлъ... умеръ... Что-жъ, вѣдь бываетъ иногда, что человѣкъ умираетъ вдругъ, сразу... Или если бы его убило... Вотъ, когда нагружали подводу, большая льдина сползла съ самаго верха и ушибла Анисиму ногу. Если бы льдина упала не на Анисима, а на Митрича, и упала бы не на ногу, а на голову, смерть была бы вѣрная... О, если бы его убило...

Мотька въ этотъ день не ѣлъ съ утра; отъ непривычной и непосильной работы ломило ему всѣ кости; холодъ сковывалъ члены. И страданія физическія, соединяясь съ мукой душевной, доводили его до полубессознательнаго состоянія; въ темномъ, коченѣвшемъ мозгу мысль тускнѣла и замирала, и только временами вспыхивала все одна и та же неизмѣнная мольба: „о, если бы его убило!..“

V.

Ночь приближалась. Пустынная даль исчезала въ тяжеломъ сумракѣ, и уже нельзя было отличить, гдѣ кончается ледъ рѣки и начинается берегъ, а черная землянка огородника почти совсѣмъ слилась съ темнымъ фономъ покатыхъ баштановъ. Далеко-далеко, у длинныхъ и уже незамѣтныхъ мостковъ, гдѣ зимовалъ потерпѣвшій крушеніе пароходикъ, зажегся фонарь, и отъ этой желтой лучистой точки здѣсь, на льду, гдѣ работали иззябшіе, голодные, усталые люди, все вдругъ сдѣлалось еще болѣе тоскливымъ, еще болѣе недружелюбнымъ и несчастнымъ.

— Ребятюшки, милые, пора кончать! — закричалъ

Егорушка.—Ай не пора? Пора! Ей-право, пора! Тащи инструментъ къ огороднику, волоки!..

Ты Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка,
Золотая, золотая ты головушка!—

запѣлъ онъ, вскидывая на плечо ломъ.

— Пойдемъ, братцы, къ огороднику, выпьемъ по косушкѣ, по косушечкѣ, по подружечкѣ... Пойдемъ, лиходѣи, пойдемъ... Эхъ, дѣла! Назябся я, страхъ какъ, въ какъ назябся я, ей-право!..

Мотька стоялъ въ сторонѣ, а вѣтеръ билъ его и рвалъ, и снѣгъ, который началъ идти, садился къ нему на голову и на сгорбленную спину.

Слова Егорушки до него не долетѣли, и онъ не зналъ, что можно уже кончать, что надо отнести инструментъ къ огороднику. Онъ стоялъ, не двигаясь, глядя впередъ и ни о чемъ не думая, въ какомъ-то забытьи...

Очнулся онъ только тогда, когда впереди, шагахъ въ пятидесяти, показалась вдругъ широкая, плотная фигура Митрича.

Желтобородый человѣкъ шелъ прямо на Мотьку, шелъ спокойно, не торопясь, заложивъ одну руку за синій платокъ, а въ другой держа на перевѣсъ тяжелый, длинный ломъ...

— Ой!.. Это онъ ко мнѣ... убивать... топить...—огненными языками промчалось въ мозгу Мотьки. И быстро пролетѣла у него мысль о матери, о дѣтяхъ.

— Люди!.. Анисимъ!.. Егорушка!..

Но вопля его никто не слыхалъ... Ибо вопля никакого и не было: окоченѣвшія уста Мотьки были плотно сомкнуты, а кричало одно только охваченное ужасомъ сердце...

Анисимъ съ Егорушкой, ничего не подозрѣвая, неторопливо шли по берегу, подымаясь къ землянкѣ огорода. И къ той же землянкѣ направлялся Митричъ; но вмѣсто того, чтобы огибать узкую, длинную, при-

мыкавшую къ черной проруби полосу недавно образовавшагося тонкаго и непрочнаго льда, онъ, для сокращенія пути, шелъ прямо черезъ эту полосу... И стоявшему у темной и глубокой проруби на смерть испуганному, оцѣпенѣвшему Мотькѣ показалось, что врагъ его идетъ къ нему...

Мотька весь скрючился, согнулся, лѣвой рукой стянулъ на груди куртку, правую поднялъ вверхъ, какъ бы для защиты.

Прошло мгновеніе, другое...

И вдругъ случилось нѣчто странное, что-то такое, чего Мотька не сумѣлъ сразу понять.

Того, кто на него шелъ, отъ котораго онъ ждалъ муки и смерти,—вдругъ не стало.

Раздался рѣзкій, сухой трескъ, затѣмъ — какое-то странное хлюпанье... и хриплый крикъ, и стонъ, и опять хлюпанье...

И цѣлая вереница необычайныхъ, непонятныхъ и страшныхъ звуковъ забилась и затрепетала надъ безмолвной равниной: взлетали вверхъ фонтаны брызгъ и мелкихъ кусковъ льда, и межъ ними странно и быстро ворочалось что-то широкое, черное...

Поднятая кверху рука Мотьки упала, застывшее лицо дрогнуло.

— Провалился!.. Тонетъ!..

Точно кто-то ударилъ его сзади, по темени и по затылку.

— Тонетъ!.. Спасите!..

И вдругъ Мотька рванулся и побѣжалъ.

Окоченѣлыми, неразгибающимися ногами мчался онъ впередъ, противъ вѣтра, скользя и шатаясь... Вотъ уже несется онъ по длинной полосѣ темнаго, неокрѣпшаго, всего два дня назадъ образовавшагося льда. Ледъ этотъ трещалъ и гнулся, какъ тонкая пароходная сходня, и вода подъ нимъ хлюпала и билась, и

мѣстами, сквозь трещины, проступала навѣрхъ и тихо разливалась широкими, темными пятнами...

— Держись, держись! — какимъ-то страннымъ, не своимъ, а совершенно новымъ, смѣлымъ, звонкимъ голосомъ кричалъ Мотька, напряженно глядя впередъ, на то мѣсто, гдѣ барахтался Митричъ. — Я помогу!.. Держись!..

Но тонкая ледяная скатерть вдругъ злобно заскрежетала подъ нимъ, и лѣвая нога его провалилась. Онъ сильно дернулъ ногой. Сапогъ, задержанный льдомъ, остался въ водѣ, и Мотька, босой, помчался дальше.

А впереди фонтаны брызгъ уже не вздымались, и не летѣли больше кверху обломки льда. Мелькалъ только среди черной воды и сѣрыхъ льдинъ широкій синій поясъ утопавшаго, и чуть свѣтлѣла его крупная, обросшая желтыми волосами голова. Слышно было тяжелое плесканіе, и, не сливаясь съ нимъ, со страшной отчетливостью бился прерывистый, молящій стонъ:— Православные... голубчики... спасите...

— Держись, не бойся!—кричалъ Мотька, подбѣгая къ самому краю льда.—На!.. Хватай... держись крѣпко!..

Онъ быстро сорвалъ съ себя куртку, ухватилъ ее за рукавъ и, взмахнувъ высоко надъ головой, швырнулъ на воду, къ Митричу.

— Хватайся за куртку... я потащу...

Митричъ какъ-то странно закружился и вытянулся. До куртки, мутнымъ, бѣлесоватымъ пятномъ распластавшейся на черной водѣ, оставалось аршина два разстоянія... Митричъ забарахтался, стараясь подплыть, но силы покидали его: падая, онъ остріемъ лома поранилъ себѣ шею. Теперь кровь обильно лилась изъ раны, окрашивая воду темнымъ багрянцемъ.

— Родненькій... голубчикъ... — прошепталъ Митричъ, узнавая Мотьку:—прости, Христа ради!..

— Держись, хватайся!.. Ну, хватайся же!..

Мотька выдернулъ изъ воды куртку и опять плюх-

нулъ ее на воду. Теперь она была отъ утопаннаго всего на аршинъ. Митричъ протянулъ къ ней руку, но водой ее относило въ сторону. Тогда Мотька сѣлъ на колѣни, отвелъ лѣвую руку назадъ и, машинально пальцами, за что бы ухватиться, всѣмъ корпусомъ перегнувшись къ Митричу, и въ третій разъ бросилъ куртку. Отъ сильныхъ движеній Мотьки ледъ и на немъ поддался и затрещалъ, и на него хлынула вода.

Мотька вскочилъ и сдѣлалъ шагъ назадъ. На эту минуту желтое пятно на водѣ судорожно свело и погрузилось... И Мотька весь затрепеталъ. высоко поднялъ обѣ руки, и съ размаху бросился в воду.

Крѣпко и со злобной радостью охватила вода тощее, хилое тѣло, и съ силой ударила по худому лицу. Мотька отвѣтилъ ударами, — яростными, дикими. Онъ билъ воду руками, ногами, дробилъ плававшую по ней сѣрую льдины, и рѣзалъ ее своею усталой грудью. Онъ плавалъ теперь такъ же плохо и неумѣло, какъ и въ дѣтствѣ, когда прибѣгалъ на эту жерть купаться и когда „мѣсилъ булки“. Но физическая усталость дѣлала теперь его работу еще болѣе тяжелой... Онъ билъ воду руками, растрачивая безъ необходимости незначительные остатки своихъ небольшихъ силъ, и дѣлалъ какіе-то сложные, удлинявшіеся зигзаги. Вскорѣ онъ все же добрался до широкаго черно-багроваго пятна, среди котораго тусклымъ гомомъ свѣтлѣла вновь вынырнувшая голова Митрича.

— Не бойся!... Не бойся!.. Не утонешь...

Мотька протянулъ впередъ лѣвую руку, схвативъ за синій платокъ, которымъ былъ опоясанъ Митричъ, и, дѣйствуя одной правой рукой и ногами, поплылъ. Багровое пятно около головы Митрича разорвалось, вытянулось въ узкую полосу.

— Доплывемъ... Не бойся!..

Оба подвинулись шага на два. Но синій платокъ

Митричъ вдругъ развязался, тихо скользнулъ, и Митричъ, отъ потери крови впавшій въ обморочное состояніе, сталъ быстро погружаться. Мотъка успѣлъ, однако же, схватить его за фуфайку, и отчаянное барахтанье началось снова...

Брызги подымались бѣлой тучей, падали на Мотъку, на его лицо, ослѣпляли его, кололи, жгли. Снизу была въ лицо черная вода, и она вливалась въ ротъ, и Мотъка захлебывался и давился. Намокшая одежда облѣпляла тѣло какъ пластырь, увеличивала его тяжесть и затрудняла движенія. Грузное тѣло Митрича, безмолвное и окаменѣвшее, тянуло назадъ, тянуло внизъ... Мотъка цѣпко, тонкими пальцами держалъ полу его фуфайки и плылъ. Но плыль онъ не въ одномъ какомъ-нибудь опредѣленномъ направленіи—къ краю проруби, къ сплошной массѣ крѣпкаго и прочнаго льда,—а кружился и барахтался, какъ попало, и почти не двигался съ мѣста. Силы его падали. Правое плечо стало ломить и жечь, какъ если бы его насквозь проткнули раскаленнымъ желѣзомъ. Мотъка дѣйствовалъ теперь почти однѣми только ногами. Но и ноги ослабѣли, и ихъ стала сводить судорога. Онъ не могъ уже бороться, замеръ—и погрузился... Новый послѣдній запасъ силы пролился, однако, въ его мышцы—и онъ выплылъ, извлекая на поверхность и Митрича. Большая трехугольная льдина тихо качалась передъ его лицомъ. Онъ ухватился за ея край и навалился на нее грудью. Нѣсколько мгновеній льдина поддерживала его. Но потомъ стала медленно пригибаться и вдавливаться въ воду. Грудь Мотъки соскользнула, и льдина, освобожденная, отошла въ сторону, приняла опять горизонтальное положеніе и спокойно остановилась. Мотъка потянулся къ ней, опять сталъ бить ногами, но въ лѣвомъ колѣнѣ пробѣжала вдругъ невыносимо-острая боль,—точно сразу выдернули изъ него всѣ кости—и нога осталась скрюченной. Глаза Мотъки

уже ничего не различали, вода свободно входила къ нему въ ноздри и въ ротъ. Митричъ, какъ гранитная глыба, тянулъ внизъ. И оба они опять погрузились...

Вверху, попрежнему, грозно рокотала черно-багровая вода, а большая, сѣрая льдина безучастно дремала въ сторонѣ...

Р А Б Ъ.

Натурщикъ, здоровенный итальянецъ, съ бычачьей шеей и глазами идіота, спрыгнувъ съ подставки, снялъ съ себя пышную, подбитую горностаемъ порфиру и сталъ разминать члены. За четыре часа позированья они у него порядкомъ отекали и онѣмѣли. Раза два онъ перегнулся направо, потомъ налево, потомъ сталъ выпрямлять ноги.

— Завтра сеанса не будетъ, — пробормоталъ Сойферъ, съ сумрачнымъ видомъ поглядывая на свою картину.— Можете не приходите.

Натурщикъ весело ухмыльнулся. Плату онъ получалъ не за каждый сеансъ въ отдѣльности, а помѣсячно, и потому пропуску былъ радъ.

— Послѣзавтра, значить?— освѣдомился онъ.

Сойферъ не отвѣчалъ.

— Значить, послѣзавтра?.. Въ половинѣ второго?

Толстый итальянецъ видѣлъ, что Сойферъ сегодня нервничаетъ и раздражается, и у него явилась догадка, что художникъ нездоровъ, и что онъ, пожалуй, захочетъ предоставить себѣ нѣсколько дней отдыха.

— Я приду послѣзавтра,—насторожившись, заявилъ итальянецъ.

— Не нужно, — тихо отвѣтилъ Сойферъ. — Скорѣй ужъ въ понедѣльникъ... Я вамъ напишу...

Натурщикъ торопливо надѣлъ свою плисовую курт-

ку, завязавъ на шеѣ косынку и ушелъ. А Сойферъ, отложивъ въ сторону палитру и кисти, съ видомъ утомленнаго и недовольнаго человѣка, опустился въ кресло.

Сегодня передъ сеансомъ приходилъ къ нему Гумпловичъ, совсѣмъ еще юный скульпторъ, на-дняхъ только пріѣхавшій въ Римъ изъ небольшого галиційскаго мѣстечка. Молодой человѣкъ этотъ долго и внимательно разсматривалъ находившіяся въ мастерской работы. И когда онъ пересмотрѣлъ ихъ всѣ, на лицѣ его изобразилось какое-то странное недоумѣніе.

— У васъ, значить, совсѣмъ нѣтъ картинъ изъ еврейской жизни?—спросилъ онъ.

Сойферъ нахмурился.

— Нѣтъ... Теперь нѣтъ...

— Можетъ быть, есть что-нибудь давнишнее... старое... какіе-нибудь наброски?

— Я вамъ показалъ все, что можно было,—холодно отвѣтилъ Сойферъ.—Даже больше, чѣмъ можно было... Ничего больше нѣтъ...

Гумпловичъ промолчалъ.

Для приличія онъ перевернулъ нѣсколько страницъ большого парусиноваго альбома, который держалъ на колѣняхъ, потомъ всталъ и взялся за шляпу.

— А, впрочемъ, подождите, — съ едва замѣтной улыбкой сказалъ Сойферъ. — Вотъ еще кое-что... моя послѣдняя работа.

Онъ пошелъ въ уголъ мастерской и, оставивъ къ стѣнѣ нѣсколько папокъ, опиравшихся на ноги тяжелаго орѣховаго мольберта, выкатилъ на средину комнаты большое и почти квадратное полотно.

— Вотъ, смотрите...

Гумпловичъ бросилъ взглядъ на картину, и тотчасъ же глаза его, мгновенно наполнившіеся и печалью, и изумленіемъ, перешли на стараго художника.

— Филиппъ Войнарь?—спросилъ онъ.

Въ голосъ его было что-то такое, отчего Сойферъ почувствовалъ внезапное смущеніе.

— Да, Филиппъ Войнаръ.

Минуты двѣ Гумпловичъ стоялъ молча. И смотрѣлъ онъ не на картину, а внизъ, на полированные ноги мольберта.

— Извините меня, — началъ онъ потомъ, слегка насупившись. — Извините мою смѣлость... Но... меня удивляетъ, что вы пишете эту картину.

Сойфера передернуло.

— Что такое?

Онъ смотрѣлъ на молодого человѣка въ упоръ, и въ глазахъ его засверкала холодная злоба.

— Я говорю: меня удивляетъ, что вы пишете портретъ Войнара.

— Вотъ какъ!.. Это почему же?

— Полагаю, что вы и сами знаете почему, — сдержанно отвѣтилъ Гумпловичъ.

— Я ничего не знаю.

Гумпловичъ нахмурился сильнѣе, и щеки его вдругъ покрылись краской.

— Не знаете?.. Объяснять надо?..

— Пожалуйста, объясните.

— Войнаръ—нашъ врагъ, нашъ мучитель, вотъ и объясненіе, — рѣзко отчеканилъ Гумпловичъ. — Я этого человѣка знаю очень хорошо: мѣстечко, гдѣ я жилъ, лежитъ совсѣмъ близко отъ области, которою управляетъ этотъ магнатъ. И я знаю, — какъ и всѣ это знаютъ, — что Войнаръ тиранитъ все населеніе страны — и венгровъ, и чеховъ, и нѣмцевъ, а больше, чѣмъ всѣмъ, достается намъ... Вы тоже отлично знаете, сколько этотъ варваръ выпилъ еврейской крови... И я думаю, что художникъ-еврей не долженъ его писать. Не долженъ! — съ горячностью повторилъ Гумпловичъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ слава Сойфера стала меркнуть. Потому ли, что талантъ его дѣйствительно пришелъ

въ упадокъ, потому ли, что не было больше тѣхъ счастливыхъ случайностей, отъ которыхъ такъ много зависитъ успѣхъ каждаго живописца,—трудно сказать. Но такъ или иначе, а о человѣкѣ, въ свое время приковывавшемъ къ себѣ общее вниманіе, стали понемногу забывать. Самолюбіе художника было глубоко уязвлено, и онъ сильно страдалъ. Онъ становился угрюмымъ, ворчливымъ, замѣтно опускался и старѣлъ, и голова его изъ сѣрой быстро превратилась въ бѣлую... У него развилась бессонница, и часто мучили кошмары—дикіе и странные...

Докторъ, къ которому онъ обратился, прописалъ пилюли и души, но значеніе имъ, видно, придавалъ небольшое и усиленно подчеркивалъ необходимость спокойствія. А именно спокойствія у Сойфера не было. Какъ-то незамѣтно, въ короткое время сдѣлалось то, что онъ сталъ смотрѣть на себя, какъ на отжившаго. Угасли надежды и ожиданія, не складывались уже новые планы, не рождались новые образы. Вспышки вѣры въ себя являлись рѣдко, очень рѣдко, обычное же настроеніе было сумрачное, тоскливое... Особенно тоскливымъ было оно потому, что Сойфера все тянуло оглядываться назадъ, на прошлое,—а прошлое это казалось ему и темнымъ, и недобрымъ... И чѣмъ больше и глубже вдумывался онъ въ пережитое, чѣмъ пристальнѣе всматривался въ разные эпизоды своей жизни, тѣмъ тревожнѣе и тягостнѣе становилось у него на душѣ...

Сознаніе того, что не все шло, какъ нужно, сознаніе виноватости давило его безпрестанно. Онъ за многое укорялъ себя, сильно и рѣзко, и въ послѣдніе дни ему не разъ приходило въ голову, что исполненіе портрета Войнара—поступокъ нисколько не лучшій. Чѣмъ тѣ, за которые онъ такъ горько упрекаетъ себя... И потому горячія и почти гнѣвные слова Гумпловича вызвали въ немъ непобѣдимую и острую боль.

— Да, но по какому праву онъ мнѣ все это говорить?—мелькнуло вдругъ у Сойфера:—попрошу его удалиться, вотъ и все.

Но попросить удалиться старикъ не могъ. И передъ дерзкимъ гостемъ своимъ, передъ этимъ нескладнымъ юнцомъ въ коротковатыхъ брюкахъ и перелицованной визиткѣ, онъ стоялъ сконфуженный, растерянный и, не зная, что сказать, нервно покусывалъ губы.

„Я какъ будто боюсь его“, съ удивленіемъ думалъ онъ. „Точно онъ и въ самомъ дѣлѣ можетъ судить меня... И я хочу оправдаться... И хочу заслужить его одобреніе... Да вѣдь и портретъ Войнара я показалъ ему, чтобы заслужить одобреніе... Щегольнуть хотѣлъ, показать, что вотъ, хоть меня и затираютъ, и не признаютъ больше, а такая важная, крупная особа, какъ этотъ властный магнатъ, все-таки мнѣ поручаетъ писать свой портретъ... Я думалъ импонировать этимъ заказомъ... Какъ глупо, Боже мой, какъ глупо!“...

— Послушайте,—началъ Сойферъ, приблизившись къ Гумпловичу.—Послушайте: вы вотъ наговорили мнѣ дерзостей, а вѣдь знаете?—вѣдь это мнѣ нравится.

На губахъ старика легла странная гримаса. И глядя на его лицо, трудно было опредѣлить,—испытываетъ онъ боль въ эту минуту, или ему хочется улыбаться.

— Мнѣ это нравится,—повторилъ онъ.—Мнѣ нравится ваша пылкость... Пять минутъ тому назадъ вы были почтительны, скромны, робки,—а теперь вы чуть не кричите на меня... Нѣтъ, нѣтъ, не извиняйтесь! Этого совсѣмъ не нужно... Лучше вы вотъ что сдѣлайте: выслушайте меня внимательно, и вы убѣдитесь, что вы не правы. Видите ли,—продолжалъ Сойферъ нѣсколько болѣе спокойнымъ голосомъ,—вѣдь я не просто портретъ Войнара пишу. Вѣдь это—не такой портретъ, гдѣ художникъ стремится передать одно лишь внѣшнее сходство. Это—портретъ психологическій, или, если хотите, портретъ-символь... Я воспользовался

заказомъ Войнара, чтобы выразить извѣстную идею. Идею силы. Идею власти. Вы понимаете меня?

— Нѣтъ, не понимаю, — сухо отвѣтилъ Гумпловичъ.

— Не понимаете?—Лицо у Сойфера потемнѣло.

— Не понимаю.

Гумпловичъ все такъ же угрюмо смотрѣлъ внизъ, на ноги мольберта.

— Портретъ психологическій, портретъ-символь... — пробормоталъ онъ. — Я отлично знаю, что дѣятельностью Войнара можно вдохновиться—можно написать цѣлую серію картинъ изъ его жизни. Но вѣдь для этого необходимо, чтобы художникъ былъ свободенъ, чтобы вдохновеніе его было свободно, чтобы оно не было приведено за чубъ самимъ же этимъ Войнаромъ, который платитъ за картину столько-то тысячъ...

— Дальше-съ,—процѣдилъ Сойферъ, складывая на груди руки и глядя на скульптора прищуренными глазами.

Ему хотѣлось, чтобы тонъ его и лицо выражали насмѣшку и гордое презрѣніе, но онъ чувствовалъ очень хорошо, что всего меньше расположенъ теперь именно къ насмѣшкѣ...

— Нужно, чтобы художникъ могъ свободно выразить свою мысль,—продолжалъ Гумпловичъ, — всю свою мысль; чтобы онъ могъ дать полную свободу своему чувству... А развѣ вы теперь находитесь въ этихъ условіяхъ?.. Вѣдь не напишете же вы Войнара такимъ, какимъ вы на самомъ дѣлѣ его понимаете?

— Вы думаете?

— А вы этого не думаете? — Гумпловичъ усмѣхнулся. — Я бы это думалъ и тогда, если бы вашей работы еще не видѣлъ, и если бы еще не слыхалъ вашихъ объясненій. Теперь же дѣло болѣе, чѣмъ ясно. Вы и сами говорите: „пользуюсь заказомъ, чтобы выразить идею“. Зачѣмъ же для выраженія идеи „за-

казъ“?.. И потомъ, изображая Войнара, вы выражаете „идею силы“, „идею власти“. А мнѣ кажется, что здѣсь идею варварства выразить надо, идею дикаго насилія...

Теперь, когда со времени ухода Гумпловича прошло уже часовъ пять, Сойферъ, закрывъ глаза рукой, сидѣлъ въ креслѣ, и высокій, взволнованный теноръ молодого скульптора все еще звучалъ въ его ушахъ.

„Нужно дать полную свободу своему чувству... Нужно, чтобы вдохновеніе было свободно... Чтобы оно не было приведено за чубъ заказчикомъ“...

Да, это нужно, — думалъ старикъ, — это нужно... Но этого никогда не было. Вдохновеніе онъ всегда подчинялъ постороннимъ соображеніямъ, мысль связывалъ, чувство душилъ... И потому жизнь его, съ виду такая блестящая, эффектная и вызывавшая удивленіе и зависть, была въ сущности жизнью жалкой, искалченной и несчастной...

И рядъ воспоминаній, мстящихъ и жестокихъ, сталъ проходить въ душѣ Сойфера.

Изъ глухого польскаго мѣстечка, послѣ долгихъ лѣтъ штудированія талмуда, тщедушный, бѣдный, одинокій, пріѣхалъ онъ въ столицу учиться живописи. Ученіе пошло хорошо. Нашлись меценаты-евреи и устроили ему маленькую стипендію. Юноша работалъ съ огромнымъ прилежаніемъ, — и по искусству, и надъ общимъ своимъ развитіемъ, и черезъ пять лѣтъ послѣ пріѣзда въ Петербургъ выставилъ свою первую картину. На ней изображенъ былъ старый еврей, преслѣдуемый сворой разъяренныхъ псовъ. Еврей, изсохшій, сгорбленный, измученный, съ выраженіемъ дикаго ужаса на лицѣ, бѣжитъ, испуская вопли, а псы окружили его со всѣхъ сторонъ и уже не даютъ ему возможности спастись. Въ то время, какъ разныхъ породъ и мастей собаки рвутъ его съ боковъ за кафтанъ

и вонзаютъ ему зубы въ икры, огромная лохматая дворняжка забѣжала впередъ, высоко подскочила и, яростно лая, какъ бы повисла въ воздухѣ, передъ самымъ лицомъ несчастнаго старика...

Картина эта не прошла незамѣченной. Публика передъ ней останавливалась съ любопытствомъ, а въ газетахъ появилось два-три благопріятныхъ отзыва. Милліонеръ Цукерманъ, любитель искусства и покровитель талантовъ-евреевъ, прочитавъ эти отзывы, купилъ картину. Заплатилъ онъ за нее пустякъ, но на недостатки указывалъ съ большой настойчивостью.

— Если у васъ не будетъ на обѣдъ,—можете когда-нибудь зайти ко мнѣ,—говорилъ онъ:—слава Богу, у меня всегда найдется чѣмъ удовлетворить аппетитъ...

Послѣ первой картины Сойферъ написалъ еще нѣсколько жанровъ, и всѣ они болѣе или менѣе нравились.

Однихъ подкупала жизненность и выразительность фигуръ, другіе хвалили яркость красокъ, третьи находили, что картины интересны потому, что даютъ возможность знакомиться съ еврейской жизнью.

Въ общемъ всѣ отзывы сводились къ тому, что дарованіе у дебютанта скромное, но симпатичное. Чего-нибудь крупнаго, выдающагося отъ него ожидать, пожалуй, нельзя, но на нашихъ, не слишкомъ богатыхъ талантами, выставкахъ онъ все же является человѣкомъ нелишнимъ. Часто выражали сожалѣніе о томъ, что художникъ замыкается въ „узкую сферу еврейскихъ интересовъ“, и приглашали его братья за сюжеты и изъ русской жизни...

Эти приглашенія вначалѣ не производили на Сойфера никакого впечатлѣнія. Онъ былъ еврей съ головы до ногъ, „каждый дюймъ“ въ немъ былъ еврей; онъ отлично зналъ еврейскую жизнь, еврейскую душу, и считалъ поэтому, что изображать можетъ только евреевъ. Но съ теченіемъ времени тяжелое беспокойство

стало прокрадываться въ его сердце... Честолюбіе его не было удовлетворено...

„Умѣренное дарованіе“, „нелишній человѣкъ“, „любопытный жанрикъ“—всѣ эти выраженія обижали его, оскорбляли, злили... Люди, значительно менѣе одаренные, заставляли о себѣ говорить, завоевывали видное положеніе, получали отличные заказы. Ему же приходилось ухаживать за Цукерманомъ, и тотъ иногда пристраивалъ его этюды — по десяти, по пятнадцати рублей. Покровитель евреевъ-танантовъ при этомъ горестно кряхтѣлъ и пространно объяснялъ, что у него на шеѣ цѣлая дюжина художниковъ, и что вчера еще только онъ ходилъ съ однимъ изъ нихъ на толкучій и на свои собственные деньги купилъ ему пальто.

— А что мнѣ остается дѣлать? У него талантъ не то, что у другихъ,—мазь да ляпъ,—вотъ тебѣ и этюдъ. Лишь бы содрать рубль.

Цукерманъ устремлялъ на Сойфера пронизывающій взглядъ.

— Этотъ художникъ — геній! И идеалистъ. Что же, дать ему замерзнуть?... А наши евреи искусства не понимаютъ и художниковъ своихъ поддерживать не хотятъ...

Съ этимъ послѣднимъ соглашался и Сойферъ.

Евреи только тогда его оцѣнятъ и станутъ имъ дорожить, когда онъ добьется широкой извѣстности у русской публики. О, тогда они его на рукахъ будутъ носить, будутъ имъ гордиться и хвастать... Подобно тому, какъ русскому товару, чтобы быть проданнымъ за тройную цѣну, нужно носить на себѣ заграничную марку, и художнику-еврею, чтобы пользоваться уваженіемъ своихъ братьевъ, нужно предварительно быть признаннымъ христіанами... Это уже дѣло провѣренное. Но бѣда въ томъ, что еврейскими сюжетами трудно обратить на себя вниманіе русской публики. Чтобы завоевать у нея славу, надо выйти изъ „узкой сферы

еврейскихъ интересовъ“ и надо писать картины изъ русской жизни.

А этого Сойферъ сдѣлать не могъ.

— Развѣ я способенъ написать хорошую, прочувствованную картину изъ русской жизни?—спрашивалъ онъ себя.

И затѣмъ онъ думалъ, что если бы ему двѣ-три такія картины удались, и онъ успѣлъ бы подняться и составить себѣ имя, онъ потомъ опять вернулся бы къ еврейскимъ сюжетамъ, и ужъ тогда работалъ бы совершенно спокойно, и какъ слѣдуетъ.

Однако же, такія думы были ему непріятны, и первое время онъ всѣми силами старался ихъ отгонять.

Ему въ нихъ чудилось что-то подозрительное, нечистое, и въ глубинѣ души шевелилось раздражающее сознаніе, что такія разсужденія напоминаютъ обѣщанія, которыми обыкновенно успокаиваютъ себя жадные, но не окончательно еще оподлившіеся дѣльцы: и богадѣльню выстрою, и на больницу пожертвую—вотъ только какъ слѣдуетъ капиталъ округлю...

Онъ колебался... Но матеріальная стѣсненность, покровительство Цукермана, да эпитеты „нелишній“, „не лишенный способностей художникъ“—дѣло свое дѣлали неуклонно...

— Не лишенный способностей, не лишній человѣкъ... Да вѣдь у меня таланта въ двадцать разъ больше, чѣмъ у тѣхъ господъ, которыхъ вы перевозите. Но вамъ мои картины мало понятны, онѣ вамъ чужды, онѣ васъ не волнуютъ, и я для васъ „не лишенный способностей“... Погодите же, я покажу себя...

И Сойферъ затѣялъ смѣлое предпріятіе.

Онъ началъ большую историческую картину. И черезъ пятнадцать мѣсяцевъ упорной и лихорадочной работы выставилъ огромное полотно, „Пиръ Владиміра Святого“.

Это произведеніе имѣло крупный успѣхъ.

Оно было гвоздемъ выставки, о немъ много писали и говорили, и имя молодого художника сразу приобрѣло большую извѣстность. Особенно распинаясь за Сойфера тѣ именно критики, которые въ свое время приглашали его выйти изъ „узкой сферы“. Они расхваливали картину выше всякой мѣры, кричали о сильномъ талантѣ, о тонкомъ пониманіи исторіи, о своеобразной индивидуальности, — и при этомъ все подчеркивали свои собственныя заслуги, свою прозорливость, свое умѣніе отыскивать дарованіе, свое умѣніе направлять ихъ на настоящую дорогу...

Шума было много, и богатѣ-коллекціонеръ купилъ картину для публичной галлерей.

Сойферъ, вчера еще не имѣвшій на натурщиковъ и на раму, вдругъ увидѣлъ себя обладателемъ капитала, на который можно было бы прокормить населеніе его родного мѣстечка въ теченіе добрыхъ шести мѣсяцевъ... Онъ торжествовалъ. Дорога его намѣчалась широко и открыто, и было ясно, что на ней его ждутъ новыя и еще болѣе шумныя и значительныя успѣхи. Онъ торжествовалъ... но чадный осадокъ чего-то горькаго и ядовитаго мутилъ его душу. И порою Сойферъ начиналъ сомнѣваться въ достоинствахъ своей прославленной картины. Какъ мало у него общаго съ Владиміромъ! И что ему до того, что Красное Солнышко пируетъ? Пируетъ ли, тоскуетъ ли, прогуливается ли спокойно по берегу Днѣпра—какое ему, Сойферу, до всего этого дѣло?.. И если ему до этого дѣла нѣтъ, и никакой связи между душой изображеннаго имъ чело-вѣка и его собственной не существуетъ, то развѣ могъ онъ создать нѣчто дѣйствительно хорошее?.. Нѣтъ ли здѣсь какой-нибудь ошибки, какого-нибудь тяжелаго недоразумѣнія?..

— Я напишу теперь Іегуду Галеви подѣ стѣнами Іерусалима,—обѣщалъ себѣ Сойферъ.

И, изгоняя этимъ обѣщаніемъ изъ своего сердца

безпокойство, онъ спѣшилъ отдаваться неизвѣданнымъ доселѣ „радостямъ сытаго бытія“...

„Іегуду Галеви“ онъ обдумалъ во всѣхъ деталяхъ и успѣлъ даже сдѣлать для него нѣсколько эскизовъ. Но тутъ у него явился вопросъ: не рано ли возвращаться къ еврейскимъ сюжетамъ? Кто пойметъ эту картину? Кто ее прочувствуетъ и оцѣнитъ?

Христіанамъ Галеви неизвѣстенъ, и они опять станутъ упрекать его въ томъ, что онъ замыкается въ „узкой сферѣ“, а евреи... евреи...

Сойферу рисовалась упитанная, рыхлая фигура Цукермана, и онъ пожималъ плечами.

Цукерманъ передъ увѣнчаннымъ художникомъ чуть не ползалъ. Онъ метался по городу, отъ знакомаго къ знакомому, и съ восхищеніемъ и съ невѣроятной шумливостью оповѣщалъ всѣхъ о своей близости къ Сойферу.

— Онъ у меня всегда обѣдаетъ. И почуветь тоже. Онъ у меня какъ родной сынъ. Развѣ вы знаете, что это за геніальный человѣкъ! И что это за идеалистъ!

Одинъ изъ этюдовъ, служившихъ для „Пира“, покровитель талантовъ выпросилъ себѣ въ подарокъ.

— Я же не настолько богатъ, чтобы покупать такіа знаменитыя вещи,—вздыхая, говорилъ онъ.

И Сойферъ думалъ теперь, что слава его недостаточно упрочена, и что съ „Іегудой Галеви“ надо еще подождать.

Подождать, впрочемъ, надо было еще и потому, что картину нельзя было писать, не побывавъ въ Іерусалимѣ. Надо было хорошенько изучить тамошній пейзажъ и освѣщеніе, и надо было поискать на мѣстѣ соответствующихъ натурщиковъ. Уѣзжать же изъ Петербурга мѣшали Сойферу нѣкоторые полученные имъ заказы. И вотъ эскизы для „Іегуды“ онъ на время отставилъ.

Послѣдовалъ затѣмъ еще цѣлый рядъ картинъ, а

поѣздка въ Іерусалимъ все откладывалась. И только лѣтъ черезъ пятнадцать, упоенный успѣхами, заласканный, захваленный, собрался Сойферъ въ Св. Землю. Но когда онъ оттуда вернулся, то написалъ не „Іегуду Галеви“, а „Паломниковъ у гроба Господня“.

Около часу просидѣлъ Сойферъ неподвижно, погруженный въ далекія воспоминанія. Потомъ онъ поднялся и сталъ расхаживать по мастерской. Онъ ступалъ медленно, тяжело и при каждомъ шагѣ грузно припадалъ на лѣвую ногу.

Въ мастерской стоялъ свойственный ей запахъ скипидара и свѣжихъ красокъ. Въ обыкновенное время Сойферу этотъ запахъ былъ пріятенъ и въ своемъ родѣ даже нуженъ: онъ возбуждалъ его, настраивалъ, пріохочивалъ къ работѣ. Теперь онъ ему мѣшалъ. Воздухъ съ трудомъ протискивался къ нему въ грудь и, протискавшись, назадъ какъ будто уже не выходилъ: онъ какъ бы сгущался, твердѣлъ и толстымъ пластомъ чего-то жирнаго и теплаго наваливался на сердце. И сердце отъ этого билось сильно и неровно и временами болѣзненно вздрагивало.

Сойферъ подошелъ къ окну и открылъ его. Смеркалось. На зеленоватомъ небѣ, среди замершихъ въ неподвижности, тяжелыхъ, фіолетовыхъ тучъ беззвучно загорались блѣдныя звѣзды. Движенія на улицѣ не было—ни экипажей, ни пѣшеходовъ,—и въ задумчивой тишинѣ отчетливо слышался протяжный речитативъ нищенки, просившей неподалеку, у роскошнаго, стариннаго палаццо... Сойферъ сталъ прислушиваться. И въ уныломъ, надорванномъ голосѣ нищенки ему почудилось что-то какъ будто знакомое — старое и родное...

Нищенка удалилась, причитаніе ея становилось все глуше и глуше, и вотъ, наконецъ, оно замерло совсѣмъ, оборвавшись на тихомъ и печальномъ стонѣ...

„Эль-моле-рахмимъ“ *). — промелькнуло вдругъ у Сойфера.

Онъ пошатнулся и схватился за сердце.

— Нѣтъ, пустое... пустяки,—пробормоталъ онъ.

Онъ захлопнулъ окно, задернулъ занавѣски и снова зашагалъ по комнатѣ.

Думалъ онъ теперь о „Паломникахъ“ и говорилъ себѣ, что нѣтъ ничего дурного въ томъ, что онъ ихъ написалъ. Паломники его поразили, его поразили ихъ экстазъ, ихъ наивная вѣра, онъ картину свою прочувствовалъ,—и, стало быть, могъ ее написать. Россіи, русской литературѣ онъ обязанъ очень многимъ. Онъ Россію любитъ, любитъ русскій народъ, и понятно и естественно, чтобы онъ для этого народа работалъ. Это тѣмъ болѣе естественно, что судьбы народовъ русскаго и еврейскаго во многомъ переплелись и слились, и что, работая для русскаго человѣка, работаешь въ то же время и для еврея. Это вѣрно. Но... но отчего же все-таки не написалъ онъ своего „Іегуду Галеви“?..

Отчего за всю свою долгую дѣятельность, съ тѣхъ поръ, какъ онъ приобрѣлъ имя, онъ не взялъ ни одного еврейскаго сюжета?..

И теперь Сойферъ отвѣчалъ себѣ прямо, безъ изворотовъ: оттого, что это было ему неудобно.

Ему неловко было писать евреевъ, ему неловко было напоминать о своемъ происхожденіи. Ему это происхожденіе простили, и онъ это прощеніе принялъ. Онъ съ благодарной радостью принялъ его.

Евреи не могли ему дать много,—и онъ отъ нихъ ушелъ. О томъ же, что онъ могъ много дать имъ, онъ не думалъ.

— А впрочемъ... нѣтъ... — пробормоталъ Сойферъ, проводя тихо дрожавшей рукой по лицу.—Я думалъ объ этомъ, и не разъ этимъ томился...

*) Слова молитвы, которою отцѣвываютъ покойниковъ.

И какъ ни строгъ былъ теперь къ себѣ старый художникъ, онъ не могъ все-таки обвинить себя въ полной безучастности къ евреямъ. Ему было ясно, что онъ вовсе не принадлежитъ къ тѣмъ одеревенѣлымъ проходнякамъ, которые, отдѣлившись отъ своего народа и измѣнивъ и ему, и его вѣрѣ, съ полнымъ спокойствіемъ устраиваютъ собственныя дѣлишки подъ бокомъ у страдающаго брата. Онъ спокойнымъ не былъ. Онъ томился. Но томленіе это было поверхностное, безплодное... Народа своего онъ не забылъ. Но отъ народа этого онъ ушелъ. Онъ вмѣстѣ съ евреями не боролся и рядомъ съ ними не работалъ. Они все для него работали вѣками. Они накапливали для него неисчислимыя духовныя сокровища, они сообщали ему свою силу, свой духъ. Они изъ своихъ страданій выковали его талантъ, а онъ, все это взявъ и всѣмъ этимъ воспользовавшись, ничего въ оплату не далъ...

Онъ даже частную жизнь свою устроилъ такъ, чтобы быть отъ евреевъ подальше. Знакомство онъ поддерживалъ только съ тѣми изъ нихъ, которые могли быть полезными,—съ богачами, съ вліятельными журналистами. Массу же, бѣдноту, несчастную и неизящную еврейскую бѣдноту, ту самую, изъ которой онъ вышелъ и самъ, онъ тщательно избѣгалъ...

Разъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, онъ прогуливался по одной изъ одесскихъ улицъ съ мѣстнымъ тузомъ-армяниномъ. Шедшій имъ на встрѣчу старый, сѣдой еврей приблизился и по-еврейски спросилъ, гдѣ находится портняжная синагога. Софферъ смутился, заволновался и, окинувъ старика злобнымъ взглядомъ, безъ отвѣта поспѣшно отошелъ прочь...

Теперь воспоминаніе это такъ и жгло Соффера, и по блѣдному лицу его быстро промчалось выраженіе безразлижнаго гнѣва.

— Если бы то былъ не еврей, а армянинъ, и онъ

къ намъ обратился бы по-армянски, Терь-Егіазаровъ отъ него не убѣждалъ бы... Не убѣждалъ бы...

Сойферъ нервно подергивалъ свою густую клинообразную бороду и продолжалъ тяжелымъ, неровнымъ шагомъ ходить изъ угла въ уголъ.

„Нужно дать полную свободу своему чувству... Нужно выразить всю свою мысль“, думалъ онъ.

И теперь онъ ясно видѣлъ, что „всю“ свою мысль онъ не выражалъ никогда. Онъ всегда льнулъ къ сильнымъ, всегда старался имъ нравиться, старался угодить...

Началось съ того, что онъ ушелъ отъ своего народа. Потомъ въ этомъ направленіи шло и дальше... Онъ угождалъ... И результатомъ долготѣняго старанія угодить—явилось то, что онъ совершенно утратилъ свободу. Онъ добился извѣстности, нажилъ состояніе, приобрѣлъ поклонниковъ; но свободы, независимости у него меньше, чѣмъ у этого буйвола-натурщика, котораго за полъ-лиры каждый встрѣчный можетъ раздѣть до-нага и заставить позировать въ какомъ угодно положеніи...

Сюжетовъ изъ еврейской жизни онъ не бралъ. Но и другіе сюжеты онъ и выбиралъ, и обрабатывалъ всеѣмъ не такъ, какъ хотѣлъ. Онъ останавливалъ свое вниманіе только на такихъ явленіяхъ, которыя могли интересовать людей самыхъ противоположныхъ взглядовъ. И толкованіе жизни ухитрялся онъ давать такое, что оно приходилось по вкусу всеѣмъ: „и нашимъ, и вашимъ...“

Онъ шелъ, всегда озираючись. въ серединочкѣ, не склоняясь ни направо, ни налево... Одно время соблазняла его мысль написать большую картину изъ жизни Стеньки Разина,—но онъ эту мысль въ исполненіе не привелъ: сюжетъ былъ „неудобенъ“. Собирался онъ изобразить „голодную деревню“, но и это сдѣлать поостерегся... Остерегался онъ всегда. Всегда онъ передъ чѣмъ-то трусилъ и къ чему-то принаравливался. Свободнаго

размаха онъ не звалъ, и смѣлые порывы были ему неизвестны...

— Держалъ вдохновеніе за чубъ, — съ глубокимъ вздохомъ проговорилъ Сойферъ.

Ноги у него нѣмѣли и съ трудомъ сгибались, во всемъ тѣлѣ онъ чувствовалъ большую усталость... Онъ прислонился къ тяжелому пьедесталу, на которомъ стояла мраморная группа — два обнявшихся и заснувшихъ въ креслѣ полуголыхъ ребеночка. Солнце зашло уже совсѣмъ, но ночная чернота еще не спустилась, и въ мастерской разлитъ былъ тотъ странный и своеобразный сумракъ, который свойственъ однимъ только сверху освѣщаемымъ помѣщеніямъ.

— Какой любовью, какимъ миромъ вѣетъ отъ этихъ дѣтей, — пытался думать Сойферъ, устремляя глаза на смутно бѣлѣвшую массу мрамора. — Что если ихъ освѣтить сзади?

Онъ черкнулъ спичкой, подошелъ къ столу, гдѣ стояла высокая лампа, и сталъ снимать съ нея абажуръ и стекло. Но пока стекло было снято, спичка догорѣла. И новой Сойферъ уже не зажегъ. Онъ опять надѣлъ на стекло абажуръ и опустился въ кресло.

„Зналъ ли я истинное наслажденіе творчества?“ — спрашивалъ онъ себя.

И отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ отрицательный.

Ни наслажденій, ни мукъ творчества онъ не испытывалъ. Только тогда, въ молодости, въ дни дебютовъ, когда онъ писалъ свои мало-замѣтные жанры изъ еврейской жизни, только тогда онъ переживалъ глубокое и сильное волненіе. Сердце его сжималось и горѣло, и не разъ подступали къ глазамъ слезы. Были мгновенія когда онъ испытывалъ то сладкое страданіе, то мучительное, почти нестерпимое, но приближающее къ Богу трепетаніе души, которое доступно однимъ только рѣд

кимъ избранникамъ. Но потомъ... потомъ ничего этого уже не было...

Все, что онъ создавалъ потомъ, было глубоко продумано, иногда даже и прочувствовано, но никогда не выстрадано. Съ теченіемъ времени чувство его ослабѣвало, тускнѣло и блекло; онъ работалъ ремесленнически-спокойно, и волновалъ его только вопросъ о томъ, принесетъ ли новое произведеніе новые лавры и выгоды...

И лавры были... И выгоды были тоже...

Росло его имя, увеличивались доходы. Онъ много тратилъ и великолѣпно обставилъ себя. У него развились особые вкусы и потребности—и онъ ихъ въ полной мѣрѣ удовлетворяетъ. Но новыхъ работъ у него нѣтъ, а о прежнихъ стали говорить, что онѣ устарѣли. Отъ выходящаго изъ моды художника уже ничего не ждутъ, имъ не интересуются...

— Мои картины устарѣли,—прошенталъ Сойферъ.— И это именно оттого, что я въ нихъ не давалъ свободы моему чувству... Онѣ выходили хуже, чѣмъ то, что я могъ сдѣлать... А нѣкоторыя, даже уже написанныя, я собственными руками искажилъ и испортилъ... „Монастырскую келью“, напримѣръ...

И ему стала припоминаться странная исторія этой картины.

Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ умерла мать Сойфера, и онъ поѣхалъ на похороны въ родное мѣстечко. Въ томъ же мѣстечкѣ жилъ и дѣдъ художника, ребе Нусенъ, совсѣмъ уже ветхій старикъ. Онъ былъ раввинъ и учитель и всю свою жизнь отдалъ изученію талмуда и дѣламъ благотворительности. У этого человѣка были феноменальныя способности и сердце праведника. Онъ былъ одинъ изъ тѣхъ удивительныхъ еврейскихъ самородковъ, которые такъ часто и такъ оскорбительно-безполезно гибнутъ въ смрадныхъ тѣснотахъ роковой черты, и которые при условіяхъ менѣе жестокихъ могли

бы сдѣлаться гордостью и отрадой всего народа... Сойферъ выращенъ и взлелѣянъ былъ ребе Нусеномъ и на всю жизнь сохранилъ къ нему нѣжную привязанность и самое глубокое уваженіе. Теперь, очутившись въ родныхъ краяхъ, онъ вздумалъ занести дорогія черты на полотно и написалъ съ ребе Нусена картину „Поиски Бога“.

Картина эта ему удалась. Но когда она пришла въ Петербургъ, и Сойферъ поставилъ ее на мольбертъ, посреди мастерской, онъ вдругъ почувствовалъ тяжелую и досадную неловкость...

Онъ долго смотрѣлъ на свое новое произведеніе... и неловкость его все росла и росла...

Ему доложили, что пріѣхала графиня Штакельбергъ съ дочерью и внуками. Сойферъ покраснѣлъ, засуетился и поспѣшно повернулъ картину къ стѣнѣ...

И пока продолжался сеансъ—Сойферъ писалъ портретъ молодой графини—настроеніе у художника было нестерпимо-тревожное. Ему все казалось, что вотъ-вотъ старая графиня или ея внучата откатятъ отъ стѣны предательское полотно и увидятъ на немъ ребе Нусена. Штраймелъ *) увидятъ, пейсы увидятъ, увидятъ длинный, горбатый носъ...

Сеансъ окончился благополучно, заказчики уѣхали, не взглянувъ на Нусена. Безпокойство Сойфера нѣсколько улеглось. Но онъ понялъ теперь, что посылать картину на выставку ему нельзя... Нельзя, неудобно...

А картина, между тѣмъ, была такъ хороша! Такой глубокой одухотворенностью вѣяло отъ этого ушедшаго за облака искателя-старца, такой святостью сіяли его ясные, всевидяшіе глаза...

Отказаться отъ такого произведенія было бы совершенно неразсчитливо... И Сойферъ отъ него не отказался... Онъ скоро сообразилъ, что нужно сдѣлать, и нашелъ очень удачный выходъ...

*) Особый родъ шапки.

Голову ребе Нусена онъ скопировалъ и повѣсилъ у себя въ спальнѣ, а „Поиски Бога“ передѣлалъ.

Написалъ другой костюмъ и обстановку, убралъ пейзажи, измѣнилъ форму бороды и носа, тронулъ кое-что на лбу и подъ глазами, и картина пошла на выставку подъ названіемъ „Монастырская келья“...

— Господи, да неужели это было?!—простоналъ Сойферъ, судорожно стискивая пальцы.

И теперь все это казалось ему невѣроятнымъ, кошмарнымъ, безумнымъ...

Ни пребываніе въ родномъ гнѣздѣ, ни горестныя картины тамошней жизни, ни общеніе съ дѣдомъ, ни свѣжая могила матери — ничто не могло очистить его душу, освободить ее отъ рабскихъ чувствъ.

И Сойферу страшно было думать, что эти чувства владѣли имъ всю его жизнь. Только теперь, когда пришла старость, когда побѣлѣла его голова, когда лавры стали увядать и опадать, когда услугами стараго раба больше уже не хотятъ пользоваться и его, какъ ненужную, негодную тряпку, отбрасываютъ прочь, только теперь зашевелилось въ немъ что-то живое и человѣческое...

Но и теперь даже это человѣческое до такой степени слабо, что когда мѣсяць тому назадъ онъ получилъ заказъ Войнара,—онъ снова воспрянулъ и снова почувствовалъ себя и довольнымъ, и гордымъ...

На лицѣ Сойфера легло выраженіе глубокаго отвращенія. Онъ напряженно, остановившимися глазами, смотрѣлъ впередъ себя, и въ испуганномъ воображеніи его одна за другой вставали его старыя картины. И всѣ онѣ казались ему фальшивыми, невыразительными и бездарными. И со смѣшаннымъ чувствомъ недоумѣнія и страха думалъ онъ о томъ, что прожилъ жизнь, не используя своихъ силъ. Силы были ему даны большія. Ему дана была елать высшая, власть надъ человѣческими сердцами, а онъ ея пренебрегъ. Какъ оперный

пѣвецъ, который въ теченіе всей своей карьеры не пользовался бы самыми могучими, самыми звонкими и страстными нотами и пѣлъ бы октавой ниже, чѣмъ позволяли ему его голосовыя средства, такъ и онъ не использовалъ самыхъ дорогихъ и важныхъ свойствъ своего дарованія и создалъ только незначительныя, заурядныя и уже умирающія вещи...

О, если бы онъ не искажилъ „Поисковъ Бога“! О, если бы онъ и самъ искалъ Бога!..

Сойферъ сидѣлъ въ большомъ креслѣ, какъ-то наискось, опустивъ голову и спѣшивъ на груди пальцы. Онъ сидѣлъ долго, и мысли въ его головѣ стали туманиться и обрываться... „Рабья жизнь... Рабья, рабья!“

Темносиній сумракъ становился все гуще, мебель тонула въ немъ, теряя контуры, и съ рѣзкой опредѣленностью намѣчался только, стоявшій посреди мастерской, мольбертъ съ портретомъ Войнара.

— Какъ мацейва *)!—мелькнуло вдругъ у Сойфера, и онъ вздрогнулъ и закрылъ глаза.

Ему хотѣлось встать, разрушить мацейву, откатить мольбертъ въ уголъ и снять съ него полотно, но онъ какъ-то не рѣшался подняться.

Ему было жутко, невыносимо жутко, и онъ сидѣлъ въ оцѣпенѣніи, съ плотно закрытыми глазами. Но и съ закрытыми глазами, онъ все же продолжалъ видѣть грозную мацейву, и она какъ бы надвинулась еще ближе. И на ея большомъ и темномъ прямоугольникѣ холоднымъ блескомъ стала обозначаться какая-то черная надпись...

Сойферъ не хотѣлъ читать эту надпись, не хотѣлъ проникать въ ея тайный и ужасный смыслъ,—но это сдѣлалось помимо него. Мрачный блескъ буквъ прорѣ-

*) Надмогильный памятникъ.

зывать его сомнутыя вѣки, входилъ въ его глаза, въ его душу...

„Онъ ничего не сдѣлалъ для своего народа. Онъ служилъ врагу народа“...

Лицо у Сойфера затрепетало. И старому художнику показалось, что изъ груди его вырывается плачущій шопотъ: „да нѣтъ же, нѣтъ... этого не было... этого не будетъ“...

Сойферъ всталъ и, шатаясь, не отрывая отъ пола ногъ, дотащился до окна и отворилъ его...

Большія тучи, черныя, какъ сукно, которымъ накрываютъ покойниковъ, ползли по небу, а въ промежуткахъ, въ тревожномъ ожиданіи, когда одѣяніе смерти захватитъ и ихъ, дрожа горѣли зеленныя звѣзды. Безмолвнымъ стояло старинное палаццо черезъ дорогу, безмолвными были неподвижные кипарисы подъ окнами, и безмолвнымъ и мертвымъ въ этотъ часъ казался и весь огромный Римъ...

Сойферъ стоялъ, сжавшись, сгорбившись, положивъ обѣ руки на подоконникъ, и смотрѣлъ передъ собою въ черную глубину. И онъ чувствовалъ себя такимъ слабымъ, несчастнымъ и одинокимъ... бесконечно одинокимъ...

Онъ думалъ о томъ, что онъ—славный художникъ, что онъ почетный членъ разныхъ художественныхъ учреждений, что у него есть ордена, что онъ портретистъ коронованныхъ особъ—и думы эти вызывали въ немъ ненависть и отвращеніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ что-то похожее на нѣжность и состраданіе къ себѣ...

Онъ одинокъ... и одинокимъ онъ будетъ всегда... Въ завѣщаніи своемъ онъ написалъ, что хочетъ быть похороненнымъ на родномъ кладбищѣ. Но теперь онъ понимаетъ, что на это кладбище онъ не имѣетъ права. И когда придетъ его день, и его остывшее тѣло ляжетъ рядомъ съ тѣми, замученными людьми—никто изъ нихъ признать его не сможетъ. И тамъ, въ томъ невѣдомомъ

міръ, отъ котораго избавленія нѣтъ никогда; отъ котораго освободить не можетъ и самая смерть, онъ опять будетъ одинокъ, вѣчно и вѣчно одинокъ...

Сойферъ внезапно оторвалъ руки отъ окна, быстро прошелъ въ переднюю, снялъ съ вѣшалки шляпу и, нахлобучивъ ее на глаза, спустился съ лѣстницы.

Усталость его сразу исчезла, и онъ шагаль энергично и твердо. У него мелькнула радостная мысль, и свѣтъ ея ярко озарилъ его измученную душу. Но, мелькнувъ, мысль эта тотчасъ же погасла, и, исполняя теперь то, что она продиктовала, Сойферъ дѣйствовалъ машинально, почти безсознательно. И въ походкѣ его, и въ выраженіи лица было что-то странное, напоминавшее лунатика.

Онъ шелъ и не думалъ о томъ, куда идетъ и зачѣмъ. Гдѣ-то далеко, глубоко въ сердцѣ шевелилось смутное сознаніе, что онъ дѣлаеть что-то хорошее, облегчающее, что надо торопиться,—и онъ торопился.

Изъ аристократическаго безлюднаго бульвара онъ быстро вышелъ на небольшую круглую площадь и, увидѣвъ здѣсь трамвай, вскочилъ въ него.

— Скорѣе, покончу хоть съ этимъ... развяжусь...—мелькнуло у него.

А съ чѣмъ именно покончить онъ и развяжется—этого онъ въ ту минуту не понималъ. Это открылось ему только позже, когда, выйдя изъ вагона и начавъ спускаться по какому-то грязному и тѣсному переулку, онъ увидѣлъ на угловомъ домѣ дощечку съ названіемъ „Via Antonio“...

Онъ вспомнилъ теперь, что на Via Antonio живетъ Гумпловичъ, и что именно къ нему онъ и идетъ. Онъ идетъ объявить ему, что не станетъ кончать портретъ Войнара.

— Ахъ, да!.. за этимъ...—въ мгновеньемъ, болѣз-

ненно-радостномъ возбужденіи подумалъ Сойферъ.—Да, да... не буду кончать... къ чорту портреть.. уничтожу его, изрѣжу, сожгу...

Было уже довольно поздно, но въ тѣсномъ переулкѣ царило большое оживленіе.

Дома здѣсь были старые, грязные, узкіе, со множествомъ лавчонокъ и кабаковъ. Изъ большихъ оконъ ложились на мостовую широкія полосы желтаго свѣта, и отовсюду слышалась громкая рѣчь, перебранка и смѣхъ. Въ одномъ кафе, претендовавшемъ на щеголеватость, играли на мандолинѣ какую-то шуструю арію, а собравшаяся у дверей кучка молодыхъ людей слушала, и временами чей-то визгливый, смѣшной голосъ начиналъ передразнивать музыканта, лаять, мяукать, кудахтать, и тогда всѣ хохотали и весело ругались...

Посреди улицы и по тротуарамъ, между телѣжекъ съ зеленью и мелкимъ галантерейнымъ товаромъ, буйно носились черномазая, босоногія дѣти, шлепались на землю и садились другъ на друга, оглашая воздухъ п плачемъ, и побѣднымъ взвизгиваніемъ. Толстымъ басомъ или пронзительнымъ дискантомъ орали торговки, приглашая покупателей воспользоваться позднимъ временемъ и дешево скупить остатки. Мужчины, черноглазые, чернобородые, въ широкихъ плисовыхъ штанахъ, подпоясанные красными или синими поясами, уже подъ хмѣлькомъ, ходили вверхъ и внизъ по улицѣ, задумчиво останавливались у кабаковъ, заглядывали въ окна, и потомъ исчезали въ дружелюбно раскрытыхъ дверяхъ...

Всюду была толкотня, всюду былъ гамъ, и со всѣхъ сторонъ неслись смрадные запахи, — горѣлаго, прѣвшаго, гнилого,—запахи прочно установившейся, застарѣлой нищеты...

Это былъ переулокъ, гдѣ ютились голодающіе художники и ихъ вѣрные слуги и друзья—модели...

— Это четырнадцатый номеръ,—пробормоталъ Сой-

Феръ, подымая глаза къ воротамъ. — Онъ живетъ въ тридцать второмъ... Пятый этажъ, вторая дверь налево... Скажу ему, что нѣтъ портрета... ни психологическаго, ни символическаго, никакого портрета нѣтъ... Уничтожу полотно и кончено... кончено...

Спускаясь внизъ по переулку, Сойферъ незамѣтно для самого себя замедлилъ шаги.

Что-то странное и болѣзненное совершалось въ немъ. Всѣ его мысли и чувства были точно придавлены и, какъ человѣкъ въ низкомъ подземельѣ, не могли стать во весь ростъ и выпрямиться. Онъ окутаны были неподвижнымъ тяжелымъ туманомъ, и очертанія ихъ и тоны были неопредѣленны, мертвенны и тусклы. Тусклой была радость отъ сознанія, что съ чѣмъ-то будетъ „покончено“; тусклымъ было опасеніе, что „покончить“ ни съ чѣмъ не удастся; тусклой была догадка, что въ этомъ стремленіи „покончить“ заключается что-то ненормальное, страшное...

Сойферъ остановился и провелъ рукой по глазамъ. У него болѣла голова, самый мозгъ,—но и боль тоже была тусклая, безцвѣтная и тупая...

— Арнольдъ Веняминовичъ, это вы? — раздался вдругъ чей-то удивленный голосъ.

Сойферъ медленно обернулся.

Гумпловичъ въ старой блузѣ и безъ шапки стоялъ на тротуарѣ и обѣими руками держалъ большой газетный листъ, на которомъ, какъ на подносѣ, высокимъ бугромъ лежало что-то бѣлое, лоснящееся. Подъ мышкой торчала у него проволочная вѣшалка, деревянная ручка новой метелки и какой-то большой синій свертокъ.

— Какими это судьбами?—продолжалъ скульпторъ.— Вѣроятно, за натурщиками?.. Что за удивительныя головы попадаютъ, чудо!.. И вообще, весь городъ — чудо!.. Ужасно я имъ доволенъ, ужасно!..

Гумпловичъ весело оскалилъ зубы.

— Все тутъ хорошо... Вотъ, на примѣръ, макаронъ

я себѣ купилъ... Вѣдь я все воображалъ, что мнѣ тутъ придется стрѣйней заниматься, что надо будетъ голодать. А вовсе голодать не буду... Тутъ все такъ дешево... Стой, ты не ѣди!—обратился онъ вдругъ къ своей метелкѣ, крѣпко прижимая ее локтемъ.

— Все дешево...—продолжалъ Гумпловичъ. — И все продается готовое: картофель жаренымъ, макароны и фасоль вареными... и супу можно купить, и шпинатовъ тамъ всякихъ, чортъ ихъ знаетъ, я ихъ никогда не ѣдалъ... Прелесть, ей-Богу!

Гумпловичъ бросилъ нѣжный взглядъ на желтоватую и отъ газоваго свѣта сильно сверкавшую жирную грудку макаронъ. Сойферъ уловилъ этотъ взглядъ — и на сердцѣ у него вдругъ сдѣлалось какъ-то странно-весело.

— Вы очень любите макароны?

— Макароны?.. Чудесная вещь!.. Эти черномазые удивительно ихъ готовятъ. А главное — дешево какъ! За нѣсколько чентезимовъ.

Съ Гумпловичемъ Сойферъ видѣлся всего дважды. и въ оба раза разговоръ у нихъ былъ серьезный, важный, почти торжественный. И теперь Сойферу какъ-то странно было слышать отъ своего собесѣдника эти разсужденія о мелкихъ житейскихъ дѣлахъ. Странно и пріятно, удивительно пріятно... И ему очень хотѣлось, чтобы разговоръ продолжался, чтобы онъ не мѣнялъ своего характера, и все касался бы жаренаго картофеля, шпината и макаронъ...

И желаніе его осуществлялось.

Гумпловичъ возвращался изъ лавки, гдѣ только-что накупилъ себѣ разныхъ хозяйственныхъ принадлежностей: метелку, вѣшалку—„вотъ онѣ!“ Въ карманахъ и въ синемъ сверткѣ были у него еще лампочка, стаканы, кусокъ вывареннаго супового мяса и сапожная щетка, все это, сверхъ ожиданія, куплено было поразительно дешево, и молодой скульпторъ былъ въ

Отличномъ настроеніи. Онъ радъ былъ подѣлиться своими впечатлѣніями и съ дѣтской наивностью и оживленіемъ докладывалъ о только-что одержанныхъ хозяйственныхъ побѣдахъ.

— Какая это гадость, когда надо самому готовить!— восклицалъ онъ.

И онъ принялся рассказывать, какъ много времени тратилъ на стряпню въ бытность свою въ Мюнхенѣ, какъ въ концѣ концовъ дорого все обходилось, и какую онъ всегда ѣлъ дрянь: супъ --- мыльная вода, мясо—горѣлое, похожее на антрацитъ...

— А вы, небось, любите, когда вкусно?—съ тайной радостью спросилъ Сойферъ.

— Конечно.

— И предпочитаете макароны съ приностями?

— Ужъ и самъ не знаю... Всякія предпочитаю. Вотъ приду домой—сейчасъ всю эту груду съѣмъ.

— Неужели всю? Но онѣ слишкомъ жирны.

— Это ужъ ихъ горе... А мнѣ только удобнѣе: скользки—глотать легче...

Сойферъ разсмѣялся. И смѣхъ у него былъ добрый, ласковый и жирный,—какъ и эти макароны.

— Нѣмцы — тѣ, кажется, все больше на счетъ Gemüße,—науськивалъ старикъ.

И Гумпловичъ все тѣмъ же веселымъ и дѣтски простодушнымъ тономъ опять говорилъ объ ѣдѣ,—о томъ, что ѣдятъ нѣмцы, и что ѣдятъ у него на родинѣ, въ Галиціи. Плохо тамъ ѣдятъ, народъ бѣденъ. Но въ богатыхъ ресторанахъ блюда есть какія-то совсѣмъ особенныя. Гумпловичъ разъ выѣзжалъ бюстъ одного богатаго подрядчика, и благодарный заказчикъ угостилъ его въ „Козьей ногѣ“. Ъли что-то такое, чему и названія не подберешь, прямо что-то фантастическое.

— Ага!—весело отозвался Сойферъ.

„Къ нему я бѣжалъ... каяться — проносилось у старика:—къ этому вотъ...“

И на молодого скульптора онъ смотрѣлъ съ тѣмъ неожиданнымъ чувствомъ ѣдкаго и упоительнаго зло-радства, съ какимъ некрасивая женщина смотритъ на обезображенную ожогомъ соперницу, вчера еще сверкавшую ослѣпительной красотой...

— А вотъ, гдѣ совсѣмъ уже плохо, такъ это въ Парижѣ,—продолжалъ между тѣмъ Гумпловичъ.

И онъ сталъ рассказывать, какая въ этомъ городѣ страшная дороговизна. Одинъ пріятель его, ученикъ консерваторіи, флейтистъ, пишетъ оттуда, что ѣсть конину и на обыкновенной лампѣ варить въ водѣ крупу. А когда нѣтъ и крупы — идетъ въ казармы, и тамъ солдаты даютъ ему остатки своего раціона.

— Дурень онъ: писалъ я ему, чтобы сюда пріѣхалъ — не хочетъ.

Сойферъ ядовито усмѣхнулся.

— Да, вы я вижу, дѣло понимаете. Вы попрактичнѣе вашего пріятеля. Но вы забываете вотъ что, — добавилъ онъ, внезапно охваченный какимъ-то темнымъ и злобнымъ чувствомъ: — вы забываете, что кто хочетъ вкусно ѣсть, тотъ долженъ идти въ биржевки, а не изучать искусство.

Гумпловичъ удивленно посмотрѣлъ на Сойфера.

— То есть... позвольте... откуда же это?..

— А вотъ оттуда... — оборвалъ Сойферъ, — вы, кажется, тутъ гдѣ-то живете?

— Черезъ дорогу.

— Ну, такъ, прощайте... Мнѣ сюда, направо... Я имѣлъ глупость сказать натурщику, чтобы онъ завтра не приходилъ, а между тѣмъ мнѣ надо спѣшить кончать Войнара. Порфиру дописывать надо...

— Животное! — съ ликующей злобой думалъ Сойферъ, когда минутъ черезъ пять снова входилъ въ вагонъ трамвая. — Полчаса говорить, и все объ ѣдѣ. Какъ бы получше нажраться... Даже глаза разгораются... Животное...

Широко разсѣвшись на свободной скамѣ полупустого вагона, Соѣферъ думалъ о томъ, что никогда не слѣдуетъ впадать въ сентиментальность, и что нельзя поддаваться мимолетнымъ настроеніямъ.

Какъ нелѣпо, какъ несправедливо и глупо было это желаніе каяться передъ какимъ-то Гумпловичемъ! Бѣжать къ нему, докладывать, что портретъ Войнара не будетъ окончень... Да вѣдь это прямо помѣшательство какое-то...

Придетъ къ тебѣ вотъ этакій тупой пошлякъ, низменный обжора какой-нибудь и, драпируясь въ тогу идеализма или тамъ патріотизма какого-то, что ли, станетъ тебѣ говорить дерзости, станетъ судить тебя и карать. За что? По какому праву? Кто онъ, этотъ грозный судья? Захвати-ка его врасплохъ, въ его домашней обстановкѣ, и увидишь ясно, что онъ изъ пошляковъ пошлякъ. Злобная бездарность, завистливый неудачникъ, ничтожество, корчащееся отъ боли при видѣ чужихъ успѣховъ... Но онъ наглъ, наглъ безъ конца, и этимъ онъ беретъ. Ты теряешься передъ этой наглостью, слабѣешь, воображаешь, что и въ самомъ дѣлѣ въ чемъ-то виноватъ, и начинаешь оправдываться и продѣлываешь рядъ дикихъ и нелѣпыхъ вещей... Возмутительно!..

Трамвай выбѣжалъ изъ грязнаго рабочаго квартала и понесся по ярко-освѣщеннымъ торговымъ улицамъ. Пассажиры все прибывали. Недалеко отъ Корсо ихъ набралось столько, что нѣкоторымъ пришлось стоять. Потомъ, когда Корсо проѣхали и стали приближаться къ тихой, аристократической части города, пассажиры одинъ за другимъ сходили, и скоро въ вагонъ осталось только два безмолвныхъ, желтолицыхъ, одѣтыхъ въ черное и на видъ очень злобныхъ аббата.

Соѣферъ сидѣлъ противъ нихъ и, глядя въ узкое пространство между двухъ плоскихъ, мѣрно качавшихся черныхъ шляпъ, старался думать все о томъ

же — объ обжорствѣ Гумпловича, о низменности и наглости его натуры. Но мысли эти, какъ будто, и продолжавшія казаться и вѣрными, и справедливыми, утратили, однако, свою утѣшительную силу, и въ сердцѣ стараго художника теперь опять стояла тревога и тоска...

И, по мѣрѣ приближенія къ дому, тоска эта все росла и росла, а вмѣстѣ съ ней росла и физическая усталость...

— Плохо мнѣ, — беззвучно говорилъ Сойферъ, снимая съ головы давившую его шляпу. — Должно быть, очень мнѣ плохо?..

Аббаты въ черномъ дремали, и желтыя, остроносыя, мертвыя, но безпрестанно кивавшія лица ихъ были неприятны Сойферу и пугали его. Онъ всталъ, чтобы пересѣсть подальше, но, замѣтивъ, что вагонъ приближается къ круглой площади, на ходу соскочилъ и направился къ своему бульвару.

Было душно и очень темно. Просвѣтовъ со звѣздами на небѣ уже не было видно, и все оно сплошь затянулось чернымъ покровомъ. Похоже было, что надъ землею раскинуть какой-то черный и страшный шатеръ, гдѣ стоитъ тяжелая духота, и гдѣ все до послѣдней степени изнурено и подавлено.

Сойферъ шелъ медленно, съ обнаженной головой, и опять думалъ о Гумпловичѣ и о себѣ...

Трусливыми, жалкими, презрѣнными казались ему его нападки на юношу... Да вѣдь вовсе и не на Гумпловича нападалъ онъ: онъ бросалъ грязью во все живое и честное, на все то свѣтлое, безкорыстное и самоотверженное, что самому ему было недоступно... Надо было все низвести до своего уровня, надо было все затопить той грязью, въ которой захлебывался онъ самъ.

— Господи, какъ я несчастенъ! — тихо пробормоталъ Сойферъ.

И онъ уже не могъ думать ни о чемъ.

Странная, смутная, разрозненная мысли выплывали въ головѣ вмѣстѣ съ какими-то обрывками далекихъ воспоминаній — выплывали, кружились и исчезали, замѣняясь другими, еще болѣе ненужными, еще болѣе безсвязными и сумбурными... „Я боленъ“, — мелькало у Сойфера: — „я боленъ“...

И онъ тихо плелся, закрывъ глаза, и въ черномъ воздухѣ ему чудилось присутствіе чего-то таинственнаго, злого и безпощаднаго.

„Ничего нѣтъ, пустяки... это нервы...“ — успокаивалъ онъ себя, — а холодныя волны одна за другой проходили у него по спинѣ...

Ему хотѣлось оглянуться, но сдѣлать это онъ боялся. И, не поворачивая головы, онъ краемъ глазъ смотрѣлъ назадъ; и хотя никого не было ни вблизи, ни вдали, и нѣмъ и пустыненъ былъ весь широкій бульваръ, ему все не переставало казаться, что въ черной аллеѣ кто-то тихо крадется и вздыхаетъ... А когда онъ поровнялся со старымъ палаццо, то сверху изъ неподвижно нависшей, плотной листвы ему слышался какой-то голосъ. И Сойферъ не понималъ чей это голосъ, и что означаютъ его тревожные перебивы — нищенка ли просить, Гумпловичъ ли, волнуясь, говорить о выпитой Войнаромъ еврейской крови, старый ли канторъ поетъ надъ ребѣ Нусеномъ печальное „Эль-моле-рахмимъ“...

— Измучился... измучился, — шепталъ Сойферъ, поднимаясь къ себѣ по лѣстницѣ.

Наверху, на площадкѣ, онъ остановился. Онъ думалъ, что надо пойти въ спальню и лечь, что нельзя теперь заходить въ мастерскую, гдѣ стоятъ мацевы, гдѣ стоитъ портретъ Войнара...

И, думая такъ, онъ открывалъ дверь въ мастерскую и входилъ въ нее...

Онъ добрался до большого ковроваго дивана и опу-

стился на него... Тяжелое, онемѣніе разлилось по всѣмъ его членамъ и какъ бы придавило его... И могильная тишина мастерской вдругъ дрогнула; звуки непонятные и странные, похожіе на тихое шуршаніе осторожно разворачиваемыхъ талесовъ *), вошли въ душу Сойфера. Родное кладбище, то самое, о которомъ Сойферъ мечталъ и которое такъ пугало его и мучило, было теперь здѣсь... Оно широко разстилалось во всѣ стороны и ему не было предѣловъ... И среди темныхъ и сѣрыхъ мацевъ тусклымъ колеблющимся туманомъ бѣлѣли одѣтые въ талесы мертвецы... И мертвецовъ этихъ было неисчислимое множество, они шли до самаго горизонта и терялись въ безконечности...

— Зачѣмъ вы... зачѣмъ... — трепетно простоналъ Сойферъ.

А мертвецы колыхались, двигались, шурша талесами, таяли и растворялись въ бѣлесоватой мглѣ; мгла эта быстро сгущалась, сворачивалась въ тяжелые клубы, и изъ нихъ стала медленно вырастать чья-то высокая темная фигура... Синій огонекъ тихо вспыхнулъ и повисъ въ воздухѣ, и при его слабomъ, немерцавшемъ свѣтѣ Сойферъ узналъ фигуру... Передъ нимъ стоялъ сѣдой еврей, тотъ самый изможденный старый еврей, котораго онъ изобразилъ на своей первой картинѣ... То же было у него на лицѣ выраженіе ужаса и безконечной муки, такъ же бѣшено прыгая, рвали его тѣло псы, и такъ же обильно струилась по его лохмотьямъ и по землѣ дымящаяся кровь...

И словно что-то ударило Сойфера — изнутри, въ самое сердце...

— Я иду къ тебѣ! — вскричалъ онъ въ экстазѣ. — Я отгоню псовъ прочь!.. Я брошу имъ себя... Пусть они разорвутъ меня на части... Пусть изгрызутъ мое сердце...

*) Покрывало, въ которое евреи облакаются для совершенія молитвы. Въ него же завертываютъ и покойниковъ.

пусть по каплѣ выпьютъ мою кровь... Я иду къ тебѣ, иду!..

Онъ сорвался съ дивана, выпрямился, занесъ надъ головой руку...

Но синій огонекъ, тихо дрогнувъ, погасъ, и мглистое видѣніе исчезло...

Сойферъ стоялъ въ оцѣпенѣніи, съ широко раскрытыми глазами, съ высоко поднятой надъ головою рукой.

— Я сошелъ съ ума...—беззвучно прошепталъ онъ:—я сошелъ съ ума...

Онъ упалъ на диванъ.

Въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній у него не было никакихъ мыслей, никакихъ ощущеній. Потомъ сложное, нестерпимо мучительное чувство вошло въ его сердце. Въ этомъ чувствѣ перемѣшивались и ужась, и отчаяніе, и безнадежная, смертельная тоска...

— Не вернешь, не вернешь, не вернешь...—рыдала старческая душа.—Не вернешь...

„НЕМНОЖЕЧКО ВЪ СТОРОНУ“.

I.

Когда книгу пишутъ замѣчательную,—такую, по которой учиться, просвѣщать свой умъ будутъ тысячи, а можетъ быть, и десятки тысячъ людей, то писать ее надо на бумагѣ хорошей.

И Сауль Ароновичъ, когда вздумалъ составить ключъ къ учебнику французскаго языка Марго,— выбиралъ бумагу въ лавочкѣ Ривки Мудрецехи внимательно и долго. Выбравъ и купивъ, онъ черезъ часъ принесъ бумагу обратно и перемѣнилъ на другую. По зрѣломъ размышленіи, однако, онъ пришелъ къ выводу, что ее опять слѣдовало бы обмѣнить на первую; но, вспомнивъ, что Ривка женщина голосистая и бравая, Сауль Ароновичъ новыхъ обмѣновъ устраивать не сталъ, а просто купилъ еще двѣ дести первой бумаги и на этотъ разъ успокоился почти окончательно.

Затѣмъ онъ приобрѣлъ учебникъ Марго, послѣдняго изданія, нѣсколько грамматикъ, обстоятельныхъ и полныхъ, и съ волненіемъ, вполне соотвѣтствовавшимъ важности предпріятія, приступилъ къ работѣ.

— Это замѣчательная идея!—говорилъ онъ:—Марго? Отлично! Но если бѣдный человѣкъ не можетъ взъять себѣ учителя,—много ли ему дать Марго?... То-есть, значить, какъ? Значить, абсолютно преграждается и

къ просвѣщенію?.. А вотъ, когда будетъ ключъ, всякій сможетъ учиться самостоятельно: возьметъ Марго, возьметъ ключъ—и готово... И цѣль достигнута!

Языкъ Саула Ароновича и при будничныхъ обстоятельствахъ не лишень былъ тонкихъ красоть; въ эту же минуту онъ думалъ фразами особенно великолѣпными.

— Мой часъ насталъ! Моя путеводная звѣзда меня уже не обманетъ!..

Нужно сказать, что до тѣхъ поръ путеводная звѣзда эта Саула Ароновича обманывала и часто, и жестоко.

Она, напримѣръ, привела его въ городокъ Мертводскъ и внушила открыть здѣсь школу для еврейскихъ мальчиковъ. Саулъ Ароновичъ глубоко вѣрилъ, что школой этой онъ „восполнить пробѣлъ“ и принесетъ населенію „ощутительную пользу“... И очень скоро, однако же, долженъ былъ сознаться, что мечтанія его не оправдались, и что пользу онъ приноситъ неважную.

Въ этомъ убѣждало его, прежде всего, общественное мнѣніе.

— Замѣчательное воспитаніе вы даете дѣтямъ,— строго выговаривала ему мать одного изъ учениковъ:— это прямо что-то особенное!

— А что такое?

— Вы еще спрашиваете?.. Вчера мимо насъ проѣзжала свадьба, такъ Іоська выбѣжалъ на улицу, сталъ показывать кукиши и кричать „тю“..... Красиво это? Скажите сами!

— Это очень некрасиво и очень печально. Но что же вы желаете отъ меня?

— Я знаю, что я желаю?.. Я ничего не желаю... Я желаю вамъ сказать, какое замѣчательное воспитаніе вы даете... Какъ биндюжникъ...

Фроимъ-Беръ, жестяникъ, негодовалъ—совершенно,

впрочемъ, неосновательно — на то, что его мальчику набиваютъ голову чортъ знаетъ чѣмъ.

— Цѣлый день, какъ сумасшедшій, болтаетъ: „столь, столамъ, столу, столы“—тошно слушать! Сколоненіе?.. На что мнѣ сколоненіе? Я, знаете, баринъ себѣ не большой, чайники дѣлаю. Мнѣ надо, чтобы Мендль умѣлъ сосчитать и записать—больше мнѣ ничего не надо.

Бакалейщику Штоку надо, чтобы ученики Саула Ароновича дѣлали военныя прогулки, какъ гимназисты, опоясанные цвѣтными кушаками и съ барабаномъ. Онъ желалъ бы еще, чтобы мальчика его въ школъ обучали на флейтѣ и стенографіи.

Рѣзникъ Нухимъ предоставляет Саулу Ароновичу полную свободу въ дѣлѣ устройства прогулокъ, совершенно равнодушенъ и къ духовымъ инструментамъ, но строго требуетъ порки:

— Порядочныхъ дѣтей можно не бить, а моихъ сволочовъ сквозь строй гнать надо! Каждый день снимайте съ себя ремень и дерите ихъ на чемъ свѣтъ стоитъ... Какъ можно крѣпче!.. Вы-жъ учитель, я не понимаю,—вы-жъ деньги берете!.. Что, я другого еще для этого долженъ нанимать, или какъ?

— И это называется „приносить пользу“, когда каждый день съ себя ремень снимаешь?—уныло спрашивалъ себя Саулъ Ароновичъ...

Педагогическіе запросы родителей были многочисленны, разнообразны и пестры. И, предъявляя столь необыкновенныя требованія, кліенты Саула Ароновича отъ платы за ученіе воздерживались съ чрезвычайной стойкостью. Бѣдняки не платили по бѣдности, богачи—по соображеніямъ высшаго порядка.

— Мой Жоржикъ, — говорилъ, напрімѣръ, господинъ Цыпоркесъ, жирный, бритый, постоянно потный „аристократъ“, богачъ, владѣлецъ винокурни и цѣлой сѣти кабаковъ:—за мой Жоржикъ вы должны брать

на одинъ рубль въ мѣсяцъ дешевле: такой онъ способный.

И когда Саулъ Ароновичъ пытался объяснить, что ему это несовсѣмъ удобно,—господинъ Цыпоркесъ выражалъ досаду:

— Э, что вы тамъ морочите!.. Развѣ вы что-нибудь понимаете? Для васъ это отличнаго реноме, что мой сынъ будетъ къ вамъ ходить. Всѣ скажутъ: ужъ если господинъ Цыпоркесъ свой мальчикъ туда отдалъ, такъ значитъ это таки хорошій учитель...

Трудно сказать, раздѣлялъ ли Саулъ Ароновичъ взгляды господина Цыпоркеса на этотъ предметъ. Фактъ, однако, тотъ, что бралъ онъ съ него дешевле, чѣмъ съ другихъ, не столь высоко поставленныхъ обывателей... При этомъ Жоржикъ оказался мальчикомъ характера чрезвычайно игриваго. Однажды, на глазахъ всего класса, онъ укусилъ своего ментора за руку. Саулъ Ароновичъ, относившійся вообще философски ко многимъ непріятностямъ, на этотъ разъ не выдержалъ и отправился къ Цыпоркесу съ жалобой.

„Если ученики будутъ кусать учителя за руку,—разсуждалъ онъ,—какой же будетъ престижъ?“

— У, онъ васъ укусилъ?! — вскричалъ господинъ Цыпоркесъ, выслушавъ Саула Ароновича: — ахъ, шарлатанъ! Что жъ вы сдѣлали: постановили его хоть въ уголъ, оставили безъ обѣда?

— Нѣтъ, но я пришелъ просить васъ, чтобы вы лично его наказали.

— Да, да, хорошо. Я ему обязательно накажу... Я ему сейчасъ убью!.. Жоржикъ! Жоржикъ!.. Послать мнѣ сюда Жоржикъ!

Жоржикъ пришелъ.

— Ты что, подлый мальчикъ, вовсе кусаться выдумалъ, шарлатанъ?

Жоржикъ молчалъ и весело ухмылялся.

— А ну-ка, какъ я тебя примусь кусать, сволочь!..

Вы на его, Саулъ Ароновичъ, не смотрите, вы его наказывайте, я вамъ даю полны правъ. Наказывайте его, какъ собаку, я буду очень довольный... Слышишь ты, Жоржикъ! Ты хоть слышишь, что я говорю?

Но Жоржикъ, повидимому, былъ занятъ другими мыслями:

— Папа, дай мнѣ двѣ копѣйки, я хочу зыгу купить,—сказалъ онъ совершенно беззаботно.

— Ну, вотъ... Ахъ ты марзавецъ! Двѣ копѣйки я тебѣ дамъ? Холеру я тебѣ дамъ! Вотъ, что я тебѣ дамъ!.. Пошелъ ты вонъ, жуликъ!.. Вотъ! Вотъ такіе они сегодня всѣ, всѣ до одинъ...

И господинъ Цыпоркесъ принялся энергично нападать на „севоднешнево поколѣніе“. Потомъ сталъ развивать свои взгляды на учебное дѣло и, наконецъ, началъ опять превозносить необычайныя способности своего Жоржика. Здѣсь и Саулъ Ароновичъ счелъ нужнымъ вставить слово и тоже похвалилъ Жоржика.

— И меня удивляетъ, — перебилъ господинъ Цыпоркесъ,—что съ такой золотой головкой онъ вовсе не дѣлаетъ у васъ аспѣхъ! По нѣмецкому онъ ничего не знаетъ. Я его спрашиваю: — „вилстъ-ду-филайхтъ бессеръ абисселъ инъ-ди-гимназіумъ гелернтъ?“ — а онъ мнѣ по-еврейски отвѣчаетъ „іо“? Хорошее дѣло!.. Я вамъ деньги плачу за то, чтобъ вы его по-еврейски учили?.. Чтò, онъ самъ не умѣетъ по-еврейски? Мнѣ его образованіе кровь стоитъ!.. Не умѣете учить, такъ зачѣмъ беретесь?

Высокія ноты и сурово сдвинутыя брови Цыпоркеса въ Саулѣ Ароновичѣ всегда вызвали неодолимое стремленіе укрыться. Поэтому онъ и на сей разъ вышелъ отъ господина Цыпоркеса со всей возможной торопливостью, а о деньгахъ, слѣдовавшихъ за четыре мѣсяца ученія, не посмѣлъ и заикнуться.

II.

Когда блеснула у Саула Ароновича мысль писать ключъ—изумленію его и восторгу не было конца.

— Такъ, слѣдовательно же, я буду авторъ!.. Я, значить, напишу книгу... и по моей книгѣ люди будутъ учиться, будутъ увеличивать свои умственные познанія!.. Да, вотъ это значить быть полезнымъ человѣкомъ! Вотъ это значить приносить обществу пользу!..

И, обдумавъ свое новое предпріятіе всесторонне, во всѣхъ мелочахъ, и сдѣлавъ всѣ необходимыя приготовленія, онъ принялся писать задуманную книгу.

Въ каморкѣ его не было излишне тепло; но у него имѣлось отличное одѣяло на ватѣ, и, когда онъ въ него закутывался хорошенько, особенно если съ ногами, онъ могъ просидѣть и часъ, и два, и почти все не чувствовать холода.

Кромѣ того, онъ считалъ, что разныя тамъ матеріальныя неудобства, если къ обязанностямъ своимъ относиться добросовѣстно, не могутъ имѣть важнаго значенія. Озябнешь — чаю напьешься, вотъ и все. Гораздо существеннѣе были другія неудобства, неудобства, вытекавшія изъ самаго характера работы. Было, напримѣръ, очевидно, что ключъ необходимо снабдить грамматическими примѣчаніями. Между тѣмъ, Саулъ Ароновичъ, намѣреваясь письменно изложить какую-нибудь мысль,—хотя бы, напримѣръ, разницу между опредѣленнымъ членомъ и неопредѣленнымъ,—испытывалъ нестерпимыя муки творчества. Всѣ существующія и отлично ему извѣстныя слова вдругъ куда-то исчезали, и оставалось одно только „въ случаѣ, когда“.

„Въ случаѣ, когда“ онъ на бумагѣ выведетъ и разъ, и два, и пять разъ выведетъ, а то слово, которому приличествовало бы находиться въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ этимъ „въ случаѣ, когда“, никакъ не прихо-

дить. Постепенно припоминаться начинают другія слова—и часто слова красивыя и выразительныя, но того, которое полезно въ данную минуту,—нѣтъ и нѣтъ...

— У меня на палитрѣ мало красокъ,—съ грустью думалъ Саулъ Ароновичъ.—Что жъ дѣлать?.. Конечно, это трудно, но вѣдь это же не маленькое дѣло—книгу написать. Это же не то, что дѣтей буки азъ—ба учить. Вѣдь это трудъ! книга!.. Тутъ надо взвѣсить каждый оборотъ, каждое слово... Но за то жъ я теперь дѣлаю весьма полезное дѣло!.. Кто можетъ сказать въ точности, сколько головъ просвѣтится моимъ трудомъ?..

Часто, почти каждую ночь, по окончаніи работы, пускался Саулъ Ароновичъ въ сладостныя мечтанія о громадной полезности своего „труда“, засыпая, скрюченный калачикомъ подъ грудой лохмотьевъ, и отогрѣвая ладонями иззябшія, влажныя ступни...

III.

Около года проработалъ онъ надъ ключемъ, и все шло отлично.

Отъ долгаго сидѣнія, стала у него усиливаться кривизна позвоночника, временами надоѣдливѣе становился кашель, и сильно шумѣло въ головѣ, но все это было неважно. Саулъ Ароновичъ ко всякимъ болѣзнямъ привыкъ, а организмъ свой изучилъ до тонкости и лѣчить его умѣлъ отлично. Діеты онъ держался неуклонно, зимою пилъ рыбій жиръ, лѣтомъ—парное молоко, а вату въ ушахъ. въ необходимомъ количествѣ, сохранялъ круглый годъ и круглый же годъ не снималъ съ шеи теплаго гаруснаго шарфа. Время отъ времени ставилъ онъ себѣ за уши мушки, подъ лопатки—горчичники и банки, а грудь натиралъ кротонавымъ масломъ. И средства эти дѣйствіе оказы-

вали всегда несомнѣнное, хотя, впрочемъ, не всегда желанное.

— А между тѣмъ, несомнѣненъ тотъ фактъ, что, когда я углубленъ въ свой трудъ, такъ я вовсе никакихъ болѣе не чувствую!—заявлялъ себѣ самому Сауль Ароновичъ.

И онъ былъ доволенъ, и ему было хорошо...

Но, непрочно человѣческое счастье!—и надъ головой Саула Ароновича стала собираться совершенно неожиданная гроза.

Въ сосѣдней губерніи произошелъ погромъ, одинъ изъ первыхъ по времени, да и по значительности тоже. За нимъ, съ совершенно ненужной поспѣшностью, послѣдовалъ другой, потомъ третій, четвертый...

Люди, спугнутые съ своихъ мѣстъ, разоренные, обнищавшіе, бросились въ разныя стороны, и вотъ, въ Мертвоводскѣ тоже очутилось нѣсколько бѣглецовъ. Между ними оказался нѣкій глухой меламедъ, долговязое, чахлое существо, съ всклокоченными пейсами и длинной, огненнаго цвѣта, бородой. Пріѣхавъ, онъ тотчасъ же принялся отбивать у Саула Ароновича учениковъ, и за первую же недѣлю набралъ ихъ съ десятокъ.

Онъ былъ человѣкъ тонкій, и гдѣ чѣмъ взять надо—зналъ отлично. Здѣсь расскажетъ пріятную новость о томъ, что баронъ Гиршъ у русскаго правительства евреевъ откупаетъ,—даетъ сто милліоновъ, а правительство требуетъ двѣсти двадцать пять. Тамъ, исполняя порученіе хозяйки, принесетъ изъ рѣзницы мясо. Въ третьемъ мѣстѣ дѣтей въ сѣню сводить. А то просто станетъ, со слезами на глазахъ, рассказывать о претерпѣнныхъ бѣдствіяхъ и ужасахъ... И все это сильно помогало ему.

— Плохо!—думалъ Сауль Ароновичъ.—Какъ разъ теперь мнѣ нужно спокойствіе, какъ разъ теперь въ трудъ отвѣтственные мѣста пошли, требующія сосредоточеннаго объединенія всѣхъ умственныхъ силъ, а тутъ

явился этотъ меламедъ. Въ данное время онъ мнѣ совершенно не соотвѣтствуетъ...

Но меламедъ не спрашивалъ себя, соотвѣтствуетъ ли онъ... И потому не проходило недѣли, чтобы въ школѣ Саула Ароновича не появлялось новаго опустѣвшаго мѣста...

— Ну, что дѣлать? Ему тоже надо жить,—утѣшалъ себя Саулъ Ароновичъ.—У него семейство... Но только, въ сущности, оно какъ-то совсѣмъ странно выходитъ, что изъ-за какого-то глухого меламеда должно пострадать общее благо... Водовозъ требуетъ за воду, хозяйка за квартиру, Ривка Мудрецеха прекращаетъ кредитъ въ лавочкѣ... Это все мелочи, конечно, но... работу онъ таки весьма затрудняютъ...

Къ тому же въ это время, вслѣдствіе погромовъ, въ еврейской массѣ пробудилось и съ силой заговорило чувство національнаго самосознанія, и она усиленно обратилась ко всему своему—къ своей религіи, къ своимъ обрядамъ, къ своему языку; и отъ этого замѣчавшееся прежде пренебрежительное отношеніе къ старозавѣтнымъ меламедамъ исчезло. Меламеды даже въ моду входить стали, и глухой конкуррентъ Саула Ароновича, благодаря своимъ специальнымъ дарованіямъ и репутаціи человѣка, пострадавшаго отъ погрома, находился въ условіяхъ исключительныхъ. Въ его хедерѣ становилось съ каждымъ днемъ все тѣснѣе.

— Мнѣ этотъ меламедъ доподлинное роковое несчастье!—думалъ Саулъ Ароновичъ:—ходить выпрашивать учениковъ это—унизительно, но что дѣлать?.. Если бы я былъ одинъ, если бы я не писалъ труда, конечно, я могъ бы прислушиваться къ голосу собственнаго достоинства. А при текущихъ условіяхъ нечего разсуждать. Надо себя отложить немножечко въ сторону, и таки надо немножечко нагнуться.

И онъ, какъ и меламедъ, сталъ обивать пороги, просить, кланчиль, гдѣ неопасно было—настаивалъ... Н

толку изъ всего этого не выходило никакого, число учениковъ не возрастало.

— Положеніе дѣлается окончательно критическимъ,— смущенно говорилъ Саулъ Ароновичъ.

Смущеніе его перешло въ настоящій ужасъ, когда, пересматривая однажды ключъ,—совсѣмъ уже отдѣланные и готовые къ печати параграфы, онъ нашелъ въ нихъ цѣлый рядъ ошибокъ: въ одномъ мѣстѣ невѣрно было согласованіе, въ другомъ неправильно употребленъ былъ Subjonctif, въ третьемъ перепутаны роды...

— Ну, это уже совсѣмъ Богъ знаетъ какое прискорбное явленіе!—вскричали Саулъ Ароновичъ:—это же не дай Богъ! Прежде я таки работалъ гораздо лучше, а послѣднее время отупѣлъ... И немудрено,—когда столько горя, столько хлопотъ!..

И онъ въ тоскѣ метался по классу.

— А между тѣмъ, если бы я ѣлъ каждый день супъ—тогда бы и въ моемъ трудѣ ошибокъ не было. Но когда питаніе состоитъ изъ одной картошки, такъ и голова не можетъ работать интенсивно... И все этотъ меламедъ виной!.. Что мнѣ съ нимъ дѣлать, что?..

Саулъ Ароновичъ устроилъ энергію въ дѣлѣ выпрашиванія учениковъ: онъ сталъ теперь обращаться не только къ бывшимъ своимъ кліентамъ, но и къ людямъ, совершенно ему незнакомымъ. Однако, дѣла продолжали идти изъ рукъ вонъ скверно, и мѣсяца черезъ два у Саула Ароновича не было уже и картошки, а въ школѣ оставались только тѣ ученики, которыхъ онъ подрядился готовить въ прогимназію.

— По крайней мѣрѣ, этихъ меламедъ уже не отобьешь!—говорилъ себѣ Саулъ Ароновичъ.

Но онъ ошибся: отбилъ меламедъ и этихъ.

Въ городкѣ проживалъ кандидатъ правъ, нѣкто Рапопортъ. Онъ былъ еврей и, по „независящимъ“ обстоятельствомъ, употребленія изъ диплома своего не могъ сдѣлать никакого. Уже третій годъ хлопоталъ

онъ о мѣстѣ въ хлѣбной конторѣ, а въ ожиданіи кое-какъ перебывался мелкими урочками. Глухой меламедъ задумалъ пригласить этого Рапопорта къ себѣ въ помощники и, пригласивши, отправился къ господину Цыпоркесу, добиваться аудіенціи.

— Что вамъ надо?—строго спросилъ Цыпоркесъ.

— Конечно, кто есть знаменитый человѣкъ, у того и дѣла, и мысли знаменитыя, -- началъ меламедъ, — а если кто-нибудь есть человѣкъ маленькій и пустячный...

— На завтра ваше предисловіе. Говорите въ короткомъ видѣ!

— Такъ что теперь,—вы тоже можете вашего мальчика ко мнѣ въ училище отдать, — заторопился меламедъ, приступая уже прямо къ дѣлу.

— Зачѣмъ такъ?

— Черезъ то, что теперь у меня вовсе не вонючій хедеръ, какъ вы всегда говорите, а тоже классъ.

— Почему?

— Я нанялъ господина Рапопорта, кандидата правъ кіевскаго университета святого Владиміра.

— Онъ у васъ учитъ?

— Да, у меня... И ариѣметику, и грамматику, и математику—все!

— Вотъ какъ! А французскій и нѣмецкій?

— Тоже. Съ однимъ словомъ — все. Кандидатъ правъ же! Изъ кіевскаго же университета!

— У-ва! большое дѣло, — строго насупившись, сказалъ г. Цыпоркесъ. Но сына своего мелаamedу, все-таки, отдалъ.

— Для васъ это важнѣе, чѣмъ вашъ кандидатъ правъ,—заклучилъ онъ: — мой сынъ дастъ вамъ репутацію...

Саулъ Ароновичъ былъ сраженъ окончательно.

Почти вся его школа распоздлась. А между тѣмъ, домохозяинъ на него уже подалъ въ судъ, топливо

вышло, лавочница же Ривка Мудрецеха взяла съ мѣста въ карьеръ и, когда Сауль Ароновичъ проходилъ мимо, — выскакивала изъ лавочки на улицу и, сколько силъ было, кричала, что онъ — жуликъ и арестантъ, и что она съ него сдеретъ пальто, если онъ къ субботѣ не дастъ ей въ счетъ долга хоть полтора рубля...

Цѣлую недѣлю педагогъ не зажигалъ лампы, но каждый вечеръ вынималъ изъ сундука свои тетрадки и, не видя ихъ, впотѣмахъ, перелистывалъ, расправлялъ, переворачивалъ...

— Подлый, проклятый меламедъ!.. Теперь бы я уже закончилъ трудъ... теперь бы я уже набѣло переписывалъ... я бы уже печаталъ...

И тяжелые, горькіе вздохи раздавались въ сыромъ сумракѣ убогой каморки...

IV.

Скоро на Саула Ароновича свалилась новая бѣда: къ нему на ревизію пріѣхалъ инспекторъ народныхъ училищъ.

Инспекторъ былъ человѣкъ не злой, и его визиты обыкновенно проходили довольно благополучно. На этотъ, однако, разъ инспектора уже задѣли „вѣяпія времени“, и онъ рѣшилъ „пошевелить немножечко просвѣтителя изъ насихъ“. Началъ онъ сравнительно благодушно, — съ легкихъ упрековъ за то, что „нѣтъ вѣшалки“; но потомъ вошелъ во вкусъ и поднялъ крикъ и за немые полы, и за грязныя стѣны, и за дымъ, и за отсутствіе вентиляціи.

Сауль Ароновичъ стоялъ ни живой, ни мертвый, обливался потомъ, и не говорилъ ничего — не защищался, не оправдывался, не давалъ никакихъ объясненій: совсѣмъ у него языкъ отнялся. Инспекторъ же, разъ начавъ, уже не останавливался и кричалъ все громче и громче.

— Не школа это, а сарай, хуже сарая всякаго!.. Предупреждаю васъ: если въ двѣ недѣли все не будетъ приведено въ полный порядокъ, закрою вашу школу и конецъ дѣлу!

Онъ сталъ было кричать еще и за то, что Сауль Ароновичъ не придерживается программы, но здѣсь онъ случайно взглянулъ на него, прямо въ лицо — и круто оборвалъ на полусловѣ: „Фу ты, какое лицо!.. Что я его рѣжу, что ли?.. У этихъ хаймовъ иногда какія-то совсѣмъ особенныя лица бываютъ“.

И, немного помолчавъ, онъ заговорилъ опять, но совсѣмъ уже другимъ тономъ—примирительно и мягко:

— Ну, ничего, не бойтесь: закрывать васъ я не стану, а только вы... что-нибудь все-таки сдѣлайте. Форточку, напимѣрь. Сами посудите, что это за атмосфера!

Инспекторъ потянулъ носомъ воздухъ.

— Съ вашими еврейчиками, знаете, всегда такъ: и немного ихъ, а пахиваетъ.

Инспекторъ засмѣялся и повеселѣлъ.

„А вѣдь, пожалуй, и онъ влюблялся!“ — почему-то пришло ему вдругъ въ голову.

Онъ сдѣлалъ еще нѣсколько замѣчаній, все въ томъ же миролюбивомъ и мягкомъ тонѣ, и потомъ спросилъ:

— Что это у васъ сегодня учениковъ такъ мало? Больше нѣтъ развѣ?

Судорожно сжатая губы Саула Ароновича не разжимались, и онъ не отвѣтилъ.

— Я спрашиваю: это всѣ ваши ученики?

— Всѣ,—съ усиліемъ прохрипѣлъ Сауль Ароновичъ.

— Гмъ, немного... Вѣдь вы, я полагаю, не для удовольствія одного школу содержите... Чѣмъ же вы живете?

Сауль Ароновичъ поднялъ на инспектора глаза.

Что-то странное промелькнуло въ нихъ—удивленіе, вопросъ, благодарность?.. Горестная складка между бровями у него разошлась, и ноздри чуть-чуть затрепетали. Онъ сдѣлалъ шагъ впередъ и заговорилъ.

Чѣмъ онъ живетъ? Да развѣ онъ живетъ! Развѣ это жизнь! Это все—одна сплошная мука и больше ничего. У него нѣтъ ни хлѣба, ни керосина, ни топлива, у него нѣтъ силъ, чтобы работать, его завтра выбросятъ изъ квартиры... Вотъ господинъ инспекторъ требуетъ вѣшалку, чистоту, и, конечно, онъ совершенно правъ. Но развѣ Саулъ Ароновичъ самъ не знаетъ, что школу такъ грязно содержать нельзя? Развѣ онъ не знаетъ, что подобныя гигиеническія условія „пагубно вліяютъ на молодя отправления дѣтскихъ жизней“? Отлично онъ это знаетъ, и это немало отравляетъ ему жизнь, но что же онъ можетъ сдѣлать?.. И тѣмъ не менѣе, какъ ни плоха его школа, она все-таки лучше и полезнѣе другихъ. У глухого меламеда въ землянкѣ, въ темнотѣ, въ грязи, въ вони сорокъ душъ копошится, а чему такой меламедъ можетъ научить? Какія у него познанія? Онъ только знаетъ сѣчь и больше ничего... Саулъ Ароновичъ былъ бы радъ и счастливъ, если бы можно было школу вести какъ слѣдуетъ, но въ Мертвоводскѣ это невысказано — „абсолютно невысказано существовать и никакъ невозможно сдѣлать что-нибудь полезное“...

Инспекторъ искоса и съ выраженіемъ любопытства поглядывалъ на Саула Ароновича.

„Какъ развернулся!—думалъ онъ:—и весь трясется... Станный господинъ!“

— А про какого это вы глухого меламеда говорите?—спросилъ онъ.

„Ой, языкъ! Проклятый языкъ!“—спохватился Саулъ Ароновичъ. И съ горячностью зачастилъ:

— Нѣтъ, не меламедъ, но только, напимѣрь, когда, напимѣрь, бываютъ мелаеды, то у нихъ все это бы-

васть... Можетъ быть и глухой, и даже слѣпой, угодно, и онъ обучаетъ, и у него бываетъ по три и по пятидесяти учениковъ... Только это, напри когда бываютъ хедера...

— А здѣсь у васъ есть хедера?

— Боже сохрани! Откуда они вовсе возьм Когда-то, очень давно, такъ былъ одинъ, но т нѣтъ. Ничего подобнаго нѣтъ! А если бы и б никто бы туда дѣтей не отдавалъ!.. Теперь не то в теперь уже понимаютъ...

— Чортъ его знаетъ, что онъ такое путаетъ думалъ инспекторъ.

Онъ простился, довольно дружелюбно, и уше Саулъ Ароновичъ потомъ долго еще повторял все то, что сказалъ инспектору.

— Да, я хорошо сдѣлалъ, что поговорилъ съ Что, если онъ инспекторъ, такъ онъ не человѣкъ лучше другихъ! Заинтересовался и весьма сочувств спросилъ, чѣмъ я живу... Небось. Цыпоркесъ не сить! Хоть умри—никому дѣла нѣтъ. Никто, н не знаетъ, что въ четвергъ, когда я мылъ полы, я упалъ въ обморокъ, и въ лужѣ четверть час жалъ. Очень это имъ интересно! И таки этотъ ин торъ очень хорошій и благородный человѣкъ, и таки очень жалко, что я ему ничего не сказа „трудѣ“... И вотъ же, значить, что выходить: п городъ жителей, и все какъ будто бы свои, ев задушевную и очень теплую ноту я слыхалъ т отъ инспектора... Только ему я могъ рассказать множокъ, что у меня на сердцѣ... Теперь мнѣ та раздо легче, и даже очень пріятно. А то же лопнуть можно—всегда все въ себѣ носить!..

V.

Инспекторъ уѣхалъ. Но прежде, чѣмъ покинуть городъ, онъ навелъ необходимыя справки, сдѣлалъ соотвѣтствующее распоряженіе, и хедеръ глухого меламеда закрыли, а самого меламеда, за незаконное содержаніе училища, присудили къ шестидневному аресту.

Это событіе вызвало въ городкѣ огромную сенсацію, и всѣ сходились на томъ, что виновать во всемъ Саулъ Ароновичъ: „донесъ“!

Колкости, оскорбленія, ругательства, такъ градомъ на него и посыпались, а господинъ Цыпоркесь, по указанію котораго акцизный чиновникъ на прошлой недѣлѣ составилъ тремъ евреямъ протоколы за тайную продажу водки, прочелъ учителю обстоятельную нотацию.

— Доносъ,—фе! Это самага паскуднаго дѣла и чести вамъ не дѣлаетъ нисколько... Штидно! Мнѣ за васъ штидно, и подло.

Въ семьѣ глухого меламеда обрушившееся на нее несчастье подняло страшный переполохъ, и тамъ долго стоялъ такой плачь, какъ если бы кого-нибудь хоронили.

Несмотря, однако, на это, глухой меламедъ, какъ только вышелъ изъ кутузки,—сейчасъ же снова вступилъ на свой прежній преступный путь и опять сталъ набирать учениковъ...

— Только что же это будетъ, Хана, если этотъ разбойникъ опять на меня донесетъ?—спросилъ онъ какъ-то жену.

— А то будетъ, что твоихъ учениковъ опять разгонятъ, а тебя, дурака, опять засадятъ въ острогъ,—злобно отвѣтила она:—только теперь ужъ не на шесть дней, а на полгода... О, чтобы его десять лѣтъ лихорадка трясти не переставала, душегуба, доносчика про-

клятаго! Чтобы ему, подлому, сегодня же на мѣстѣ гдѣ онъ ходитъ или стоитъ, сквозь землю провалиться!..

Полемическіе приемы Ханы большой утонченностью не отличались никогда, а обстоятельства послѣдняго времени сообщили имъ выразительность совершенно уже исключительную. Теперь она не могла раскрыть ротъ безъ того, чтобы не выпустить цѣлаго заряда самыхъ изысканныхъ ругательствъ. Ругала она всѣхъ и все—и мужа, и дѣтей, и всѣхъ знакомыхъ, и всего больше Саула Ароновича. Себя она, впрочемъ, не забыла тоже и съ большой горячностью просила Бога, чтобы „чортъ ее поскорѣй унесъ“, и „чтобы уже окончились, наконецъ, ея страданія на этомъ свѣтѣ“...

А страданія ея на этомъ свѣтѣ были, дѣйствительно, немалыя. Она принадлежала къ числу тѣхъ еврейскихъ женщинъ, которыхъ вся жизнь проходитъ въ трепетной суетѣ, въ страхѣ и никогда не прерывающемся недоѣданіи. Голодать она начала буквально съ первыхъ дней появленія на свѣтъ,—съ той поры, когда со слабымъ пискомъ припадала къ высохшей груди своей чахоточной матери. Съ семи лѣтъ она сидѣла за стойкой въ отцовскомъ шинкѣ, а въ шестнадцать была уже матерью двойни, недолго, впрочемъ, прожившей. Потомъ она рожала каждый годъ и каждый же годъ кого-нибудь хоронила. Мужъ ея былъ „латыжникъ“, т. е. такой сапожникъ, искусство котораго дальше накладыванія уродливыхъ заплатъ не пошло. Онъ работалъ на перекресткѣ двухъ переулковъ у синагоги, подъ прикрытіемъ старой, ободранной акаціи. Шесть лѣтъ пожилъ онъ съ Ханой, наслаждаясь всѣми радостями голодной семейной жизни, и потомъ скоропостижно умеръ, какъ говорится въ некрологахъ, на посту, т. е. подъ старой акаціей у синагоги, съ дратвой и корявымъ сапогомъ въ рукахъ.

Добрые люди собрали Ханѣ нѣсколько рублей, и она завела торговлю щетками и сапожной ваксой. На-

грузить, бывало, себя этимъ товаромъ—одинъ узелъ на груди, другой на спинѣ—да и ковыляетъ, охая и покашливая, по городу, разыскивая покупателей.

Дѣти оставались безъ всякаго присмотра, и разъ, вернувшись поздно вечеромъ домой, Хана нашла своего трехлѣтняго Іойну ошпареннымъ. Онъ опрокинулъ на себя чайникъ съ кипяткомъ, да такъ со сведенными ногами на всю жизнь и остался..

Хана вышла замужъ во второй разъ, за меламеда, но сытости ей и этотъ бракъ не принесъ. Рожать же она опять стала ежегодно... Впрочемъ, семья ея не увеличивалась: одинъ родится, другой умретъ... Восемьро, дѣтей умерло у Ханы, и не умиралъ только калѣка Іойна: росъ себѣ на славу, а ходить не ходилъ.

Не прекращавшійся процессъ рожанія, кормленія, похоронъ сушилъ и истощалъ Хану, превращалъ ее въ какую-то ходячую мумію, убивалъ всѣ ея силы, и одного только не могъ убить—способности рожать. Когда въ городѣ произошелъ погромъ, и дикая ватага громилъ ворвалась въ ея конуру,—Хана была на шестомъ мѣсяцѣ... Къ вечеру она родила мертвого ребенка, и этотъ тоже не былъ послѣднимъ...

Въ Мертвоводскѣ, къ великому изумленію Ханы и ея мужа, случилось диво дивное, случилось нѣчто такое. чего они никогда и предположить не могли бы: меламедъ сталъ зарабатывать... Поистинѣ золотая пора наступила для него, такая пора, какой онъ еще и не знавалъ.—„На, ѣшь, Іойна!.. Берчикъ, ѣшь! — совала Хана дѣтямъ какой-нибудь кусокъ:—ѣшь еще, выпей чаю, сахару возьми, пей!“

Она словно хотѣла навестать, вознаградить дѣтей за прежніе голодные годы и накормить ихъ и за тѣхъ, которые такъ и въ могилу сошли, не узнавъ, что такое сытость...

Несмотря на эти счастливыя перемѣны, Хана не

выказывала никакой радости. Какъ и въ прежніе годы—улыбка никогда не появлялась на ея узкомъ, костлявомъ лицѣ, и, какъ и раньше, оно выражало одну только безсмѣнную, холодную суровость. Но внутри Ханы происходило что-то странное. Тамъ точно отогрѣвалось что-то и таяло, точно кора какая-то шелушилась и отпадала отъ замученной души. Постоянный праздникъ, постоянное ликованіе царило въ ней, и она тихо и радостно замирала отъ этого неожиданнаго, великаго отдыха... На Іомъ-Кипуръ, въ душной, темной синагогѣ, при тихомъ потрескиваніи красныхъ восковыхъ свѣчей, она молилась съ большой горячностью. слезы долго и быстро катились у ней по лицу, и когда тѣхъ молитвъ, которыя старенькій, сгорбленный канторъ жалостнымъ теноркомъ пѣлъ у алтаря, и которыя имѣлись въ ея молитвенникѣ, ей показалось мало,—она въ страстномъ порывѣ, всплеснула руками, прижала молитвенникъ къ груди, обратила лицо къ низкому темному потолку, и на разговорномъ еврейскомъ жаргонѣ вскрикнула:

— Господи, не оставь насъ! Сбереги насъ, моего калѣку... дѣтей моихъ, моихъ бѣдныхъ дѣтей!

Когда послѣдовало закрытіе хедера, Хана, какъ придурковатая, долго повторяла одну и ту-же фразу: „Богъ меня наказалъ! Богъ меня наказалъ“!..

На другой день только она очнулась и бросилась къ Сауду Ароновичу. Въ присутствіи учениковъ она вцѣпилась ему въ лацканы и заголосила:

— Хлѣба, доносчикъ! Дѣтямъ моимъ хлѣба!

Саулъ Ароновичъ растерялся, поблѣднѣлъ и, какъ могъ, отбивался отъ разъяренной женщины.

— Я тебя, доносчикъ, задущу! Задущу, разбойникъ-проклятый!—дико вопила она, потрясая его изо всѣхъ силъ.

И Богъ знаетъ, чѣмъ окончилась бы эта сцена, если бы старуха Сося, свекровь Ханы, вмѣстѣ съ ней

отправившаяся чинить расправу, не повисла вдругъ у невѣстки на рукахъ и не закричала:

— Ханеню, дитя мое, что ты дѣлаешь! Уйдемъ. Насъ Богъ не оставитъ... У насъ Богъ крѣпкій... Онъ сильный... Онъ видитъ... Онъ все видитъ... Онъ насъ защититъ... Уйдемъ, дитя мое, уйдемъ отсюда, идемы!..

Старуха плакала, ласкала и унимала навзрыдь голосившую Хану, и потомъ, когда обѣ женщины ушли, и были уже далеко, и горестныя причитанія ихъ, заглушаемыя тоскливымъ шумомъ осенней непогоды, въ школу доносились уже едва только уловимымъ замирающимъ стономъ,—Саулъ Ароновичъ пришелъ нѣсколько въ себя, 'сложилъ на груди ладони и, съ выраженіемъ мольбы и муки на помертвѣломъ лицѣ, растерянно бормоталъ:

— Да я жъ не доносилъ, Господи, Боже мой! Что это за несчастье такое, я же не доносилъ!..

VI.

Хана отлично поняла и вполнѣ правильно оцѣнила свое положеніе. Она поняла, что это горе— не преходящее, не временное, а постоянное. Она видѣла, что семья ея и „доносчикъ“ столкнулись на тѣсной, узенькой площадкѣ, и что всѣмъ имъ на ней умѣститься нельзя. Кто-нибудь долженъ уйти.

— Уйти? Значитъ, чтобы опять мои дѣти съ голоду пухли? Н-н-нѣтъ, этого не будетъ!

И когда мужъ спросилъ ее о томъ, что „будетъ“— у нея планъ дѣйствій уже созрѣлъ. Но только она знала, что мужъ его не одобритъ, и это вызывало въ ней настоящую ярость.

— Сгніешь въ острогѣ!—свирѣпо вскрикнула она. Меламедъ поникъ головой.

— Ну, а все-таки, что же дѣлать?

— Не знаешь, что дѣлать? Танцевать.

— Зачѣмъ ты сердишься? Лучше мы обсудимъ...

— „Обсудимъ“! Онъ будетъ обсуждать! Умникъ какой нашелся, министерская голова!.. Что тутъ обсуждать! Выживи этого душегуба отсюда, вотъ и все. Донеси на него. закрой ему школу, и пусть онъ къ чорту уѣдетъ отсюда, куда хочетъ.

Меламедъ съ безпокойствомъ посмотрѣлъ женѣ въ лицо.

— Хана, не говори этого! За это Богъ накажетъ. Доносъ?.. Еврей этого не долженъ дѣлать.

— Ну, такъ татаринъ это сдѣлаетъ! Такъ дѣлай то, что еврей долженъ дѣлать: издыхай съ голоду!

Меламедъ, въ тяжеломъ раздумьѣ, молчалъ, а Хана продолжала:

— Развѣ я не знала, что такъ оно и будетъ! Фила-зѡвъ! „Долженъ, не долженъ! еврей не еврей“... Дѣти босы, голы, голодны, самъ ты человѣкъ больной, еле держишься, и тебя въ острогъ посадятъ. Вотъ-то будетъ весело! По крайней мѣрѣ, весело будетъ. Хлѣба у меня нѣтъ, а веселья—сколько угодно!

И такъ какъ меламедъ все вздыхалъ и не говорилъ ничего, то Хана вышла изъ себя и, ударивъ кулакомъ объ столъ, истерически закричала:

— Ты мужъ?! Ты отецъ?! Ты извергъ, ты кать, вотъ кто ты! Развѣ ты заботишься о своихъ дѣтяхъ? Пусть они всѣ вымрутъ—тебѣ все равно... Я! Я сама все устрою, если такъ. Я сама инспектору напишу! Я найду такихъ, которые мнѣ напишутъ... Ты болванъ. ты стурпачъ, ты старая кляча, ты...

Недѣлю спустя инспекторъ получилъ доносъ о томъ, что въ школѣ Саула Ароновича древнееврейскій языкъ преподаетъ учитель, не имѣющій установленнаго ценза. И еще былъ указанъ цѣлый рядъ другихъ, не менѣе ужасныхъ нарушеній закона... Въ это время „вѣянiя“ захватили инспектора съ особенной силой...

— А, надоѣли мнѣ, однако, эти бердичевскіе!—сказалъ онъ съ досадой.— Съ сотней нашихъ школъ меньше возни, чѣмъ съ двумя какими-нибудь лапсердаками. Чортѣ ихъ всѣхъ побери! Ябедники!

Разбираться въ этомъ дѣлѣ было долго... „Всѣ они одинаковы!...“ И черезъ нѣсколько дней школа Саула Ароновича была закрыта.

VII.

— Что же я теперь буду дѣлать? Куда же мнѣ теперь дѣваться?

Саулъ Ароновичъ стоялъ посреди класса, тупымъ, бессмысленнымъ взглядомъ уперся въ стѣну, но и стѣны не видѣлъ. Какая-то темная путаница стояла у него въ головѣ, точно въ ней клубился туманъ или дымъ.

Потомъ онъ вдругъ встрепенулся.—„А вѣдь это Рапопортъ! Это его работа, это онъ донесъ!“

И Саулъ Ароновичъ бросился въ свою каморку, трясущимися, не попадавшими въ рукава руками напялилъ на себя пальтишко и побѣжалъ вонъ изъ дому.

— Это называется интеллигентный человѣкъ!—заяоралъ онъ, врываясь въ комнату Рапопорта:—такъ поступаетъ человѣкъ съ университетскимъ образованіемъ! Доносы пишетъ! Изъ-за несчастнаго урока у меламеда кандидатъ правъ на людей доносы пишетъ!

Въ головѣ Рапопорта пробѣжала смутная догадка.

— И? Доносы?

— Вы! Вы! Кто же донесъ инспектору?.. Ваша работа!..

— Послушайте, убирайтесь вы вонъ!

Но тутъ Рапопортъ пристально посмотрѣлъ на своего неожиданнаго гостя и, перемѣнивъ тонъ, добавилъ:

— Да какой чортъ вамъ сказалъ, что это „моя работа“? Никакихъ доносовъ я не писалъ. Вамъ, можетъ быть, нагнали, но я увѣряю васъ, что это неправда...

— Какъ не писали?

— Да такъ вотъ, и не писалъ.

Саулъ Ароновичъ смѣшался.

— Вы не писали? Вы не писали?.. А кто же писалъ?

— А я почему знаю. Можетъ быть, меламедъ написалъ... Не знаю.

— Можетъ быть, меламедъ писалъ...—машинально, не слыша себя, повторилъ Саулъ Ароновичъ. И вдругъ, пораженный другимъ ходомъ мыслей, схватился обѣими руками за голову и застоналъ:—Боже-жъ мой, Боже-жъ мой. Что же это теперь будетъ!

— Я вамъ искренно сочувствую, Саулъ Ароновичъ,—сказалъ Рапопортъ,—и ужасно хотѣлъ бы вамъ помочь, да только что-жъ я могу... вотъ развѣ что: у меламеда отъ урока отказаться? Откажусь! Сегодня же откажусь, хотя и самъ безъ куска хлѣба останусь...

— Кусокъ хлѣба!.. наплевать мнѣ на кусокъ хлѣба!.. Чортъ съ нимъ, съ кускомъ хлѣба! Тутъ дѣло не въ хлѣбѣ, тутъ другое... Тутъ мой трудъ, моя книга!.. Я пишу книгу, полезную книгу, я пишу... ключъ къ Марго!

— Вы пишете ключъ къ Марго?—вскричалъ Рапопортъ.

— Да! Я больше года уже работаю, это будетъ очень полезная книга! Я бы скоро кончилъ ее. Мѣсяца три, четыре... а тутъ мнѣ школу закрываютъ.

„Да что это онъ съ ума сошелъ, или такъ просто, олухъ такой ужъ необыкновенный?“—думалъ Рапопортъ, съ смущеннымъ видомъ оглядывая Саула Ароновича.

— Ключъ? Къ Марго ключъ?—переспросилъ онъ.

— Да. И если бы не это несчастье, я бы через два мѣсяца его окончилъ...

— Но вѣдь... послушайте... что вы дѣлаете? Вѣдь ключъ къ Марго уже написанъ.

— Какъ! Что вы сказали?!

Глаза у Саула Ароновича стали совсѣмъ безумные.

— Я сказалъ... да вы успокойтесь... я ничего... я сказалъ только... мнѣ такъ казалось, что ключъ такой уже существуетъ.

Сауль Ароновичъ весь побѣлѣлъ, но въ замутившемся умѣ его мелькнула догадка: „завидуетъ, проклятый! Меламедскій наемникъ“.

— Вы врете!—гаркнулъ онъ не своимъ голосомъ и затопалъ ногами.—Ключа нѣтъ! Вы мнѣ врагъ! Вы смѣтаетесь надо мной! Вы доносы написали, вы ябедникъ, доносчикъ! Вы подлецъ!

Лицо у Рапопорта судорожно задергалось.

— Я доноса не писалъ,—сился быть спокойнымъ, сказалъ онъ:—вы это потомъ поймете. А ключъ есть. Зачѣмъ мнѣ васъ обманывать? Вотъ онъ.

Рапопортъ взялъ съ окна тоненькую, желтую брошюрку и бросилъ ее на столъ.

— „Ключъ къ учебнику французскаго языка Марго“,—прочелъ Сауль Ароновичъ, и въ глазахъ у него потемнѣло.

— „Ключъ къ учебнику французскаго языка Марго“,—прочелъ онъ во второй разъ, и колѣни его стали трястись.

Потомъ трястись стало все тѣло, и мучительный, ноющий холодъ разошелся по всѣмъ его членамъ.

— „Ключъ къ учебнику французскаго языка Марго. Ключъ къ учебн... ключъ къ уч...“.

Съ минуту Сауль Ароновичъ стоялъ безъ движенія. Потомъ глаза его широко раскрылись и закрылись снова. Потомъ руки его зачѣмъ-то протянулись впередъ и упали. Потомъ онъ повернулся, взялъ шляпу

и, шатаясь, пошелъ къ двери. Но на порогѣ онъ остановился, обернулся, посмотрѣлъ на „Ключъ“ пристальнымъ дикимъ взглядомъ и, протяжно, жалобно, точно больное дитя, пролепетавъ „Рапопортъ... Рапопортъ“, — какъ подкошенный, повалился на полъ...

VIII.

Прошелъ годъ.

Сауль Ароновичъ переѣхалъ на жительство в Одессу. Бѣдствовалъ онъ тамъ сначала очень сильно, потомъ вдругъ обстоятельства круто переѣнились.

На этотъ разъ помогли ему именно „вѣянiя“: в Одессѣ тоже пристальнѣе начали присматриваться къ дѣятельности еврейскихъ школъ и отъ преподававшихъ въ нихъ меламедовъ стали требовать учительскiя свидѣтельства. Такихъ монстровъ-меламедовъ со свидѣтельствами, однако же, не оказалось совсѣмъ, а Сауль Ароновичъ, въ качествѣ окончившаго раввинское училище, вполне удовлетворялъ требованiямъ начальства. И вотъ на Саула Ароновича вдругъ появился спросъ... Онъ перемѣнилъ только амплуа: вмѣсто „общихъ предметовъ“ сталъ преподавать древне-еврейскiй языкъ, и отъ уроковъ не было отбою...

Зажилъ Сауль Ароновичъ!

Въ короткое время онъ подкормился, приодѣлся, поправился здоровьемъ. Хребетъ у него не выравнивался, правая лопатка по прежнему своевольно торчала, совсѣмъ не въ томъ направленiи, въ какомъ слѣдовало бы, но щеки пополнѣли и цвѣтъ лица оживился. Теперь онъ каждый день обѣдалъ, — два блюда и чашка кофе, и за обѣдомъ ему подавали газету, почти чистыя салфетки, а въ сильную жару — даже вѣеръ. Ему не приходилось теперь собственноручно стряпать, мыть тарелки, полы и горшки: все это осталось въ прошломъ.

Ношеной одежды онъ не покупалъ тоже. Когда ему хотѣлось обогатить свой гардеробъ; онъ отправлялся на Полицейскую улицу, входилъ въ магазинъ и увѣренно требовалъ то, что въ данную минуту было нужно.

— Когда человѣкъ хорошо одѣтъ, — разсуждалъ Сауль Ароновичъ, — съ нимъ совсѣмъ иначе обращаются. Вотъ, напр., когда я еще только что было прѣхалъ въ Одессу, подхожу я себѣ къ городовому и выполняю вѣжливо, какъ слѣдуетъ, спрашиваю: извините, пожалуйста, господинъ городской, будьте такъ любезны, потрудитесь мнѣ сказать, гдѣ тутъ Приморскій бульваръ? А городской посмотрѣлъ на меня, и крикнулъ, довольно-таки грубо: — тебѣ на Приморскій бульваръ надо? Тебѣ, пархатому, на толчокъ надо! — А отчего? Тогда сюрюкъ на мнѣ таки былъ старинный, засаленный. А теперь — хотите? Вотъ я сейчасъ пойду и спрошу дорогу, куда угодно.

Все это было очень хорошо и пріятно, но... Сауль Ароновичъ чувствовалъ себя неудовлетвореннымъ.

„Если эти удобства отложить въ сторону, — говорилъ онъ себѣ, — такъ я долженъ признаться, что вовсе не испытываю ничего возвышеннаго. Въдѣ я же живу, какъ какое-нибудь прозябающее! Ымъ, пью, ну а дальше что? Какая отъ меня польза человѣку и что это за дармоѣдская жизнь!.. Дѣтей учу... Ну, это правда. Но въдѣ первый попавшійся еврей можетъ это дѣло дѣлать — какая тутъ съ моей стороны заслуга?

И Сауль Ароновичъ чувствовалъ огорченіе.

Онъ становился угрюмъ и молчаливъ... Сходилъ раза два въ театръ, въ думу на засѣданія, на какія-то публичные лекціи, но и въ театрѣ, и въ думѣ, и на лекціяхъ — вездѣ ему было не хорошо.

„Вотъ я развлекаюсь, думалъ онъ. — Важныя дѣла дѣлалъ я сегодня!.. Какое теперь мое существованіе? И чѣмъ я отличаюсь отъ глухого меламеда... работаю только для своей утробы... И особенно это красиво въ настоя-

щее нехорошее время! Въ настоящее время какъ разъ и можно себѣ допустить такой образъ жизни!..“

А „настоящее время“, дѣйствительно, было черными днями.

То было время жестокихъ погромовъ, дикой газетной травли, общей къ евреямъ ненависти и повсемѣстнаго глубокаго презрѣнія. Смятеніе и страхъ царили въ „чертѣ осѣдлости“, и Саулъ Ароновичъ терзался мыслью, что онъ не можетъ ничего сдѣлать.

„Теперь надо работать, но теперь работать надо не какъ прежде, не вообще для всѣхъ, для всего общества, или для просвѣщенія всѣхъ бѣдныхъ посредствомъ „ключей“, а преимущественно для евреевъ. Надо дѣлать что-нибудь такое, что въ эту тяжелую годину было бы полезно еврейству, что облегчало бы его страданія, утѣшало бы... Я, конечно, человѣкъ маленькій, простой муравейчикъ—ну такъ что? Одинъ муравейчикъ, два муравейчика, три муравейчика—и въ общемъ итогъ вырастаетъ цѣлый подземный дворецъ!.. И, кромѣ того, въ самомъ ли дѣлѣ я такой уже муравейчикъ? Вотъ же я написалъ было трудъ! Къ несчастью, онъ вышелъ запоздалымъ, но это уже случайность... Я могъ написать и другой трудъ... Я могу... И напишу, и онъ будетъ полезенъ моему народу...“

Весь вопросъ, вся трудность для Саула Ароновича заключалась въ томъ, чтобы выяснить себѣ, что именно требуется еврейству въ данную минуту, и что онъ для него можетъ сдѣлать.

— Чего собственно отъ насъ хотятъ? — рассуждать онъ:—за что такъ ненавидятъ? „Жиды мошенники!“ Здравствуйте! Только жиды мошенники? А среди русскихъ мошенниковъ нѣтъ? Вездѣ есть мошенники, вездѣ есть и честные люди... Они говорятъ, что наша религія жестока, наша мораль вредна. Наши традиціи, будто бы, безнравственны. И почему говорятъ? Потому, что насъ не знаютъ. Пусть узнаютъ и мнѣніе о насъ сразу пере-

мѣнится... Чѣмъ наша мораль такъ отличается отъ другой? Мораль одна!.. Взять, напримѣръ, пословицы. Что такое пословица? Пословица есть, такъ сказать, показатель народной мудрости... Такъ! Но и народной морали тоже... „Хлѣбъ-соль ѣшь—правду рѣжь“. „Не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ“. „Лѣность—мать пороковъ...“ Теперь посмотрите, что выходитъ: выходитъ, что каждая русская пословица имѣетъ себѣ подходящую и на древне-еврейскомъ языкѣ. Ожидали вы этого?.. И что же отсюда слѣдуетъ? Показатели морали равны, значить и самыя морали равны. Это же ясно, ясно математически! И этого никто не зналъ, и никто объ этомъ не думалъ... Теперь предположимъ, что существовалъ бы сборникъ русскихъ пословицъ и параллельно соотвѣствующихъ имъ древне-еврейскихъ? Имѣло бы это значеніе? А если бы еще вдобавокъ — и французскія, и нѣмецкія!.. Боже мой!..

Добравшись до этой мысли, Сауль Ароновичъ весь просвѣтлѣлъ.

— Замѣчательно! Необыкновенно плодотворная идея!!

И съ того же вечера онъ засѣлъ за новый „трудъ“.

Онъ началъ составлять сборникъ подъ названіемъ „Мораль въ пословицахъ іудеевъ и христіанъ, или параллельный сборникъ поученій, прибаутокъ и поговорокъ съ точки зрѣнія сравнительной нравственности“.

— Такъ, такъ, — въ радостномъ волненіи говорилъ онъ:—это будетъ замѣчательнѣйшая книга! И попадетъ въ самый центръ вопроса!.. Если русскіе насъ бьютъ, то развѣ оттого, что они злые люди? Разбойники? Душегубы? Совсѣмъ нѣтъ!.. У русскаго человѣка — сердце золотое. Но только русскій человѣкъ насъ не знаетъ. Тутъ одно прискорбное недоразумѣніе, которое необходимо разсѣять... И мой сборникъ поможетъ этому... Онъ разсѣетъ предрасудки... Онъ откроетъ окна и пуститъ свѣтъ... И все станетъ ясно, и всѣ увидятъ... Боже мой, какъ это просто!..

IX.

Отъ другихъ смертныхъ Саулъ Ароновичъ въ ту пору отличался тѣмъ, что почти вовсе не спалъ.

Сборникъ написать надо было какъ можно скорѣе: потребность въ немъ была жгучая, и онъ просиживалъ надъ книгой ночи напролетъ.

А писать эту книгу было немножечко потруднѣе, чѣмъ ключъ къ руководству Марго. Нужно было множество матеріаловъ и источниковъ, и Саулъ Ароновичъ накупилъ и выписалъ изъ Петербурга и Парижа цѣлый ворохъ какихъ-то диковинныхъ, никому невѣдомыхъ, никогда никѣмъ невиданныхъ сборниковъ и хрестоматій, и весь съ головой ушелъ въ ихъ штудированіе и комментированіе.

Онъ обшарилъ всѣ имѣвшіяся въ городѣ бібліотеки и проникалъ къ частнымъ лицамъ, у которыхъ разыскивалъ найти книги или „вообще матеріалы“; нѣдра публичной бібліотеки онъ раскапывалъ съ такимъ увлеченіемъ, что завѣдующаго ею, господина, сорокъ пять лѣтъ сидѣвшаго на своемъ посту и издавашаго всякіе виды, приводилъ и въ изумленіе, и въ уныніе. И потомъ—когда всего этого Саулу Ароновичу показалось мало—онъ оставилъ всѣ свои уроки, и на три мѣсяца уѣхалъ въ Варшаву, гдѣ „интересные документы“ можно было найти въ изобиліи.

— Богъ дастъ, и мнѣ таки удастся внести струю умиротворенія и содѣйствовать наступленію лучшей эры... Вотъ, напримѣръ, они ругаютъ нашъ талмудъ. А знаютъ ли они талмудъ? Какія въ немъ глубокія, замѣчательныя изреченія! И что же таки они скажутъ, когда я докажу, что всѣ до одного поученія Владимира Мономаха совпадаютъ съ повелѣніями талмуда? Это, признаюсь, таки будетъ любопытно! Мало того! Я до-

кажу, что и безнравственные пословицы — тоже схожи у насъ и у нихъ: „Своя рубашка ближе къ тѣлу“, „Стыдъ не дымъ, глаза не выѣсть“, „Каждый за себя, Богъ за всѣхъ“. Пусть они не думаютъ, что это только у нихъ: у насъ это тоже есть... Есть, есть! И въ хорошемъ, и въ дурномъ народы сходны между собою!.. И, значить, къ чему вражда? Къ чему ожесточеніе? Долженъ быть миръ! Должна быть любовь! И я послужу съ своей стороны дѣлу этой любви!

Каждая страница, каждая строка сборника стоила Саулу Ароновичу мучительнаго, чисто каторжнаго труда; а страницъ въ книгѣ предполагалось триста, да къ нимъ предисловіе, да вступленіе, да, можетъ быть, и пояснительное слово „къ снисходительному господину читателю...“ Но всѣ эти трудности автора только радовали.

— „Rien pour rien“! — говорилъ онъ: въ ту пору онъ и говорилъ; и думалъ почти однѣми пословицами. — Пожнешь то, что посеешь, а товаръ всегда бываетъ по цѣнѣ...

Въ работѣ этой прошло около пятнадцати мѣсяцевъ и потомъ, когда сборникъ сталъ близиться къ окончанію, Саулъ Ароновичъ принялся искать издателей.

Но здѣсь случилось нѣчто неслыханное, и даже, можно сказать, совершенно невѣроятное.

Издатели воздавали должное трудолюбію и таланту Саула Ароновича, говорили, что сборникъ его — прекрасное сочиненіе, которое навѣрное искоренить множество печальныхъ недоразумѣній; признавали и то, что разсѣять эти недоразумѣнія слѣдовало бы давнымъ давно, но печатать книгу, за всѣмъ тѣмъ, соглашались не иначе, какъ на его счетъ, и притомъ еще — непременно за наличныя деньги.

— Да гдѣ же я возьму такія деньги? — съ тоской восклицалъ Саулъ Ароновичъ: — вѣдь я бѣднякъ! нищій!

И онъ бросился къ богачамъ-евреямъ.

— Вѣдь эта книга—не моя книга! Вѣдь она общее достояніе народа! Для себя я ничего не требую, ни копѣйки! Пусть даже не печатають кто авторъ, это неважно. Но издать книгу, такую книгу необходимо! Это же очевидно, не можетъ же быть, чтобы этого не поняли!

Этого, однако, не поняли!..

Не поняли, и „Морали въ пословицахъ“ издавать не хотѣли.

Тогда Саулу Ароновичу пришла въ голову блестящая мысль; онъ вспомнилъ о мертвоводскомъ просвѣщенномъ обывателѣ, о господинѣ Цыпоркесѣ...

— Здѣшніе богачи—эгоисты... А господинъ Цыпоркесъ—человѣкъ простой, безхитростный и великодушный. Онъ мнѣ поможетъ! Ему я и посвящу этотъ трудъ, и таки на первой страницѣ большими буквами напечатаю: „издано великодушнымъ иждивеніемъ мертвоводскаго второй гильдіи купца Гермогена Адольфовича господина Цыпоркеса“... О, да! Онъ мнѣ поможетъ!

И Сауль Ароновичъ принялся составлять письмо къ Гермогену Адольфовичу.

Прежде всего онъ воздавалъ обильную хвалу нечеловѣческимъ заслугамъ мертвоводскаго второй гильдіи купца, изумительнымъ свойствамъ его ума и сердца. Затѣмъ рѣчь пошла о прошломъ и будущемъ еврейства. Затѣмъ,—о важномъ значеніи „Сборника“. Затѣмъ, распространившись насчетъ лестныхъ отзывовъ о сборникѣ со стороны „самыхъ выдающихся господъ писателей города Одессы, равно какъ и отъ имени ученыхъ профессоровъ“, Сауль Ароновичъ ясно и съ благородною краткостью изложилъ, чего собственно ему надо отъ господина Цыпоркеса.

„Задачи всеобщаго умиротворенія такъ плодотворно-прекрасны, а интересы еврейства всегда были вамъ такъ дороги, и на-дняхъ еще только прочелъ я въ га-

зетахъ, что вы избраны почетнымъ попечителемъ мѣстной больницы, а потому я увѣренъ "... и т. д., и т. д. •

Увы! Гермогенъ Адольфовичъ обманулъ лучшія ожиданія Саула Ароновича, и на письмо свое Саулъ Ароновичъ не получилъ отвѣта...

Х.

— Что жъ дѣлать? Это таки въ высшей степени плачевно,—вздыхая, говорилъ Саулъ Ароновичъ:— въ этомъ все наше несчастье! Современное еврейство очень опустилось, и грубо-эгоистическіе интересы теперь для него являются доминирующимъ факторомъ. Но что же, однако, отсюда вытекаетъ? Отсюда вытекаетъ то, что работать для его пробужденія надо съ вѣщимъ стараніемъ...

Дни между тѣмъ шли за днями. Вражда къ евреямъ не ослабѣвала. Ихъ били, то въ одномъ мѣстѣ, то въ другомъ, ввели процентное отношеніе въ гимназіяхъ, въ университетахъ, ихъ выселяли изъ селъ и деревень, ограничивали ихъ права во всѣхъ областяхъ, а „Мораль въ пословицахъ“ все оставалась неизданной...

— Господи! да что же я за болванъ!—вскричалъ какъ-то разъ Саулъ Ароновичъ, оскѣненный новой идеей:—да на какого мнѣ чорта всѣ эти богачи? Развѣ я не справлюсь безъ нихъ? Не понимаю, гдѣ была моя голова...

И съ этого дня онъ повелъ свою жизнь совсѣмъ на особый ладъ. Онъ пересталъ топить комнату, пересталъ обѣдать, пересталъ пользоваться конкой.

— Цѣлую комнату мнѣ надо?.. Такой таки я въ самомъ дѣлѣ великій баринъ, что мнѣ надо цѣлую комнату! Таки у моего отца я такую роскошь видѣлъ?..

Онъ нашелъ себѣ уголь, въ подвалѣ, и сталъ жить совсѣмъ по-нищенски: никогда не пользовался конкой,

по двѣ недѣли не мѣнялъ бѣлья, ѣлъ сухой хлѣбъ съ чаемъ,—и то не досыта...

Уроковъ же набралъ столько, что работать приходилось до полного изнеможенія... И всѣ заработанныя деньги онъ относилъ въ сберегательную кассу.

— Издатель?.. На что мнѣ издатель? Я самъ себѣ издатель!—съ побѣднымъ видомъ говорилъ онъ:—зачѣмъ мнѣ кланяться этимъ богачамъ? Независимость—высшее благо на свѣтѣ!

И на душѣ у него было радостно и свѣтло, и онъ весело и съ вѣрой смотрѣлъ будущему въ лицо...

Прошло мѣсяца четыре.

Позвоночникъ у Саула Ароновича еще больше уклонился отъ обычной своей формы, правая лопатка еще выше полѣзла къ темени, и кашель сталъ являться чаще, кашель сухой и короткій... Зато въ сберегательной кассѣ капиталъ Саула Ароновича росъ да росъ.

И вмѣстѣ съ тѣмъ въ воображеніи автора зарождались новые планы. Возникалъ проектъ „Назидательныхъ и правдивыхъ разсказовъ изъ еврейской старины“. Но это еще что! Это въ видѣ роздыха. Это легкое чтеніе, вродѣ романа. Гораздо важнѣе „Толковый Указатель“—капитальный трудъ по еврейской библіографіи... О, да! Это самая необходимая книга, даже болѣе необходимая, чѣмъ „Сборникъ пословицъ“!.. И именно за нее Саулъ Ароновичъ и взялся, отложивъ другія.

Надъ „Толковымъ Указателемъ“ онъ работалъ такъ, какъ не работалъ никогда, ни надъ ключомъ, ни надъ сборникомъ: судорожно, съ жадностью, съ упоеніемъ, съ ожесточеніемъ, забывая себя, забывая весь міръ, не обращая ни малѣйшаго вниманія ни на скривившійся окончательно хребетъ, ни на усилившіеся ночные поты...

И всего черезъ одиннадцать мѣсяцевъ книга была готова.

— Теперь—издавать!—сверкая глазами, восклицалъ Сауль Ароновичъ. — Издавать! Печатать!

Онъ взялъ изъ сберегательной кассы всѣ свои деньги и отправился по типографіямъ.

XI.

— Хорошее питаніе, чистый воздухъ, отдыхъ—все то же!.. И ничего новаго я вамъ не скажу, — говорилъ докторъ:—вотъ весна началась, поѣзжайте куда-нибудь въ деревню, пейте молоко, питайтесь лучше, дышите, грѣйтесь на солнцѣ—вотъ все ваше лѣченіе.

— А крѣпко я боленъ? опасно?—спросилъ Сауль Ароновичъ.

— Опять?.. Ну, что вы все спрашиваете? На что это вамъ? Ну—„крѣпко“, ну—„опасно“... Дѣлайте, что говорятъ, и выздоровѣете. А я вамъ и въ прошломъ году говорилъ, и шесть мѣсяцевъ тому назадъ повторялъ, и теперь долблю: устройтесь въ деревнѣ, устройтесь въ деревнѣ! Вы не слушаетесь и все только спрашиваете.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, господинъ докторъ! Теперь уже я васъ послушаюсь,—съ лукавой и мягкой улыбкой, весь свѣтясь, сказалъ Сауль Ароновичъ:—раньше такъ я таки не могъ, а теперь уже иначе, теперь я поѣду! Вотъ увидите, — поѣду.

-- Отчего мнѣ теперь не поѣхать?—разсуждалъ онъ потомъ:—корректирные листы, слава Богу, уже почти всѣ готовы, денегъ немножечко тоже осталось...—таки-поѣду, таки-поправлюсь немножко. И лучше всего—я поѣду себѣ въ Мертвоводскъ и тамъ, въ деревнѣ, найму у мужика хату и буду жить. Тамъ все дешево, молоко, яйца!.. есть сады...

Черезъ недѣлю онъ уже былъ въ Мертвоводскѣ и, сидя въ заплеванномъ номерѣ „Столичной гостиницы“, говорилъ служителю:

— Принесите мнѣ кипятку и цару яицъ. А паспорта вамъ моего не нужно: я завтра же нанимаю себѣ въ деревнѣ хату. Вы, часомъ, не знаете такого мужика, который сдавалъ бы хату? И чтобъ съ садомъ была?

— Я пошукаю,—отвѣтилъ служитель.

Саулъ Ароновичъ чувствовалъ себя утомленнымъ и прилежъ: „минуточку передохну“.

Кололо его въ груди, жарко было глазамъ, и въ головѣ что-то мутилось и жгло...

Прошло съ полчаса, а чаю своего онъ не пилъ.

— Ужъ лучше я теперь посплю, — рѣшилъ онъ, — а чай выпью послѣ.

Но уснуть онъ не сумѣлъ. Жаръ усиливался, и все звонче становился шумъ въ ушахъ.

— Который изъ Адессы пріѣхавши, чиновникъ этотъ, что ли, такъ онъ что-то нездоровъ, — доложилъ служитель хозяйкѣ гостиницы, брюхатой, огромнаго роста женщинѣ, съ выпученными, рыбьими глазами и славными, золотистаго цвѣта, усами.

Та пошла въ номеръ взглянуть на Саула Ароновича и, увидѣвъ его пылающее лицо, сильно заволновалась.

— На что это мнѣ?.. Не надо мнѣ больного жильца. Онъ можетъ помереть... Иди скорѣе до пристава, нехай его возьмутъ въ больницу...

На утро Саула Ароновича отвезли въ больницу.

Когда его, поддерживая подъ оба локтя, вводили въ палату, одинъ изъ больныхъ, высокій, сѣдобородый старикъ, пристально сталъ въ него вглядываться. Потомъ старикъ вдругъ сильно заволновался, закашлялъ и, уцѣпившись руками за матрацъ, привсталъ.

— Это... это... это вы?—испуганно прохрипѣлъ онъ.

Саулъ Ароновичъ отвѣчалъ тихимъ, долгимъ стономъ.

— Это вы?.. вы сюда пріѣхали?.. Опять пріѣхали?..—сильнѣе волнуясь, хрипѣлъ старикъ.

Саулъ Ароновичъ, попрежнему, тихо стоналъ.

— Вы прѣхали?.. Вы будете открывать классъ?!

И глухой меламедъ—это былъ онъ — залился долгимъ, силнымъ кашлемъ.

Потомъ онъ слабо всплеснулъ руками и повалился на подушку.

Съ обѣихъ коекъ нѣкоторое время раздавались глубокіе, протяжные стоны.

XII.

На другой день Саулу Ароновичу стало нѣсколько лучше, и онъ сѣлъ на кровати.

— Такъ это совсѣмъ правда, что вы не будете открывать здѣсь школы?—въ десятый разъ спрашивалъ его меламедъ.

— Школа!..

Саулъ Ароновичъ снисходительно улыбнулся.

— Конечно, не буду! Я-жъ вамъ говорилъ. Я сюда только затѣмъ прѣхалъ, чтобы поправиться. Чуть поправляюсь — сейчасъ опять за работу... На что мнѣ теперь школа, скажите сами! Теперь уже совсѣмъ не то, что было когда-то.

Тутъ меламеду вспомнились всѣ подробности того, что было „когда-то“, вспомнился доносъ, и ему стало нехорошо.

— Э, что было, то было... Ну! я-таки тогда... я вамъ повредилъ... но—это не я... Ну, что дѣлать... когда семейство... когда дѣти...

— Ай, да все это пустяки! Зачѣмъ вспоминать!.. Да и кромѣ того, вамъ тогда изъ-за меня тоже не мало горя было.

— Когда вы не знаете, что такое нужда, что такое дѣти...

— Да, ей-Богу же, бросьте вы это! Было, не было—

что тутъ вспоминать?.. Хотите, можетъ быть, апельсинъ?

Меламеда не переставая мучила тошнота. Гулкій кашель рвалъ его внутренности, и въ пересохшемъ рту стоялъ отвратительный терпкій вкусъ... На апельсинъ онъ смотрѣлъ съ жадностью, но взять его не рѣшался. Онъ молчалъ и слабо улыбался жалостной, дѣтской улыбкой.

— Возьмите же!

Саулъ Ароновичъ сползъ съ койки и, цѣпляясь за стѣну, понесъ старику апельсинъ.

Потомъ онъ опять съ ногами взобрался на постель, вытащилъ изъ-подъ подушки корректурные листы „Указателя“, разложилъ ихъ на колѣняхъ и, задумавшись, сталъ смотрѣть въ раскрытое окно.

День стоялъ чудесный—теплый, свѣтлый. Широкий больничный дворъ, обнесенный ветхимъ, повалившимся въ темные кусты колючекъ заборикомъ, весь покрытъ былъ молодой травкой и желтыми одуванчиками, и только въ одномъ углу тянулась длинная, раскопанная подъ огородъ, полоса. Лопата была брошена на ея черный бархатъ и, какъ стекло, горѣло на солнцѣ отполированное о землю желѣзо. Нѣсколько старыхъ деревьевъ съ узловатыми, мшистыми стволами стояли въ разныхъ мѣстахъ. У самой стѣны больницы, посылая длинныя, обсыпанныя бѣлымъ цвѣтомъ вѣтви въ растворенное окно, почти лежала разбитая молніей, но еще живая яблоня. Въ голубой лужѣ, подлѣ нея, дѣловито крикая, присѣдала пара жирныхъ, бѣлыхъ утокъ, и куры съ красными, какъ пламя, гребнями ходили по травѣ, издавая то особенное клохтаніе—взволнованное и пѣвучее,—которое можно слышать только весной, въ пору нѣги и любви...

— Все это природа, — подумалъ Саулъ Ароновичъ.—Отчего это я никогда не интересовался природой? Между тѣмъ, она такъ прекрасна. Когда, напри-

мѣрь, наработаться, утомиться и потомъ обратиться къ божественному лону природы, то таки получаешь огромное наслажденіе... неописуемое... Вотъ этотъ, напрімѣрь, воздухъ... куры... травка...

И его вдругъ охватило желаніе выйти на эту травку, лечь на нее, нарвать ее полными пригоршнями и положить къ себѣ за пазуху, на грудь... Но выйти ему нельзя было — да онъ бы и не могъ — и онъ только приподнялся повыше и оперся руками на подоконникъ.

Такъ сидѣлъ онъ въ солнечномъ пятнѣ, молча, неподвижно, съ „Указателемъ“ въ рукахъ, весь въ блѣломъ, весь облитый и обласканный теплымъ сіяніемъ весенняго утра... Съ выраженіемъ наивнаго изумленія, онъ широко, по-дѣтски, раскрылъ глаза и, притаивъ дыханіе, смотрѣлъ въ распахнутое окно, на старый заборикъ, на деревья, на небо...

Двѣ ласточки, съ шумомъ и крикомъ, шарахнулись вдругъ на яблоню, гибкія вѣтви ея сильно качнулись, бѣлые лепестки цвѣта беззвучно заколыхались въ неподвижномъ воздухѣ и тихо осѣли на койкѣ Саула Ароновича и въ его бородѣ. Онъ слегка вздрогнулъ, и ему вдругъ сдѣлалось какъ-то необыкновенно хорошо и тепло. Ему было тепло отъ солнца, которое стояло тамъ, въ далекой глубинѣ небесной лазури, и еще теплѣе отъ другого солнца—отъ большихъ корректурныхъ листовъ, которые все крѣпче сжималъ онъ своей коstitialной рукой... Эти два солнца согрѣвали его, и извнѣ, и изнутри, согрѣвали, нѣжили, ласкали и переполняли его сердце могучимъ, походившимъ на какое-то странное удушье, чувствомъ умиленія и счастья...

Онъ вздрогнулъ опять, голова у него тихо закружилась, слабая улыбка заиграла на губахъ, и въ глазахъ, обращенныхъ къ небу и отражавшихъ небо, заискрились слезы...

XIII.

— Божественная вещь—природа, — обратился онъ, нѣсколько погодя, къ меламеру: — какой сегодня день! Свѣтъ, тепло...

— Да, слава Богу... больше уже не надо будетъ топить.

— Это помимо, а такъ, просто—какъ великолѣпно!.. Травка, воздухъ... Въ большихъ городахъ всего этого вовсе не видишь. Тамъ все мостовая, дома... Природу наблюдать можно только въ маленькомъ городкѣ. Ужасно какъ я люблю природу.

— А... а... вы все-жъ таки не останетесь здѣсь?— съ живостью спросилъ меламеръ, и опять въ глазахъ его появилось безпокойство.

— Здѣсь? Да что же я здѣсь буду дѣлать, скажите сами! Какъ вы этого не понимаете! Что я тутъ буду дѣлать? Дѣтей „буки азъ ба“ обучать? Для этого развѣ я живу на свѣтѣ?

— Но вамъ же надо кушать, — сказалъ старикъ, поворачивая въ рукахъ апельсинъ и любясь имъ.

— Ну, такъ что? Такъ я и буду жить для того, чтобы кушать? Для этого таки и живетъ человѣкъ на свѣтѣ?

Саулъ Ароновичъ проворно повернулся.

— Ну, скажите вы мнѣ, мнѣ таки это чрезвычайно интересно знать, какъ по вашему, — для чего живетъ человѣкъ на свѣтѣ?

Меламеръ отложилъ апельсинъ въ сторону и задумчиво посмотрѣлъ на Саула Ароновича.

— Вотъ тебѣ вовсе новость!.. Когда человѣкъ родился, такъ онъ долженъ жить. А что ему дѣлать? Пока Богъ даетъ дни—надо жить...

— „Надо жить, надо жить“! И разбойникъ живетъ,

который людей рѣжетъ, и Спиноза тоже живетъ... А *какъ* жить? Вотъ что я спрашиваю.

— Какъ жить? Жить, какъ Богъ велѣлъ. Надо жить честно.

Саулъ Ароновичъ махнулъ рукой и нахмурился.

— Ахъ, нѣтъ! Это еще не то! Я спрашиваю—*для чего* надо жить? То есть для чего именно человѣку. дана жизнь?

Онъ оперся рукой о койку, корпусомъ подался впередъ и со строгимъ видомъ уставился на меламеда. Меламедъ уставился на него.

— Я не понимаю, что это такое вы спрашиваете? Человѣку жизнь дана отъ Бога, а для чего—это не наше дѣло. Этого мы знать не можемъ.

— Какъ „не можемъ“! Что такое „не можемъ“!! Нѣтъ, мы можемъ! Мы можемъ, и мы знаемъ!

И вдругъ, придавъ своему голосу особенную торжественность, Саулъ Ароновичъ не сказалъ, а пропѣлъ:

— Человѣку жизнь дана для того, чтобы быть полезнымъ. Человѣку жизнь дана для того, чтобы помогать жить другимъ! Вотъ!

Старикъ посмотрѣлъ на Саула Ароновича, потомъ посмотрѣлъ на апельсинъ и, не сказавъ ни слова, молча сталъ снимать съ него кожу.

— А иначе же,—съ возраставшей горячностью продолжалъ Саулъ Ароновичъ:— а иначе же зачѣмъ вовсе жить? Зачѣмъ человѣкъ? Иначе же человѣкъ бесполезенъ. А когда онъ бесполезенъ, значить, онъ пятое колесо! Значить—хоть сними его; хоть брось въ огонь—все равно! Что, это неправда? Можетъ быть, это неправда?

Онъ смотрѣлъ на меламеда вызывающе, почти сердито. А меламедъ такъ туго набилъ ротъ апельсиномъ, что отрѣзалъ себѣ всякую возможность отвѣта. Онъ только промышчалъ что-то сдавленнымъ голосомъ.

— Что, это лестное положеніе — пятого колеса?

Весьма благородное?.. Вотъ, напимѣрь, теперь—евреевъ бьютъ, преслѣдуютъ, а мы, значить, такъ себѣ, будемъ себѣ жить каждый для себя и безъ всякой общественной пользы?.. Отлично! Чтобъ мы, значить, не имѣли чувства общей солидарности, не имѣли бы своего самосознанія, не отдавали себѣ отчета въ томъ, что мы, и какъ мы, не писали бы полезныхъ сочиненій, ничего! Чтобъ, однимъ словомъ, вездѣ были потемки, шкурный эгоизмъ и только своя утроба? Такъ вовсе?.. Вовсе мы не можемъ знать, для чего намъ дана жизнь? О-о-отличное дѣло! За-амѣчательное дѣло!.. Только мнѣ,—позвольте вамъ сказать,—это отличное дѣло всегда казалось неподходящимъ. И таки оттого я всегда стремился получить соотвѣтственное образованіе, чтобы потомъ учить другихъ... А составлять полезныя книги—это высшая степень учительства.

Меламедъ къ этому времени успѣлъ освободить свой ротъ отъ апельсина и сказалъ:

— Если хорошая книга, такъ она много стоитъ.

— И вы думаете, что когда „Сборникъ“ и „Толковый Указатель“ уже написаны, такъ это уже все, такъ уже ничего не осталось дѣлать? Ну нѣтъ, найдется еще, и еще!.. Я же, слава Богу, не такой старый... вы думаете, сколько мнѣ лѣтъ?.. Мнѣ всего сорокъ четыре года—и я же не калѣка тоже! я еще могу поработать... Конечно, когда я былъ заброшенъ въ эту дыру, въ этотъ Мертвоводскъ, у меня не было ни пособій, ни матеріаловъ... А въ Одессѣ! Въ Одессѣ, слава Богу, все есть, рѣшительно все, что мнѣ надо.

-- Адессъ! Что это — игрушка Адессъ?—почтительно согласился старикъ.

— И теперь у меня есть совершенно оригинальный планъ одного весьма замѣчательнаго и важнаго сочиненія. Оно имѣетъ самый обширный и всезахватывающій интересъ, и главное—оно касается всѣхъ: какъ евреевъ, такъ равно и русскихъ.

И онъ сталъ объяснять планъ этого новаго сочиненія,—но съ такими умолчаніями, и хитрыми упущеніями, что меламедъ, ужъ ни въ какомъ случаѣ, не сумѣлъ бы предвосхитить его идеи...

— Что жъ вы думаете? — задумчиво проговорилъ старикъ:— когда кто-нибудь можетъ дѣлать добро, такъ это таки большое счастье. Это таки благословеніе отъ Бога... Только что, какъ вы теперь больной, то вамъ трудно.

— Э, больной, больной!.. Такъ что съ того, что больной? Сегодня боленъ—завтра здоровъ... А если кто сегодня здоровъ, такъ онъ у Бога квитанцію получилъ, что всегда будетъ здоровъ?.. Нечего къ себѣ прислушиваться!.. Надо себя отложить немножечко въ сторону—вотъ и все.

— А все же таки, вамъ же трудно...

— Трудно? А что, скажите, пожалуйста, легко?! Когда я началъ учиться читать по-русски и, какъ болванъ, въ словарь искалъ „красиваго“—мнѣ было легко? Въ словарь нѣтъ „красиваго“. Въ словарь есть „красный, Красильщикъ, краски“, а „красиваго“ нѣтъ. Я чуть объ стѣну головой отъ горя не бился, а спросить не у кого было—это легко?.. Потомъ, конечно, я уже узналъ, что читать надо, вовсе не красиваго, а красиваго, и что искать въ словарь надо „красивый“. И это все, позвольте вамъ сказать, вовсе не легко... А съ женой развестись легко!.. Меня женили, когда мнѣ было шестнадцать лѣтъ, и хотѣли, чтобъ я былъ рѣзникомъ. А я убѣждалъ въ Житомирѣ учиться, и женѣ таки послалъ разводъ. Я жену любилъ, и уже имѣлъ отъ нея ребенка... Такъ вы полагаете, разводиться мнѣ легко было?.. Отнюдь нѣтъ! Трудно, даже очень трудно... Только нечего на это смотрѣть!.. „Трудно, мнѣ трудно“... А другому еще труднѣе... Нечего себя выдвигать впередъ! Надо себя отклонить немножечко въ сторону, такъ и не будетъ никакого трудно...

Бесѣда, прерываясь столами, кашлемъ и кряхтѣніемъ, тянулась довольно долго.

Потомъ въ больницѣ поднялась суматоха: пріѣхалъ почетный попечитель—господинъ Цыпоркесь.

Гермогенъ Адольфовичъ за эти годы разросся до размѣровъ молодого буйвола, отростилъ восхитительныя баки, сталъ носить бѣлые жилеты,—вообще, видъ принялъ необыкновенно джентльменскій. Потомъ, однако же, разило отъ него еще сильнѣе, чѣмъ въ прежнія времена.

— Ого! ви вовсе издѣсь! — воскликнулъ онъ, увидѣвъ Саула Ароновича:—а ви же, кажется, въ Адессѣ что-то въ очень высокія окны попали? Пасатель стали! Что-то ви мене просили тогда, голова дурили, какія-то присловици чи што?

— „Сборникъ пословицъ“, — торжественно сказалъ Саулъ Ароновичъ. — Кромѣ того, я еще „Указатель“ составилъ.

— Совсѣмъ „Аказатель“ уже? Какой „Аказатель“?

— Вотъ, посмотрите.

Саулъ Ароновичъ протянулъ ему оттискъ.

„Толковый, справочно-библіографическій и статистическій указатель еврейскихъ и касающихся еврейства книгъ за послѣднее десятилѣтіе, съ приложеніемъ объяснительныхъ характеристикъ наиглавнѣйшихъ изъ нихъ“,—прочелъ господинъ Цыпоркесь.

И почтительное изумленіе изобразилось на его толстомъ лицѣ.

Онъ перевернулъ листы, посмотрѣлъ на нихъ съ другой стороны, пощупалъ бумагу, перевернулъ опять...

— Это ви написали эта книга?

— А то кто же? Читайте дальше.

Саулъ Ароновичъ всталъ. На немъ была полотняная рубаха, слишкомъ просторная, съ длинными рукавами и разрѣзомъ до середины живота, коротенькіе подштанники, и чулки, сшитые изъ полотна. Онъ вста-

вилъ ноги въ огромные башмаки безъ задковъ, набро-
зилъ на плечи полосатый халатъ и съ счастливой, до-
зѣрчивой улыбкой, ласково смотрѣлъ господину Цы-
поркесу прямо въ глаза.

„Составилъ преподаватель казеннаго еврейскаго учи-
тища Саулъ Ароновичъ Перець“,—дочиталъ Цыпор-
кесъ.

И выраженіе лица его сразу измѣнилось.

— Пхе! Важное дѣло! — онъ бросилъ оттискъ на
койку.—Слыхали ви сторію...—пасатель! А штани, го-
сподинъ пасатель,—ежели васъ спросить по совѣсти,—
у васъ есть?

Саулъ Ароновичъ не понялъ вопроса, и съ удивле-
ніемъ смотрѣлъ на Цыпоркеса.

— Прежде всего, братишка мой, надо имѣть шта-
новъ.—Цыпоркесъ потрепалъ Саула Ароновича по
плечу,—а когда штаны уже имѣешь, такъ тогда уже
можно себѣ быть и пасатель.

И, сопровождаемый пріятно хихикавшимъ фельд-
шеромъ и служителями, онъ направился къ дверямъ.

Саулъ Ароновичъ вдругъ замигалъ глазами, покач-
нулся и грузно опустился на койку.

— Ввввв...—началъ было онъ, но въ груди его
встала какая-то перегородка, и дыханіе сперло. Онъ
вцѣпился пальцами въ одѣяло и крѣпко сжалъ его.
Глаза его раскрылись широко и налились влагой.

— То есть насчетъ пасатели ми уже немножечко
видалъ, — громко объяснять въ сѣняхъ своей свитѣ
господинъ Цыпоркесъ:—ми уже хорошо знаемъ, какой
это товаръ. Эти пасатели, такъ они, какъ собаки, де-
сятъ за одинъ...

— Саулъ Ароновичъ!—закричалъ вдругъ меламедъ:—
не обращайтесь вниманія!.. Не слушайте!.. Онъ же хамъ!..
Онъ же скотъ! Развѣ онъ понимаетъ, что такое книга!..
Мурло такое, мазена! Кровь пить, людей мучить — это

его дѣло... Не смотрите на него, даже въ его сторону не смотрите, Саулъ Ароновичъ, я васъ прошу!..

Зубы у Саула Ароновича разжались, и онъ тихо, съ какой-то странной икотой, пробормоталъ:

— Онъ всегда меня унижалъ... Онъ всегда надо мною низко глумился.

— Такъ же онъ иначе не можетъ!.. Это-жъ такой подлый характеръ! Не обращайтесь на него вниманія, я васъ прошу! я васъ очень прошу!.. Что онъ передъ вами? Хамъ, мурло. Только что у него деньги есть, но онъ же грубіянь. Что это, — господинъ Тейтельбаумъ? Докторъ Лившицъ? Образованный, порядочный человекъ?.. Хамъ, кровопійца! Чтѣ онъ говорить, чтѣ собака брешетъ—все равно.

Не подымая ногъ отъ пола, старикъ добрался кое-какъ до Саула Ароновича, укрылъ его, прибралъ на его столикъ, сѣлъ къ нему на койку и съ удвоеннымъ жаромъ продолжалъ свои увѣщанія.

Онъ былъ такъ краснорѣчивъ, аргументы употреблялъ такіе неотразимые, что Саулъ Ароновичъ мало-по-малу сталъ остывать и успокаиваться.

— Что жъ, — задумчиво сказалъ онъ: — вы таки правы, отъ господина Цыпоркеса таки нельзя иного требовать.

— Чи я правъ? Ну, конечно! Это же грубіянь, это же неучъ. Такую же свинью вовсе трудно найти...

Успокоился Саулъ Ароновичъ, успокоился и старикъ, и поползъ обратно къ себѣ. Дыханіе у него сдѣлалось частое и прерывистое, и въ боку колоть стало нестерпимо: пламенные рѣчи не произносятся безнаказанно...

XIV.

Когда совсѣмъ уже стемнѣло, пришелъ служитель и зажегъ спускавшуюся съ середины потолка лампу.

Потомъ онъ сталъ поправлять постель сосѣду Саула Ароновича, — однорукому, недавно оперированному мальчику. Служитель былъ не въ духѣ, и не переставалъ ворчать и ругаться. Онъ дразнилъ мальчика и злобно тормошилъ его, толкая то на одинъ, то на другой конецъ койки. Покончивъ съ постелью, онъ собралъ со столиковъ пустыя склянки, кого-то, мимоходомъ, похвалилъ за „справность“, Саула Ароновича спросилъ, почемъ въ ночлежныхъ домахъ берутъ съ писателей, и ушелъ.

Стихло. Въ палатѣ было холодно, и стояла удушливая вонь — смѣсь запаховъ іодоформа, ретирода и горькаго дыма, который безпрестанно выбивался изъ змѣевидныхъ, кизякомъ обмазанныхъ трещинъ печки, и мутнымъ облакомъ, медленно, ползъ надъ кроватями. Не говорилъ никто. Только сдавленное оханіе, да унылые обрывки вечерней молитвы слышались то изъ одного угла, то изъ другого, а въ чернѣвшія стекла, перелетая черезъ широкій больничный дворъ, съ гулкимъ звономъ ударялись, время отъ времени, взрывы трескучаго, дикаго хохота и гнусавыя завыванія сумасшедшаго столяра, котораго временно, впредь до отправления въ психиатрическую больницу, въ Херсонъ, помѣстили въ свободной пока мертвецкой...

Саулъ Ароновичъ, до самаго подбородка накрытый желтымъ войлочнымъ одѣяломъ, долго лежалъ, не двигаясь, задумчивый и сосредоточенный. Потомъ онъ поднялся на локтѣ и, обратившись къ меламеру, спросилъ:

— Вы не спите?

Тотъ сперва засопѣлъ, заохалъ, потомъ отвѣтилъ:

— Сплю? Ну-ну! Хорошо сплю!.. Я уже три недѣли не сплю.

— Знаете, о чемъ я теперь думаю?

— Ну?

— Господинъ Цыпоркесь, напимѣрь, такъ вѣдь

онъ навѣрное считаетъ, что онъ счастливый человекъ...—вѣтъ?

— Болячки ему не достаютъ.

— И спросите-ка его, такъ онъ же навѣрно со мною помѣняться не захочетъ. А?.. Какъ вы думаете?

— Конечно.

Хитрая улыбка появилась на лицѣ Саула Ароновича.

— Вотъ болванъ!

Онъ легъ опять и задумался.

Сумасшедшій столяръ въ мертвецкой завылъ протяжнымъ, однообразнымъ воемъ, потомъ вдругъ свирѣпо гаркнулъ и залился долгимъ, мучительно-горькимъ рыданьемъ.

— Мама, ой, мама!—въ ужасѣ застоналъ безрукій мальчикъ, и тихо захныкалъ.

— Не бойся, мальчикъ, это ничего, не бойся. Это больной человекъ,—успокоилъ его Саулъ Ароновичъ.

И, высунувшись изъ-подъ одеяла, онъ снова повернулся къ меламеру:

— Я-жъ вамъ скажу, что такое этотъ Цыпоркесъ; это называется: прискорбная аномалія въ природѣ нравственной сферы человека; вотъ что это!

Онъ легъ опять, и по лицу его, горѣвшему лихорадкой, улыбка расплылась еще шире.

XV.

Утромъ у Саула Ароновича пошла горломъ кровь, и онъ лежалъ синій, холодный, съ закрытыми глазами, когда пришло изъ Одессы, отъ типографа, письмо съ просьбой присылать скорѣй корректуру.

— А, ну я завтра, завтра,—слабо улыбаясь забормочалъ онъ.

Но къ вечеру кровь показалась у него опять, и онъ впалъ въ безпамятство.

Черезъ два дня сумасшедшаго столяра изъ мертвецкой пришлось переселить на погребницу: мертвецкая понадобилась для Саула Ароновича.

Авторъ „Толковаго, справочно-библіографическаго указателя“ лежалъ на цинковой доскѣ, и служитель, налаживая саванъ, негодовалъ на искривленность его позвоночника, затруднявшую работу.

— И откуда кто сорвется,—а ты тутъ хлопочи, ей-Богу! Вотъ теперь господинъ писатель на мою голову. Вишь какой господинъ писатель! Самъ, какъ дуля, а горбъ... ну-ну!

Онъ потянулся, зѣвнулъ, крѣпче затянулъ ремешокъ на штанахъ, примѣрилъ холстъ и опять взялся за работу.

Онъ ворочалъ то сюда, то туда маленькое, изсохшее, съ огромными ступнями тѣло, а на окостенѣвшемъ лицѣ Саула Ароновича играло подобіе мирной улыбки, и она точно говорила:

„Ну что-жъ, не надо къ себѣ прислушиваться! Таки надо себя немножечко въ сторону, такъ и будетъ все хорошо“...

Когда, къ вечеру, выносили тѣло,—за узкими, черными носилками шель только одинъ человѣкъ: жена глухого меламеда, Хана.

— Ты пойди, проводи, на самое кладбище проводи,—волнуясь, приказывалъ ей мужъ, и крупная мутная слеза выкатилась изъ его желтыхъ глазъ.—Ты не знаешь, Ханеню, что это былъ за человѣкъ! Золотой человѣкъ... Вотъ, возьми, спрячь эти листы, это его книга. Это знаменитое сочиненіе. Когда, Богъ дастъ, я выпишусь, я тебѣ объясню, что это за сочиненіе.

Но знаменитое сочиненіе Саула Ароновича для Ханы навсегда осталось необъясненнымъ: она, черезъ двѣ недѣли, опять шла за тѣми же черными носилками, и лежалъ на нихъ ея мужъ, глухой меламедъ.

Его похоронили неподалеку отъ Саула Ароновича, почти рядомъ.

И теперь, когда, въ годовщину разрушенія Соломонова храма, Хана съ дочерьми и калѣкой Іойной приходитъ на кладбище,—Іойна молится, а женщины припадаютъ къ землѣ и плачутъ, и прежде, чѣмъ вернуться домой, Хана обыкновенно подходитъ и къ могилѣ Саула Ароновича и говорить:

— Господи, прими его въ свой свѣтлый рай! Господи, прости мнѣ то, что я сдѣлала этому человѣку.

ИСКУПЛЕНИЕ.

ЛЕГЕНДА.

I.

Въ черные дни тираніи герцога Варнавы Висконти огромная шестигранная башня, одиноко стоявшая на угрюмомъ обрывѣ прирѣчной скалы, порождала въ сердцахъ трепетаніе ужаса.

Здѣсь, въ этой башнѣ, производились пытки. Отсюда, съ высоты двухсотъ метровъ, людей, уже наполовину истерзанныхъ, сбрасывали въ воду. И отсюда же начинался тѣсный ходъ въ тѣ подводныя могилы, которыя, въ часъ дикаго неистовства фантазіи, придумалъ, на утѣху своему повелителю, герцогскій любимецъ—Туліо Гаэтанъ.

Гаэтанъ былъ высокій, костистый, нѣсколько сгорбленный старикъ, съ длиннымъ и кривымъ носомъ, съ узкими скулами и жидкой бородкой, отдѣльными клочками торчавшей на тяжелой и сильно выдавшейся впередъ челюсти. У него былъ одинъ только глазъ, а уши, такъ же какъ и брови, отсутствовали совсѣмъ: вмѣстѣ съ глазомъ они выѣдены были волдырями черной оспы...

Ужасная болѣзнь эта, не разъ посѣщавшая герцогство, въ одну недѣлю унесла у Гаэтана жену и четве-

рыхъ дѣтей. Злымъ чудомъ самъ Гаэтанъ, тоже заболѣвшій, остался жить—полуразрушенный и обезображенный...

Изъ всей семьи у него оставался теперь только одинъ ребенокъ, десятилѣтній Эммануэль. И всю любовь, которую Гаэтанъ питалъ раньше къ женѣ и дѣтямъ, онъ сосредоточилъ теперь на этомъ мальчикѣ. Онъ любилъ его беззавѣтно, безмѣрно, и, можетъ быть, никто во всей странѣ не зналъ такого сильнаго и глубокаго чувства, какое жило въ сердцѣ стараго урода.

По ночамъ, когда мальчикъ спалъ, онъ зажигалъ свѣтильню, подходилъ къ кроваткѣ, останавливался и долго глядѣлъ на него своимъ единственнымъ глазомъ.

Кроткая улыбка появлялась на губахъ старика, какія-то особенныя складки ложились у глазъ и у носа, и лицо это—ужасное, отвратительное лицо—свѣтлѣло, приобрѣтало выраженіе необычайное, дѣлалось почти пріятнымъ, почти красивымъ...

— Если бы нужно было по десяти разъ въ день умирать для тебя, я бы дѣлалъ это съ радостью!—шепталъ старикъ.

Онъ уходилъ въ сосѣднюю комнату, становился передъ мраморнымъ изваяніемъ св. Дѣвы на колѣни, и молился, долго и горячо, за счастье ребенка...

А потомъ вставалъ, забиралъ свои тяжелые ключи и, гремя ими, отправлялся въ башню, на расправу...

II.

Герцогъ Варнава, по природѣ своей, не былъ жестокимъ человѣкомъ. Но его сдѣлали такимъ его приближенные.

Они каждый день доносили ему о заговорахъ, объ измѣнахъ, о покушеніяхъ. Они подстраивали покуше-

нія. Они возбуждали слабого, ничтожнаго правителя, запугивали, обманывали его, лгали ему,—и имъ управляли.

И въ то время, какъ народъ, отъ непрерывныхъ лишеній, вымиралъ,—въ многочисленныхъ базиликахъ служили ежедневныя благодарственныя мессы, и воздавалась Богу хвала за то, что странѣ дарованъ такой мудрый, такой любящій правитель.

Устраивались торжественныя процессіи; монахи разныхъ орденовъ въ черныхъ и бѣлыхъ власяницахъ выносили на площадь изображеніе св. Варнавы; народъ, въ смертельномъ страхѣ и съ ненавистью въ душѣ, преклонялъ колѣни; надъ головами людей тихо плавали голубые клубы кадильнаго дыма; раздавалось звучное пѣніе „Kyrie éléison“, ^{х)} и могучій органъ придворной базилики сливалъ свои величавые аккорды со словами вынужденной молитвы и съ гулкимъ звономъ безчисленныхъ колоколовъ...

А когда месса подходила къ концу,—въ замкѣ начиналась оргія.

Дѣтей-пѣвчихъ вводили въ пиршественный чертогъ, и сцены разврата принимали самыя гнусныя, самыя чудовищныя формы...

И въ эти именно минуты къ обезсиленному, полуживому, утратившему человѣческое подобіе герцогу являлся Гаэтанъ, — съ докладомъ о совершенныхъ дѣлахъ.

III.

Должность Гаэтана заключалась въ организаціи охраны герцогской особы. Но онъ имѣлъ большое вліяніе на всѣ дѣла страны.

Варнава къ своему охранителю питалъ большое довѣріе и считалъ его человѣкомъ незамѣнимымъ.

х) „Тоскани Полициѣ“

Онъ былъ убѣжденъ,—и часто выражалъ это вслухъ,— что безъ Гаэтана трудно было бы справиться съ заговорщиками, покушающимися на своего государя. А Гаэтанъ поддерживалъ въ немъ это убѣжденіе,—поддерживалъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что постоянно открывалъ новые козни и заговоры, и безпрестанно ловилъ новыхъ бунтовщиковъ.

И кого онъ ловилъ, того немедленно отправлялъ въ шестигранную башню и подвергалъ жестокимъ пыткамъ.

Герцогъ при пыткахъ не присутствовалъ никогда. Видѣть, какъ живое тѣло жгутъ огнемъ, слышать человѣческіе стоны и вопли, было ему не по силамъ. Но доклады объ этихъ вопляхъ онъ слушалъ съ напряженнымъ любопытствомъ. И Гаэтанъ, изощрившійся въ подобнаго рода разсказахъ, не разъ вызывалъ ими въ герцогѣ чувство жуткаго злорадства.

Старый палачъ употреблялъ всю силу своей изобрѣтательности на то, чтобы постоянно разнообразить орудія пытки, и чтобы муки своихъ жертвъ сдѣлать какъ можно болѣе ужасными.

По его чертежамъ былъ сооруженъ особаго рода станокъ, отрывавшій одинъ за другимъ суставы пальцевъ. Была привезена, по его требованію, изъ аравійскихъ долинъ трава, отъ растиранія которой тѣло раздувало, какъ бочку, и покрывало смердящими нарывами. Была устроена металлическая кираса съ подобіемъ часового механизма, медленно сжимавшая грудную клѣтку...

И, придумывая все новые способы пытки, Гаэтанъ заботился, главнымъ образомъ, о томъ, чтобы продлить мученія осужденныхъ.

Именно поэтому онъ устроилъ такъ называемый „карантинъ“—замучиваніе человѣка ровно въ сорокъ дней.

Строгое расписаніе опредѣляло, въ какой день, какому истязанію подвергать осужденнаго.

Сначала сѣкли розгами и давали сорокъ восемь часовъ передышки. Потомъ сдирали со ступней кожу и гоняли по усыпанной горохомъ галлерей. Въ продолженіе шести дней жертву морили затѣмъ голодомъ и жаждой, предлагая вмѣсто пищи уксусъ, известь и смолу.

Подкрѣпивъ, по истеченіи этого времени, несчастнаго мясомъ и винами, оскопляли его; послѣ новаго промежутка, подлѣчивъ рану, вырывали языкъ, переламывали голени, выкалывали глаза.

И, наконецъ, на сороковой день четвертовали...

Но и этого всего Гаэтану казалось мало.

Дьявольской душѣ его нужно было, чтобы мученія людей не имѣли конца. И тогда онъ выстроилъ ту страшную, небывалую тюрьму, одни слухи о которой наполняли сердца людей мертвеннымъ ужасомъ и—заставляли молить о завоеваніи родной страны чужеземцами, какъ объ избавленіи, какъ о высшемъ благѣ...

Никто не былъ гарантированъ, никто не могъ быть спокоенъ, никто не зналъ, чѣмъ окончится день.

Мирныхъ жителей схватывали, заковывали и уводили въ шестигранную башню. Тамъ ихъ раздѣвали до нага и трое сутокъ держали, погруженными до подбородка, въ водѣ.

Послѣ этого живыхъ людей заворачивали въ саванъ, укладывали въ гробъ и уносили въ базилику.

Высшее духовенство служило заупокойную мессу, и гробъ спускали въ подземелье. Здѣсь, подъ самымъ дномъ рѣки, вырытъ былъ рядъ могилъ, и въ нихъ всовывали гробы.

Могилы имѣли три метра въ длину и два въ ширину. Высота же ихъ была вдвое меньше человѣческаго роста. Брошенный сюда человѣкъ могъ выйти изъ гроба, могъ садиться, могъ и ходить, но стать и выпрямиться не могъ никогда.

Онъ долженъ былъ оставаться либо въ горизонтальномъ положеніи, какъ червь, либо согнутымъ вдвое.

Пища въ могилы спускалась посредствомъ особаго приспособленія, въ ящикахъ, и заключенные никогда никого не видали, никогда ничего не слыхали.

Они вступали здѣсь въ вѣчную тьму и вѣчное молчаніе.

Они здѣсь заболѣвали и умирали, и никто объ этомъ не зналъ.

Если ящикъ для пищи наверхъ подымался пустой—это означало, что заключенный живъ. Если же въ теченіе тринадцати дней ѣда возвращалась нетронутой—это служило признакомъ, что заключенный скончался.

Гаэтанъ спускался тогда въ могилу, обвязывалъ трупъ веревкой и извлекалъ его вонъ.

Мѣсто же умершаго занимала другая жертва.

IV.

Отъ этой новой выдумки своего любимца герцога Варнава былъ въ особенномъ восторгѣ.

— Пусть поползаютъ, пусть! — со смѣхомъ говорилъ онъ.

И знаки вниманія и довѣрія сыпались на Гаэтана щедрѣе прежняго.

Но вотъ пришло какъ-то герцогу въ голову осмотрѣть эти могилы. И вмѣстѣ съ Гаэтаномъ и двумя другими приближенными, въ специально устроенной корзинѣ, спустился онъ въ подземелье.

— Сейчасъ мы ихъ посмотримъ, твоихъ соловьевъ,—шутилъ герцогъ.—Хорошо, должно быть, поютъ...

— Смѣю надѣяться, что ваша свѣтлость будете удовлетворены,—отвѣтилъ Гаэтанъ, гремя ключами.

Входъ въ ближайшую могилу былъ открытъ, и потокъ лучей, вырвавшись изъ фонаря, внезапно залилъ ея безмолвную глубину.

Герцогъ, стоявшій позади Гаэтана, у входа, замеръ и оцѣпенѣлъ...

Что-то похожее на человѣческое существо, на женщину, скорчившись, сидѣло въ гробу. Нельзя было понять, старуха это или подростокъ. Лицо было маленькое, ссохшееся; морщины, какихъ никогда никто еще не видѣлъ, бороздили его по всѣмъ направленіямъ. Сѣрые волосы длинными космами скатывались на обнаженные плечи и грудь. Глаза были огромные, неподвижные и тусклые...

Правой рукой женщина держалась за босую ступню, лѣвую вложила въ ротъ и грызла. Широкая струя темной крови скатывалась внизъ, къ локтю, и частыми каплями падала на землю...

Появленіе людей, появленіе свѣта не произвело на заключенную никакого впечатлѣнія.

Она продолжала сидѣть, безмолвная и неподвижная, и продолжала смотрѣть впередъ себя...

А герцогъ стоялъ у входа,—тоже безмолвный, тоже неподвижный...

— Соловей номеръ первый,—доложилъ Гаэтанъ, поднимая надъ головой фонарь и отстраняясь, чтобы пропустить впередъ посѣтителей.

Но Варнава, выйдя изъ оцѣпенѣнія, знакомъ показалъ, что желаетъ удалиться.

И когда черезъ нѣсколько минутъ корзина была вытащена изъ подземелья, и герцогъ сталъ на землю,—весь дрожащій и блѣдный, онъ обернулся къ Гаэтану и съ размаха ударилъ его по лицу...

На слѣдующій, однако, день онъ призвалъ старика и собственными руками подаль ему желѣзный, съ золотой рукояткой, мечъ — высшую въ герцогствѣ награду...

V.

Маленькій Эммануэль росъ одиноко.

Придворная челядь и высшіе сановники, изъ страха передъ могуществомъ Гаэтана, заискивали въ мальчикѣ, льстили ему, восхищались его красотой. Но Эммануэль ко всѣмъ выраженіямъ вниманія относился съ какой-то сумрачной дикостью.

У него и вообще видъ былъ дикій и не по-дѣтски суровый. Онъ былъ медлителенъ въ движеніяхъ, не-людимъ, неразговорчивъ, и во взглядѣ его, какъ и въ голосѣ, было что-то тяжелое, холодное, что-то за-таенное.

Улыбающимся его видѣли немногіе, а смѣхъ его не былъ знакомъ никому.

Онъ любилъ безмолвіе одиночества и часто, когда Гаэтанъ уходилъ къ герцогу, забирался въ какую-нибудь отдаленную галлерею, садился у подножія колонны, склонялъ къ ней голову и какъ бы цѣпенѣлъ.

Проходилъ часъ, два часа, а мѣста своего онъ не оставлялъ. Обвѣянный сумракомъ и тишиной, онъ вперялъ глаза въ трепещущую мглу таинственныхъ сводовъ, и выраженіе у него дѣлалось странное,—тревожное и злое. Его губы скашивались, сжимались, лицо блѣднѣло,—блѣднѣло все сильнѣй и, наконецъ, дѣлалось бѣлымъ,—такимъ же бѣлымъ, какъ мраморъ колоннъ.

— Звѣренышты!—думали придворные, случайно заходившіе въ галлерею.—Будетъ отцу помощникомъ...

И во всей странѣ мальчика называли не иначе, какъ звѣренышемъ, и говорили о немъ съ ненавистью и отвращеніемъ.

VI.

Эммануэль обнаруживалъ большія способности къ рисованію.

Когда ему пошелъ тринадцатый годъ, изъ Флоренціи былъ вызванъ для него учитель—знаменитый въ то время художникъ Андреа Орканья. Около трехъ лѣтъ работалъ мальчикъ подъ его руководствомъ и сдѣлалъ за это время такіе успѣхи, что продолжать ученіе дома оказалось уже невозможнымъ.

Надо было ѣхать во Флоренцію и въ Римъ, тамъ изучить сокровищницы искусства и присмотрѣться, какъ работаютъ великіе мастера.

Этого требовалъ Орканья. Но Гаэтану мысль о разлукѣ съ сыномъ была такъ страшна, что славнаго флорентинца онъ не хотѣлъ и слушать. И отъѣздъ Эммануэля, навѣрно, никогда бы не состоялся, если бы въ дѣло не вмѣшался герцогъ.

Барнава, считавшій себя большимъ покровителемъ искусства, и отмѣчавшій въ Эммануэлѣ рѣдкое дарованіе, приказалъ Гаэтану отпустить сына, и для путешествія мальчика предоставилъ собственную карету и восьмерку лучшихъ лошадей.

Гаэтану оставалось подчиниться и принять эту новую, безпримѣрную милость повелителя.

— Отецъ, поѣдемъ со мной, — просилъ Эммануэль предъ разставаньемъ.

— Нельзя, дитя! Мнѣ нельзя оставить Миланъ.

— Оставь его, отецъ... Ты уже старъ... Оставь свои... дѣла и живи со мной.

Но старый Гаэтанъ только улыбался дѣтской наивности сына.

И Эммануэль уѣхалъ одинъ.

Два года и семь мѣсяцевъ продолжалось его отсутствіе.

И когда онъ, наконецъ, вернулся домой, онъ привезъ множество картинъ и этюдовъ, свидѣтельствовавшихъ объ изумительномъ, необыкновенномъ и вполнѣ уже сформировавшемся талантѣ.

Весь дворъ, вся знать преклонилась предъ молодымъ художникомъ,—и счастью, и гордости Гаэтана не было конца.

Что же касается до самого Эммануэля, то трудно было понять, какъ относится онъ къ своей славѣ.

Теперь онъ былъ еще молчаливѣе, чѣмъ въ дѣтствѣ. На лицѣ его лежала какая-то каменная неподвижность, а глаза смотрѣли съ неизмѣнной, холодной суровостью.

Онъ часто выходилъ за городъ, къ шестигранной надрѣчной башнѣ и, казалось, прислушивался...

Полное безмолвіе царило вокругъ.

Ни малѣйшаго звука не вылетало изъ узкихъ оконъ, и желтыя воды рѣки тоже лежали безмолвно, какъ трупъ.

Но Эммануэль слушалъ напряженно, подолгу, принималъ и къ землѣ, и къ башеннымъ стѣнамъ. И минутами казалось, что ухо его что-то улавливаетъ...

Судорожное трепетаніе пробѣгало тогда по его губамъ и въ глазахъ, и лицо рѣзко искажалось, — не то дикой улыбкой, не то холодомъ ужаса...

И самъ Гаэтанъ не понималъ своего сына и, случалось, испытывалъ какое-то глубоко-болѣзненное чувство, даже страхъ, когда внезапно встрѣчалъ его тяжелый, почти безумный взглядъ...

Въ народѣ же, до крайней степени напуганномъ и измученномъ, объ этомъ взглядѣ складывались странныя легенды.

Говорили, что когда Эммануэль уставится на дерево, то листья чернѣютъ и опадаютъ; дѣти же подъ этимъ взоромъ нѣмѣютъ навсегда...

Съ тоской отчаянія добавляли, что это выросъ пре-

емникъ отцу,—и къ молитвѣ о собственномъ спасеніи и объ истребленіи стараго мучителя присоединяли всегда и мольбу о гибели сына...

VII.

Однажды,—это было вскорѣ послѣ возвращенія Эммануэля изъ Флоренціи,—Гаэтанъ, радостно сіяя, явился къ сыну съ извѣстіемъ, что герцогъ желаетъ имѣть свой портретъ, и исполненіе этой работы поручается молодому художнику.

Полотно должно изображать апоѳеозъ Варнавы и должно быть огромныхъ размѣровъ.

Принцъ, въ порфирѣ и съ короной на головѣ, возсѣдаетъ на тронѣ. Вокругъ него, въ парадныхъ одѣяніяхъ, стоятъ приближенные. За ними — придворныя дамы и многочисленные вельможи.

Когда Эммануэль услышалъ эту вѣсть, онъ вдругъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ. Въ мрачныхъ глазахъ его вспыхнули искры, щеки залились краской, и на губахъ заиграла побѣдная улыбка.

— Ага, ты доволенъ? — съ гордой усмѣшкой спросилъ Гаэтанъ.

Но Эммануэль, какъ будто, и не слышалъ его.

Онъ выпрямился и, уставивъ широко раскрытые глаза вдаль, тихо бормоталъ:

— Тронный залъ... Герцогъ въ коронѣ... вокругъ него приближенные... весь дворъ... Да, именно это и нужно...

— Высокая честь — писать герцога — до сихъ поръ предоставлена была только двумъ художникамъ: твоему учителю Орканья, да знаменитому Антоніо Сарту.

— Я создамъ великое произведеніе,—въ глубокомъ волненіи говорилъ Эммануэль:—великое... И оно будетъ жить...

— А изображать его свѣтлость въ такой торжественной обстановкѣ, въ какой изобразишь его ты, не дано было еще никому!

— Герцогъ на тронѣ... и весь дворъ вокругъ него... всѣ приближенные... — закрывъ глаза, шепталъ Эммануэль.—И потомъ... когда картина будетъ окончена... и послѣдній мазокъ будетъ сдѣланъ... О! какъ это будетъ прекрасно!..

Гаэтанъ прошелся по комнатѣ... Потомъ остановился передъ сыномъ и подбоченился.

— Хорошо, другъ мой, имѣть блестящее дарованіе,—самодовольно улыбаясь, началъ онъ: — но не дурно также имѣть меня отцомъ...

Эммануэль не отвѣчалъ,

— Такъ, значить, ты доволенъ? — не переставая усмѣхаться, спросилъ опять Гаэтанъ.

Тонкія ноздри Эммануэля тихо затрепетали.

— О, отецъ, — вырвалось у него; — я счастливъ, я глубоко счастливъ!..

VIII.

Черезъ два дня картина была начата.

Эммануэлю никогда еще не приходилось работать надъ такой большой и сложной композиціей, и онъ писалъ теперь съ небывалымъ, почти болѣзненнымъ увлеченіемъ.

Ему позировалъ герцогъ. А когда герцогъ уходилъ, Эммануэль писалъ придворныхъ. Когда уходили придворные, онъ по манекенамъ отдѣлывалъ костюмы или прокладывалъ фонъ. И только когда наступали сумерки, онъ прерывалъ работу.

Но и тогда онъ не разставался съ картиной. Онъ зажигалъ свѣтильники, становился передъ полотномъ и смотрѣлъ на него.

— О, моя лебединая пѣснь!—тихо, съ выраженіемъ мучительной скорби, шепталъ онъ:—Я вложу въ тебя все мое умѣнье, всю мою любовь къ искусству...

По ночамъ Эммануэль видѣлъ свою работу во снѣ, а рано утромъ снова стоялъ передъ мольбертомъ и писалъ.

И онъ создавалъ нѣчто удивительное, нѣчто высоко-прекрасное. Онъ сравнился съ лучшими мастерами Флоренціи и Рима.

Фигура герцога выступила на полотнѣ съ такою жизненностью, какую не всегда имѣетъ и самая жизнь. Толпа придворныхъ, располагавшаяся позади трона и по бокамъ его, была написана изумительно. Шелкъ и бархатъ, драгоценные камни, золото и перламутръ, мѣха и слоновая кость — все это, залитое ослѣпительнымъ блескомъ солнечнаго утра, передано было съ такой необычайной виртуозностью, съ такой неподобной яркостью и силой, что среди придворныхъ не разъ подымался гулъ восхищенія, а герцога, послѣ каждого сеанса, сойдя съ трона, становился за спиной художника и съ выраженіемъ глубокаго изумленія слѣдилъ за движеніями его кисти...

IX.

Черезъ двѣнадцать недѣль картина была окончена.

И герцогъ, призвавъ къ себѣ Гаэтана, вмѣстѣ съ нимъ отправился въ мастерскую поздравить художника.

— Я понимаю теперь, — любуюсь картиной и мило-стиво улыбаясь, промолвилъ онъ:—я понимаю, что великій правитель могъ нагнуться и подать артисту обретенную кисть.

Эммануэль почтительно склонилъ голову.

— Картина моя окончена, — сказалъ онъ, — но я

боюсь, что въ ней есть недочеты. И прежде чѣмъ съ ней разстаться, я хотѣлъ бы удостовѣриться, что дѣйствительно ничего уже улучшить въ ней не могу. Дайте же мнѣ возможность провѣрить себя.

— А что я долженъ для этого сдѣлать? — освѣдомился герцогъ.

Эммануэль объяснилъ.

Ему позироваль герцогъ, позировали въ отдѣльности всѣ придворные, позировали и группы придворныхъ. Но всю сцену цѣликомъ, такой, какой она изображена на холстѣ, онъ видѣлъ только разъ, давнымъ-давно, во время коронованія герцога. Теперь ему кажется, что картинѣ недостаетъ цѣльности, недостаетъ гармоніи освѣщенія. Если бы онъ могъ сличить свое произведеніе съ натурой, онъ лучше уловилъ бы всѣ недочеты и сумѣлъ бы ихъ устранить. Онъ проситъ поэтому, чтобы изображенная имъ сцена воссоздана была и въ дѣйствительности.

— Это будетъ сдѣлано въ четвергъ, до начала мессы,—обѣщаль Варнава.

И точно, въ четвергъ утромъ, всѣ изображенные на картинѣ лица, одѣтые въ парадныя одежды, собрались въ тронномъ залѣ. Когда Эммануэль разсадилъ и разставилъ ихъ, въ залъ вошелъ герцогъ и занялъ свое мѣсто, на тронѣ, впереди всѣхъ.

Эммануэль, съ огромной палитрой въ лѣвой рукѣ и съ пачкой кистей въ правой, стоялъ передъ мольбертомъ и пристально смотрѣлъ то въ глубину зала, то на картину.

Онъ былъ весь въ бѣломъ, и три большія лиліи были приколоты къ лѣвой сторонѣ его груди.

Его глаза горѣли страннымъ блескомъ, но осанка и движенія полны были величавой медлительности и царственнаго спокойствія.

Онъ зналъ, что дѣлаетъ, и вѣрилъ въ себя.

И вотъ, въ ту минуту, когда герцогъ, среди общаго

почтительнаго безмолвія, посылалъ ему съ высоты трона ободряющую улыбку, а счастливѣйшій изъ отцовъ. Гаэтанъ, горделиво игралъ желѣзнымъ мечомъ у ногъ своего властелина, Эммануэль вдругъ выпрямился во весь ростъ, откинулъ назадъ голову, поднялъ высоко надъ ней руку съ кистями—и всю пачку, съ силой, швырнулъ герцогу прямо въ лицо...

Короткій крикъ ужаса вырвался изъ десятковъ грудей...

Потомъ все смолкло...

Точно всѣ находившіеся въ залѣ какою-то высшей таинственной силой сразу обратились въ мраморныя изваянія...

Но черезъ мгновеніе грохочущій, дикій гулъ вспыхнулъ опять.

И, опрокидывая стулья, сбивая другъ друга съ ногъ, прыгая черезъ упавшихъ, съ изумленными, испуганными лицами, придворные бросились къ герцогу и окружили его.

И, спѣша выразить ему свою преданность, свою безграничную любовь, свое негодованіе противъ безумца, они всѣ послѣдовали за нимъ, вонъ изъ зала.

Эммануэль же остался на своемъ мѣстѣ, неподвижный, безмолвный и спокойный.

— Бѣжимъ!—раздался за его спиной сдавленный хрипъ.

И Гаэтанъ схватилъ его за руку.

— Въ сумятицѣ... въ суматохѣ... намъ еще удастся... бѣжимъ!

— Нѣтъ.

— Пока они ошеломлены... пока не схватили тебя...

Бѣжимъ!..

— Нѣтъ, отецъ!..

— Нѣтъ?!.. Но вѣдь ты знаешь, что съ тобою будетъ?..

Эммануэль молчалъ...

— Ты оскорбилъ герцога... въ присутствіи всего

двора... когда онъ былъ на тронѣ... Вѣдь тебя даже и не казнятъ! Тебя и съ башни не свергнуть!.. Смерть—ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что тебя ждетъ... Тебя бросятъ туда... въ казематъ... въ подводную могилу...

Эммануэль посмотрѣлъ старику прямо въ лицо.

— Къ твоимъ жертвамъ, отецъ!—тихо, отчетливо проговорилъ онъ.

Онъ продолжалъ пристально смотрѣть на Гаэтана... И старому палачу стало казаться, что онъ что-то понялъ...

Онъ не проронилъ больше ни звука.

Медленно, шатаясь, трясясь всѣмъ тѣломъ, онъ сталъ пятиться назадъ...

Единственный глазъ его смотрѣлъ съ ужасомъ... съ ужасомъ...

1. М. Горькій. Пѣсня о соколѣ.—Пѣсня о буревѣстникѣ.—Легенда о Марко.
 2. М. Горькій. Человѣкъ.
 3. М. Горькій. Макарь Чудра.
 4. М. Горькій. О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ, любителѣ истины.
 5. М. Горькій. Емельянъ Пиляй.
 6. М. Горькій. Дѣдъ Архипъ и Ленъка.
 7. М. Горькій. Челкашъ.
 8. М. Горькій. Старуха Изергиль.
 9. М. Горькій. Однажды осенью.
 10. М. Горькій. Мой спутникъ.
 11. М. Горькій. Дѣло съ застѣжками.
 12. М. Горькій. На плотяхъ.
 13. М. Горькій. Волеся.
 14. М. Горькій. Тоска.
 15. М. Горькій. Коноваловъ.
 16. М. Горькій. Ханъ и его сынъ.
 17. М. Горькій. Супруги Орловы.
 18. М. Горькій. Вывшіе люди.
 19. М. Горькій. Оворникъ.
 20. М. Горькій. Варенька Олесова.
 21. М. Горькій. Товарищи.
 22. М. Горькій. Въ степи.
 23. М. Горькій. Мальва.
 24. М. Горькій. Ярмарка въ Голтвъ.
 25. М. Горькій. Зазубрина.
 26. М. Горькій. Скуки ради.
 27. М. Горькій. Канинъ и Артемъ.
 28. М. Горькій. Дружки.
 29. М. Горькій. Проходимецъ.
 30. М. Горькій. Кирилъка.
 31. М. Горькій. Васька Красный.
 32. М. Горькій. Двадцать шесть и одна.
 33. М. Горькій. Разсказъ Филиппа Васильевича.
 34. М. Горькій. Тюрема.
 35. М. Горькій. Трое.
-
41. Скиталець. Стихотворенія. Книга I.
 42. Скиталець. Стихотворенія. Книга II.
 43. Скиталець. Сквозъ строй.
 44. Скиталець. За тюремной стѣной.
 44. Скиталець. Октава.
 46. Скиталець. Ранняя обѣдня.
 47. Скиталець. Полевой судъ.
-
51. Л. Андреевъ. Набатъ.
 52. Л. Андреевъ. Ангелочекъ.
 53. Л. Андреевъ. Молчаніе.
 54. Л. Андреевъ. Валя.
 55. Л. Андреевъ. На рѣкѣ.

56. Л. Андреевъ. Въ подвалѣ.
57. Л. Андреевъ. Петька на дачѣ.
58. Л. Андреевъ. У окна.
59. Л. Андреевъ. Жили-были.
60. Л. Андреевъ. Въ темную даль.

61. С. Гусевъ-Оренбургскій. Омѣтъ,
62. С. Гусевъ-Оренбургскій. Конокрадъ.
63. С. Гусевъ-Оренбургскій. Миша.
64. С. Гусевъ-Оренбургскій. Последній часъ.
65. С. Гусевъ-Оренбургскій. На родину.
66. С. Гусевъ-Оренбургскій. Сквозъ преграды.
67. С. Гусевъ-Оренбургскій. Кахетинка.
68. С. Гусевъ-Оренбургскій. Вѣдний приходъ.
69. С. Гусевъ-Оренбургскій. Злой духъ.
70. С. Гусевъ-Оренбургскій. Жалоба.

71. А. Серафимовичъ. Въ камышахъ.
72. А. Серафимовичъ. Местъ.
73. А. Серафимовичъ. На льдинѣ.
74. А. Серафимовичъ. Степные люди.
75. А. Серафимовичъ. Ночью.
76. А. Серафимовичъ. Спѣшникъ.
77. А. Серафимовичъ. На заводѣ.
78. А. Серафимовичъ. Подъ землей.
79. А. Серафимовичъ. Подъ уклонъ.

81. А. Купринъ. Дознаніе.
82. Н. Телешовъ. Пѣснь о трехъ юношахъ.
83. Н. Телешовъ. Противъ обычая.
84. Н. Телешовъ. Домой.
85. Н. Телешовъ. Хлѣбъ-соль.
86. С. Елпатьяевскій. Спирька.
87. С. Елпатьяевскій. Пожалѣй меня.
88. С. Елпатьяевскій. Присяжнымъ засѣдателемъ.
89. Ив. Вунинъ. Стихотворенія.
90. К. Вальмонтъ. Стихотворенія.

91. С. Юшкевичъ. Невинные.
 92. С. Юшкевичъ. Убійца.
 93. С. Юшкевичъ. Кабатчикъ Гейманъ.
 94. С. Юшкевичъ. Ита Гайне.
 95. С. Юшкевичъ. Человѣкъ.
 96. С. Юшкевичъ. Евреи.
- и другія книги.

Въ товариществѣ „ЗНАНІЕ“ поступили въ продажу:

ШЕЛЛИ. ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ ПЕРЕВОДѢ К. Д. БАЛЬМОНТА.

Новое трехтомное переработанное изданіе.

Вышелъ **ТОМЪ ПЕРВЫЙ.** *Содержаніе:*

1. Лирика: 186 стихотвореній.
2. Царица Мабъ. Поэма.
3. Примѣчанія Шелли къ «Царицѣ Мабъ».
4. Демонъ міра. Поэма.

5. Аласторъ. Поэма.
- Гелиография Джардена, изображающая Шелли.
- Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ **ТОМЪ ВТОРОЙ.** *Содержаніе:*

1. Возмущеніе Ислама (Ланъ и Цитна). Поэма.
2. Царевичъ Атаназъ. Отрывокъ
3. Строки, написанныя среди Евгизійскихъ холмовъ.
4. Розалинда и Елена. Современная злота.

5. Юліанъ и Маддала. Весѣла.
6. Освобожденный Прометей. Лирическая драма.
7. Ченчи. Трагедія.
- Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.

Цѣна 2 р.

Вышелъ **ТОМЪ ТРЕТІЙ.** *Содержаніе:*

1. Маскирадъ анархін. Поэма.
2. Письмо къ Маріи Джисборнъ. Въ стихахъ.
3. Волшебница Атласа. Поэма.
4. Эпицихидионъ. Поэма.
5. Адонаисъ. Элегія.
6. Эллада. Лирическая драма.
7. Отрывки неоконченной драмы.
8. Карлъ Первый. Драматическіе отрывки.
9. Торжество жизни. Поэма.
10. Ассасины. Отрывокъ изъ романа.
11. Коллизія.
12. О любви.
13. Размышленія о метафизикѣ.
14. Размышленія о морали.

15. О будущемъ состояніи.
16. О литературѣ, искусствахъ и нравахъ англійцевъ.
17. Объ одномъ мѣстѣ въ Критолѣ.
18. Критическія замѣчанія о скульптурѣ флорентинской галлерей.
19. Арка Тита.
20. О возрожденіи литературы.
21. О смерти и казни.
22. О жизни.
23. Въ защиту поэзии.
- Пояснительныя примѣчанія К. Д. Бальмонта.
- Къ третьему тому приложена статья «Эдуардъ Давденъ. Очеркъ жизни Шелли».

Цѣна 2 р.

Съ выходомъ третьяго тома изданіе закончено.

Выписывающіе изъ склада товарищества «ЗНАНІЕ» за пересылку не платятъ. Просятъ обращаться исключительно по адресу: Контора т-ва «ЗНАНІЕ», Спб., Месскій, 92.

Послѣднія изданія товарищества „ЗНАНІЕ“:

Сборникъ т-ва „ЗНАНІЕ“ за 1903—1905 г.

Книги I—VII	по 1 р. — к.
М. Горькій. Разказы и пѣссы. Томы I—VI.	по 1 „ — „
Л. Андреевъ. Разказы. Томы I—II.	по 1 „ — „
Л. Андреевъ. Мелкіе разказы.	1 „ — „
Скиталець. Разказы и пѣсни. Томъ I	1 „ — „
Е. Чириковъ. Разказы и пѣссы. Томы I—IV	по 1 „ — „
И. Бунинъ. Разказы и стихотворенія. Томы I—II	по 1 „ — „
Н. Телешовъ. Разказы. Томъ I	1 „ — „
А. Серафимовичъ. Разказы. Томъ I	1 „ — „
А. Купринъ. Разказы. Томъ I.	1 „ — „
С. Юшкевичъ. Разказы. Томы I—II	по 1 „ — „
С. Гусевъ-Оренбургскій. Разказы. Томъ I.	1 „ — „
Н. Гаринъ. Дѣтство Темы. Томъ I	1 „ — „
Н. Гаринъ. Гимназисты. Томъ II	1 „ — „
Н. Гаринъ. Студенты. Томъ III.	1 „ — „
Н. Гаринъ. Корейскія сказки.	— „ 60 „
Н. Гаринъ. По Корей, Манчж. и Лзод. полуострову	1 „ — „
А. Яблоновскій. Разказы.	1 „ — „
С. Елеонскій. Разказы.	1 „ — „
С. Елпатьяевскій. Разказы. Томы I—III	по 1 „ — „
С. Найденовъ. Пьесы. Томъ I	1 „ — „
Д. Айзманъ. Разказы. Томъ I.	1 „ — „
Эсхиль. Скованный Прометей. <i>Изд. второе</i>	— „ 30 „
Софокль. Эдипъ-царь. <i>Изд. второе</i>	— „ 40 „
Софокль. Эдипъ въ Колонѣ. <i>Изд. второе</i>	— „ 40 „
Софокль. Антигона. <i>Изд. третье</i>	— „ 40 „
Эврипидъ. Медея. <i>Изд. второе</i>	— „ 40 „
Эврипидъ. Ипполитъ. <i>Изд. второе</i>	— „ 40 „
Бьёрнсонъ. Перчатка.	— „ 40 „
Гауптманъ. Роза Берндъ.	— „ 50 „
Байронъ. Манфредъ.	— „ 40 „
Гёте. Фаустъ. Обѣ части.	2 „ — „
Леопарди. Разговоры. <i>Печатается</i>	— „ — „
Леопарди. Мысли. <i>Печатается</i>	— „ — „
Красинскій. Иридіонъ.	— „ 60 „
Шелли. Полное собраніе сочин. въ 3 т. Каждый томъ по 2	— „ — „
Шелли. Освобожденный Прометей.	— „ 50 „
Шелли. Ченчи.	— „ 50 „
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватъ. Роскошно-илл. изд.	2 „ — „
Лонгфелло. Пѣснь о Гайаватъ. Дешевое изданіе.	— „ 80 „
Э. Золя. Углекопы. <i>Изд. третье</i>	1 „ — „
И. Мадачь. Человѣческая трагедія.	— „ 50 „
Т. Шевченко. Кобзарь. (Въ перев. на русск.). <i>Изд. второе</i>	1 „ — „
Аф. Петрищевъ. Замѣтки учителя	1 „ — „
Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы	1 „ 20 „
Ижегородскій Сборникъ	1 „ — „





Acme

Bookbinding Co., Inc.
300 Summer Street
Boston, Mass. 02210

